

# СОВРЕМЕННОИИК



SOVREMENNIIK

No. 33-34

ТОРОНТО

СОВРЕМЕННОИИК No. 33-34

# СОВРЕМЕНИК

ЖУРНАЛ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И  
НАЦИОНАЛЬНОЙ МЫСЛИ

ОСНОВАН ПРОФ. Л. И. СТРАХОВСКИМ  
И  
В. Л. САВИНЫМ

Главный редактор: Л. Е. Фабрициус  
Ответственный секретарь Г.А.Гидони-Румянцева

Журнал издает Редакционная Коллегия

Благодарю Тебя, Творец, благодарю,  
Что мы не скованы лжемудростью узкой,  
Что с гордостью я всем сказать могу, я — русский.  
Что пламенем одним с Россией я горю.

**Аполлон Майков**

1977

---

Торонто

Канада

**COPYRIGHT © 1977 BY The "Sovremennik" Publishing Ass'n Inc.**

Subscription price for institutions \$15.00 per year.  
Individual subscription \$10.00 for 4 issues.  
Senior citizens - 20% discount.  
Single copy - \$2.50, (double issue - \$5.00).

Make cheques or money orders payable to  
"Sovremennik" Publishing Ass'n, Inc.,  
9 Garnet Ave., Toronto, Ontario, Canada M6G - 1V6

**Sovremennik Publishing Association, Inc.  
9 Garnet ave., Toronto, Ontario, Canada. M6G 1V6.**

## C O N T E N T S

Contents in English.....	3
Abstracts.....	5
<i>In Memoriam</i>	
B. J. Pregel.....	7
D. I. Klenovski ( <i>Two poems by D. Klenovski, E. Bobrow 'A poem is born', Gennadii Panin - A poem</i> ).....	8 - 11
L. Fabricius. <b>The Comeback.</b> Novel. Part I .....	12
Irina Odoevtzeva. Two poems.....	50
L. Rossaliani. Polina Mikhailovna. Short story .....	51
Boris Nartsissov. <b>Insomnia. The ashen light</b> .....	57
A. Tsvetikoff. <b>The crystals of oblivion.</b> Fiction .....	58
V. Pereleshin. <b>The Paquet Island. Reminiscences.</b> Poems .....	70
A. Guidoni. <b>The salesgirl,</b> Short story .....	72
Peter Balakshin. <b>The reverse side of the binoculars</b> .....	76
Maria Volkova. Three poems .....	85
Mikhail Kreps. Poetry .....	87
Leonard Gendlin. <b>They created together</b> .....	91
Vladimir Kazakov. Poetry .....	109
Lada Nikolenko. <b>A Frenchwoman in Russia</b> .....	112
Evgenii Lidin. <b>The Vision</b> .....	115
M. Muller-Henning. <b>The last summer... The silence...</b> Poems .....	119
Nina Awsienko. <b>Z.N.Gippius' metaphysical poems</b> .....	121
Evgenia Dimer. Three poems .....	129
Galina Rumiantseva. <b>The 'polish' poem of the Countess Rastopchina</b> ....	131
V. Seduro. <b>Solzhenitsyn and the tradition of the Dostoevski's polyphonic novel</b> .....	135
Valeri Pereleshin. <b>'The Monument' of Horace</b> .....	144
Boris Nartsissov. <b>Was there ever an Atlantis?</b> .....	154
T. Filatovskaya. Two poems .....	161

## F O R U M

Irina Odoevtzeva visits the 'Sovremennik' .....	163
G. Galin. <b>'The dear ones are quarrelling...'</b> .....	165
Alexander Guidoni. <b>The sun is rising in the West</b> .....	170
L. Fabricius. <b>Editor's notebook</b> .....	189
Letters to the Editor (K. Akula. V. Pereleshin) .....	190
Polemics. ( <i>Grigori Svirski. Response to a review., G. Guidoni-Rumiantseva. Ridiculous self/defense</i> ) .....	194 - 200



\* \* \*

<b>S. Tol.</b> Two poems .....	201
<b>T. Mandelshtam-Gatinskaya.</b> <b>The doubts.</b> Poem .....	202
<b>V. Ingul.</b> <b>The little tree.</b> Poem .....	202

### C A N A D I A N A

<b>An interview with Mrs. M. Devergnas</b> .....	205
<b>M. Devergnas.</b> <b>The Wisdom.</b> Poem .....	209
<b>Ella Bobrow.</b> <b>The song of an old Indian</b> .....	210
<b>We talk with Peter Worthington</b> .....	212

### B i b l i o g r a p h y

<i>N. Fersen. N.S.Arseniev. Gifts and encounters of my life. —</i>	
<i>A. Druzhinin. Yuri Stukalich. 'We will arrive'. —</i>	
<i>E. Bobrow. Irina Saburowa. 'The Kingdom'. —</i>	
<i>Yuri Grigorov. Three issues of the new journal 'Golos Zarubezhia'</i>	217--223
<b>Chronicle</b> .....	224
<b>The Editorial Board News</b> .....	225
<b>Ads</b> .....	228
<b>Contents in Russian</b> .....	231

## A B S T R A C T S

**Boris Nartsissov's** article **'Was there ever an Atlantis?'** is devoted to an always new and old historical riddle. The author juxtaposes various points of view and, although he himself does not make a final choice in favour of this or that conception, his presentation has an important cognitive interest. The beginning of Nartsissov's article was printed in the previous issue, 32nd Nr. of 'Sovremennik'.

**G. Galin**, in his article **'The dear ones are quarreling...'**; considers prospects of Sino-Soviet relations proceeding with the idea that in spite of the hostility in the political conflict of the two communist Powers, their common ideology will be factor which will bring China and USSR to conciliation.

The article is published in the form of a discussion.

**Leonard Gendlin**, in a large study devoted to Mikhail Bulgakov and his wife (**'They created together'**), gives an expressive, creative and human portrait of the great Russian writer Bulgakov, showing at same time the difficult conditions of his life in the Soviet society at the Stalinist period.

**Valerii Pereleshin's** article **'The Monument' of Horace'**, is a good example of perspicacious analysis of various undertakings and variations of the translation of the famous Roman poet's verses into Russian.

**Galina Rumiantseva**, in a small note **'Polish poem of the Countess Rastopchina'**, reminds us of an interesting episode in Russian poetry of the 19th Century, in connection with Russian-Polish relations.

In some fragments from an autobiographical book **'The Sun is rising in the West'**, **Alexander Guidoni** presents some pictures of Soviet life, depicting some moments of political struggle in the depths of Soviet society.

In a sketch **'The reverse side of the binoculars'**, **Peter Balakshin** basing his research on rich epistolary material from his archives, recreates a portrait of the gifted Russian emigre writer Sergei Gornyi. The writer's letters to Balakshin are a valuable material for the study of literature and the life of the emigrés.

In **Nina Awsienko's** study **Z. N. Gippius' metaphysical lyrics** they recreate again the ephemeral emotions of a soul in quest of spiritual illumination. The depiction of two contrastive states – spirituality or the union with the divine and aspirituality or the alienation from the divine – characterize

these lyrics. Gippius recreates both of these amorphous states sensuously by means of an image. The source for her imagery of aspi-rituality is the negative terrestrial phenomena which recreate inner experience as states of sensory privation. The celestial sphere provide Gippius with the images of spirituality which is envisioned as a state of sensory fulfilment. In her metaphysical lyrics Gippius fashions a sensuous fantastic reality out of inner experience.

\* \* \*

One of the best Russian-language journals published outside of Russia, **Sovremennik** is an excellent source of objective information on Russian cultural affairs. It can also be used in teaching as a reading supplement for students majoring in Russian.

The subscription price, for four regular or two double issues, is \$10.00 and \$15.00 per year for universities and libraries.

**Subscribe Now. Make your cheque payable to: Sovremennik Publishing Association, Inc. 9 Garnet Ave., Toronto, Ontario, Canada. M6G 1V6.**



### ПАМЯТИ Б.Я.ПРЕГЕЛЯ

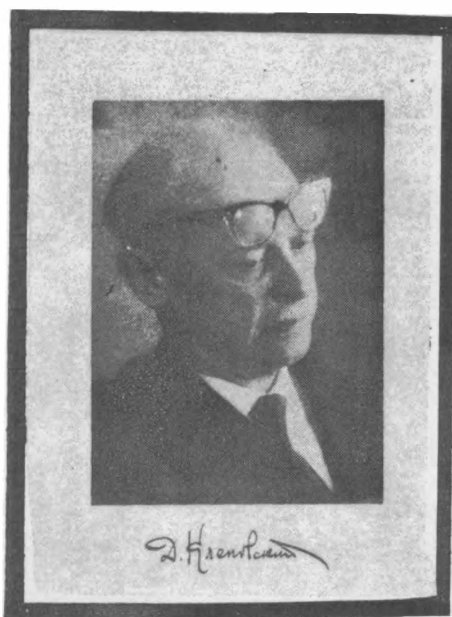
7 декабря прошлого года в Нью-Йорке скончался Борис Юльевич Прегель — известный ученый, бывший Президент ньюйоркской Академии Наук, автор многих научных трудов, общественный деятель и филантроп.

В его лице Зарубежье потеряло не только известного деятеля и ученого, но и человека, горячо преданного русской культуре, в частности, русской литературе, любовь к которой тесно связывала его с сестрой, ныне покойной, — известной поэтессой Софией Прегель, стихотворения которой часто появлялись на страницах нашего журнала.

Трудно перечислить все труды, принадлежащие покойному, и все отличия, полученные им от правительств Европы за его научные и организационные достижения во время и после Второй мировой войны. Среди этих отличий необходимо отметить офицерский крест Почетного Легиона и Военный Крест с пальмами, которым французское правительство наградило покойного за его выдающуюся деятельность во Франции.

Покойный Борис Юльевич ПРЕГЕЛЬ долгое время и до самой своей кончины был читателем нашего журнала и другом его, всегда охотно отзывавшимся на его нужды и щедро помогавшим.

С ним ушел от нас один из немногих оставшихся в Зарубежье истинных представителей русской культуры.



## Д. И. КЛЕНОВСКИЙ

(1892 – 1976)

26-го декабря 1976 года в г. Траунштейн (Бавария) после продолжительной болезни скончался Дмитрий Иосифович КЛЕНОВСКИЙ.

В одном из будущих номеров "Современника" разбору творчества этого большого русского поэта будет отведено особое место. Здесь мы ограничиваемся лишь краткой биографической справкой.

Д.И. Кленовский (Крачковский) родился в Петербурге в семье художника-пейзажиста, академика Иосифа Крачковского. Учился в Царско-сельской Николаевской гимназии, потом – в Петербургском университете. В юности много и часто бывал с отцом за границей. Писать, очевидно, начал рано, т.к. уже в 1917 году вышел сборник его стихов "Палитра". Известно, что второй – "Предгорье" – был сдан в издательство "Петрополис", но затерялся там в хаосе пореволюционных лет России.

За все годы советской власти до Второй мировой войны поэт не напечатал ни единой строчки. Несомненно, он писал, но... предпочитал молчать.

Очутившись на Западе, в годы Второй мировой войны, он "заговорил" и с 1950 года подарил нам одиннадцать сборников стихов: "След жизни" (1950), "Навстречу небу" (1952), "Неуловимый спутник" (1956), "Прикосновение" (1959), "Уходящие паруса" (1962), "Разрозненная тайна" (1965), "Стихи" (1967), "Певучая ноша" (1969), "Почерком поэта" (1971), "Теплый вечер" (1975) и "Последнее" (еще не изданный).



\* \* \*

Я их изведаль, радости земли:  
Леса, тропинки, волны, корабли,  
Прикосновенья, рифмы, поцелуи...  
Мне кажется, что их с собой возьму я,  
Притом никак не в одиночку, но  
Неразлично слитыми в одно,  
Как будто память их соединила  
В единый вздох о том, что было мило,  
В тот долгий вздох, которым, не спеша,  
Наполнится, чтоб отлететь, душа.

1966 г.  
Сб. "Стихи".

#### В КОМНАТЕ УМЕРШЕГО

Да, опустело здесь... На кресле, за столом –  
Повсюду нет уже родного силуэта.  
И эта тишина! И вот: не быть вдвоем...  
Как это оправдать и как осмыслить это?

И все-таки – не плачь! И комнату покинь!  
Сойди по лестнице и, стоя на пороге,  
Вглядись в рассветную бледнеющую синь.  
Ты видишь, это он шагает по дороге!

Не нужно! Не зови! Его уж не вернуть!  
Но знай: он жив еще и жить ему без счета!  
Он только погостил и снова вышел в путь.  
И, слынишь, он поет! Вдали. За поворотом.

1950 г.  
Сб. "Навстречу небу"

*(Печатается с любезного разрешения супруги покойного  
автора – Рев.)*

Памяти Д.И. КЛЕНОВСКОГО.

*"В чужом плену моей родной земли  
я мертвым был..."*

*Д.И. Кленовский.*

Зарождались стихи.

Но поэт за стеной молчанья  
терпеливо вынашивал медленно зревший плод.  
Стук заслышав в груди, говорил: погодите, рано...  
Словно знал, что возьмет их с собой в заморские страны,  
и когда-то домой  
ветер вольный их занесет.

Так случилось: ушел молча с ношей он нерожденной.  
Русской беженкой Муза его появилась в свет.  
К нам доносится голос

задумчивый, полнозвонный...

Пусть всё ближе зима – вдохновенно, освобожденно  
нам о лете слагает

десятую песнь поэт.

Первый крик... Долгий вздох. Миг рожденья, умиранья.  
Жизнь и вечность – на всем

на всем неразгаданных тайн печать.

Но прибой? Но сирень? Но любовь?.. Черепки мирозданья.  
Их находит поэт и – о чудо! – легким касаньем  
он умеет разрозненное

в одно связать.

Взглядом вверх. Мыслью вглубь.

В стройном ладе его напевном  
барабанной нет дробы. Торжественных маршей нет.  
Но Нева? Но Лицей?

Но холмы без крестов в тундре пленной?

Все забыть?

Не могу. Не могу – отвечает миру поэт.

## ГЕННАДИЙ ПАНИН

### ПАМЯТИ Дм. КЛЕНОВСКОГО

Душа нуждается в покое:  
Мятежен был подъем и крут.  
И тишину, средь гроз приборов.  
Твои созвучья ей несут.  
Рука их знаки начертала,  
Их ты в раю насобирал, —  
Их многогранные кристаллы —

Кто, как не Ангел, созидал.  
Лучей игра в созвучье каждом, —  
Еще бы! — Мастер ведь хорош,  
На труд его взглянув однажды,  
От дива вряд ли отойдешь.  
Вот, серебрясь, одна, другая,  
Струи бегут стихов твоих, —  
Кто ищет доброе, я знаю,  
Их бегу рад... В толпе других  
Их без ошибки опознаю.

### Д.И. КРАЧКОВСКОМУ

— Да, друг мой Панин, заслужили палок  
— И рифмы ваши и старик-размер!  
— Молчали б лучше, коль не стало жала  
— И логарифмы в сердце, а не смерч...  
Так, думается, скажете Вы. Весок  
Разумен будет приговор Ваш, но  
Извольте знать, — хоть Вы из геркулесов:  
Юстиция не задирает нос.  
Конечно, стих мой не из белых булок,  
Размер (сказал бы Маяковский) "0", \*  
А сам-то я сравним, пожалуй, с мулом:  
Чту послушанье и к терпению льну.  
К тому ж я сед, сварлив, уже не молод,  
Огни мои — вечерние огни.  
Все ж согрешить, рассорившись с глаголом,  
Строфой люблю, как и в былые дни.  
Кто, друг, в акростихах меня обгонит?!  
О, не легко такой же взять аллюр.  
Мул хоть и стар — не раз отстали кони;  
Упрям он чуть... то извинить молю.

1947 г.

\*) читать: "нуль".

ЛЕВ ФАБРИЦИУС

## ВОЗВРАТ

Роман.

Карл Шолтис как бы нехотя нажал кнопку звонка. Резкий звук, раздавшийся за дверью, был слышен и на площадке. Подождав минуту, он позвонил снова. На этот раз послышались шаги. Очевидно, посетитель не внулшал доверия открывшей дверь женщине. Удивляться этому не приходилось: залатанное, переделанное из шинели пальто, старая фетровая шляпа и солдатские ботинки сами по себе возбуждали неясное подозрение. Настораживал и холодновато-внимательный взгляд светло-голубых глаз посетителя. Глаза рассматривали женщину спокойно, но сами были словно закрыты для ее встречного взгляда.

—Госпожа фон Фалькенхорст? — негромко спросил незнакомец.

—Да, я фон Фалькенхорст.

—Разрешите представиться? — Стоявший перед ней человек подтянулся, выпрямился — казалось, что он хочет отдать честь, но он только неловким движением руки снял шляпу и сказал: "Карл Шолтис". — Помолчал и добавил: "Лейтенант Шолтис. Я вернулся из плена. На прошлой неделе. Майор фон Фалькенхорст просил меня навестить вас и сказать, что он жив."

—Эрих?!.. Он жив?!.. Жив?.. Входите!.. Входите, пожалуйста.

Отошедшая на середину комнаты женщина оперлась руками на стол.

—Простите. У меня сердце...Это сейчас пройдет... — По ее лицу проползла жалкая улыбка. —Шесть лет... — Женщина начала медленно склоняться над столом, Шолтис окликнул ее: Госпожа фон Фалькенхорст!

Вам плохо?.. Фон Фалькенхорст полулежала на столе, ее ноги подгибались. Шолтис подбежал к ней, поднял на руки и бережно уложил на диван, стоявший за столом. Сам он сел в стоявшее рядом кресло. — Вот так история! — подумал он, нервно передернув плечами. — Не померла бы... Хлопот потом не оберешься... — Он пошарил в кармане, вынул пачку сигарет, разыскал среди них одну наполовину выкуренную. — Черт их знает, это бабье, пойми такую... Впрочем, шесть лет тоже кое-что значит. Фон Фалькенхорст всегда о ней так хорошо отзывался. Интересно, что он сейчас делает?.. Наверно, как всегда, в мастерской орудует, старый ЗИС ремонтирует. Вот тебе и "фон", а как насобачился. Молодец!..

Женщина на диване тяжело вздохнула. Шолтис поднялся с кресла. Надо бы воды ей предложить... Кухню он нашел легко — квартира была небольшая. — Вот, фрау фон Фалькенхорст, выпейте... Он поддержал стакан, с которым никак не могли совладать ее руки. — Не волнуйтесь так, ведь ваш муж жив, а вы тут вздумали умирать... — Светло-голубые глаза стали мягче, хоть и не надолго. — Видите, я вернулся, и ваш муж тоже вернется. Он жив и здоров.

— Жив и здоров... Жив и здоров... — повторила фон Фалькенхорст, прислушиваясь к этим словам. — А я и ждать уже перестала, ничего о нем не было... — Она с трудом спустила с дивана ноги и села.

— Простите, господин лейтенант... — конфузливо продолжила она, запнувшись. — Шолтис, — подсказал он. — Простите, господин Шолтис, за такую встречу... Это было слишком тяжело для меня. Я ведь уже не надеялась...

Неожиданно голос ее окреп и в нем зазвучали нотки недоверия. — Если он жив и здоров, как вы говорите, отчего он мне никогда не писал? Ну, не мне, а хотя бы в Красный Крест! Или своему брату в Штуттгарт... Не понимаю, ничего не понимаю...

— Он не мог вам писать.

— Почему?

— Он переменял фамилию.

— Это неправда!.. Зачем ему менять фамилию? Он за всю войну ничего преступного не совершил. Он был солдат, а не гестаповец. Фалькенхорст не может быть преступником!.. Я вам не верю... Вы лжете!..

— Хорошо, предположим, я лгу. Но, спрашивается, зачем? Я вас вижу сегодня в первый и последний раз... Теперь скажите мне, госпожа фон Фалькенхорст, был ваш муж комендантом Ольвиополя в срок первом году?.. Был?.. Он вам об этом рассказывал?.. Прекрасно... А говорил он вам, что осенью зондеркомmando согнало всех местных евреев и коммунистов в балку, в трех километрах от города, где все они были расстреляны? Говорил? И возмущался этим?..

Так вот, госпожа фон Фалькенхорст, как бы господин майор этими расстрелами ни возмущался, это его не спасло от списка военных преступников, где он числится. Именно за эти расстрелы, хоть он сам в них и не виновен. Теперь вам понятно, отчего он не пишет?..



—Прости, мама, я немного задержалась! По дороге я забежала к Эльзе!.. У тебя гости?.. — Вихрем ворвавшись в гостиную молодая девушка замолчала, удивленно переводя взгляд с лица матери на стоявшего посреди комнаты человека.

—Моника, это лейтенант Шолтис. Он был с папой в лагере...Папа жив...

—Жив?!..Он скоро вернется?!..Видишь, я всегда говорила!..Господин Шолтис, какой вы хороший!.. — Моника подскочила к стоявшему неподвижно Шолтису, поцеловала его, подбежала к матери, обняла ее и заплакала.

—Вы были с ним вместе?..Как папа выглядит?..Отчего он не пишет?..

—Ваш отец здоров, выглядит он хорошо. Почему он не пишет, я уже объяснил вашей матери, она вам все расскажет.

—Дайте мне адрес лагеря, я сейчас же напишу папе!..

—Я оставляю адрес вашей матери, но не советую писать второпях, подумайте, что и как...Простите, но я должен идти. Мой поезд уходит через сорок минут.

Старшая фон Фалькенхорст с трудом поднялась с дивана. —Извините меня, господин Шолтис, за мою невольную грубость. Я уверена, что вы сказали правду, но все это так потрясло меня. Ведь шесть лет, шесть лет!..Моника меня все утешала, а я уже и ждать не могла... Как обидно, что вам надо ехать! Мы хотели бы, чтобы вы нам все подробно рассказали.

— Мама, мы можем пригласить господина Шолтиса приехать к нам на обед в воскресенье.Господин Шолтис, смогли бы вы к нам приехать? Это послезавтра. Пожалуйста, я очень вас прошу. Вы нам скажете, как и письмо написать... Хорошо?

Мать улыбнулась. — Что бы я без Моника делала? В самом деле, приезжайте к нам в воскресенье. Мы будем вас ждать. Ведь вы не заняты в воскресенье?

— Нет.

— Ну, вот и приезжайте.

— Как вам угодно, госпожа фон Фалькенхорст. Простите, но мне надо идти, а то я на поезд опоздаю.

\* \* \*

Небольшая, полутемная комната. Железная кровать, стол, на котором стоит электрическая плитка, стул, ночной столик. Такие столики раньше ставили по военным госпиталиям. С потолка свисает на проводе лампочка в двадцать пять ватт, без абажура.

Можно сварить суп в жестянке из-под консервов, поесть и пойти побродить по улицам городка. Можно сходить в кино, истратить две марки из оставшихся шестидесяти трех. Всюду чужие люди. Взгляды прохожих равнодушно соскальзывают с высокого незнакомца, плохо

одетого. Можно пойти в пивную и часами сидеть над кружкой пива. В пивной шум, смех. Все говорят по-немецки, и все как чужие.

Так не хотелось идти к Фалькенхорстам, но обещанье надо исполнить. Слезы, обмороки. Кому это нужно? Что общего у Карла Шолтиса с Фалькенхорстами? Разве только, что мы все пруссаки, да и то — Фалькенхорсты — аристократы, помещики, а Карл Шолтис — сын крестьянина. Сразу видно: — "Фалькенхорст не может быть преступником!.." — даже тут какая гордость и самоуверенность!..

—Моника на отца немного похожа, особенно глаза. Что ж, поеду к ним завтра, расскажу. Обещали обедом накормить. Вот одет я больно плохо, да ладно, сойдет. "Нитчево", как русские говорят. А Моника очень милая девушка... Хотя после шести лет лагеря каждая покажется и милой, и красавицей. Впрочем, это неважно, ведь это мой последний визит к ним. На этом все и кончится.

\* \* \*

Четыре года войны. Шесть лет лагерей. О чем тут рассказывать? О том, как он, лейтенант вермахта, Карл Шолтис, в июле сорок четвертого неделю прятался в болотах Полесья, а на седьмой день вышел на шоссе, громыхавшее бесконечными колоннами танков, упрямо ползущими на запад? Ему уже было совершенно безразлично: убьют, возьмут в плен, ткнут штыком или столкнут в канаву. Карлу Шолтису повезло. Один из русских, идущих по обочинам дороги, показал ему рукой в том направлении, откуда шли танки и крикнул: "Давай, давай, фриц!.."

Часа через два Шолтис добрал до развалин деревни. На площади перед церковью сидели и лежали немецкие пленные. Опухшие от гнуса небритые лица, грязные, изорванные мундиры. Рядом с обгоревшим грузовиком лежало несколько трупов. Все они были разуты, некоторые из них раздеты почти догола...

—Ну, а что же дальше было, господин Шолтис?

—Наутро нас погнали на восток. Дали по краюхе хлеба на дорогу. Первый день еще ничего было, а на второй, кто послабее или раненые, стали отставать или падать. Ну, тех конвойные пристреливали.

—Как? Раненых пристреливали? Не может быть!.. Звери!.. Азиаты!

Карл Шолтис с удивлением посмотрел на старшую Фалькенхорст. —Что же тут странного?

—Как "что странного"?! Добивать раненых и больных? И это говорите вы, лейтенант немецкой армии! Вас это не возмущает?

Шолтис внимательно посмотрел на мать, потом перевел взгляд на дочь — взгляд тяжелый, утомленный. В нем не было ни возмущения, ни жалости, ни злобы. Так глядят безнадежно больные или смертельно уставшие люди. —Чем же я должен возмущаться, госпожа фон Фалькенхорст? Когда война на востоке началась, люди встречали нас с цветами в руках. Мы были для них желанными гостями, спасителями от коммунизма. Это было летом сорок первого года, а уже осенью мы жгли де-

ревни и поголовно расстреливали или вешали их жителей за одно подозрение в помощи партизанам. Расстреливали политкомиссаров, попавших в плен, пристреливали раненых и больных, не могущих идти с колонной военнопленных. Что же, посеяли ветер и пожали бурю. Чем же тут возмущаться?

Моника порывисто поднялась со стула, подошла к Шолтису. — Бедный вы, господин Шолтис!.. Сколько вам пришлось пережить... — В ее голосе слышались слезы. — И папа бедный... Мы с мамой так благодарны вам. А вы уверены, что он вернется, господин Шолтис? — Руки ее как бы сами собой дотронулись до его руки; заплаканные глаза словно старались прочесть надежду в лице Шолтиса, который был почти растроган. — Конечно, вернется, — быстро ответил он. — Ведь каждый месяц оттуда приезжают пять-десять тысяч людей. Два-три месяца... ну, полгода, и майор будет здесь, с вами. Вот увидите... Да вы не плачьте, а то я тоже начну плакать, а солдатам это не полагается.

Моника заставила себя улыбнуться. — Ладно, я уже не плачу. Только скажите нам, где вы встретили папу? Когда попали в плен или позже?

— Ну, это было гораздо позже, в сорок восьмом году. Из нашего лагеря послали трех автомехаников на лесоповал. Меня в их числе. Там в гараже я и встретился с вашим отцом. В машинах я толк понимаю, записали меня автомехаником, а в лагере я попал в авторемонтную мастерскую. Майор там уже несколько месяцев работал, был вроде заведующего мастерской. Свое дело майор знал, это верно. Не было такого грузовика, который он не мог бы отремонтировать. Я сам однажды слышал, как начальник мастерских ему говорил: — Оставайся у нас, Гизеке, когда вас отпускать будут. Такого механика с огнем не сыщешь... — Как вы сказали, Гизеке?!.. — Ведь я вам уже говорил, фрау фон Фалькенхорст, что майор переменял фамилию. Когда они в Курляндии сдавались в плен, майор взял зольдбух убитого унтер-офицера Гизеке, а свои документы уничтожил. Умно сделал. Он мне потом рассказывал о расстрелах в Ольвиополе. Майор не хотел этого, но из Зондеркоммандо ему сказали, чтоб он в их дела не вмешивался. Что ж он мог сделать? А в список военных преступников все равно попал... Теперь он бывший унтер-офицер Эрих Гизеке, автомеханик. Через полгода, ну, через год он будет здесь...

— А папа очень постарел? — спросила Моника.

— Нет, майор не постарел, только изменился очень. Вы бы его и не узнали, если бы на улице встретили. Бороду отрастил, усы, волосы длинные. Он может из лагеря выходить. Это называется у нас быть "расконвоированным". Когда в мастерской работы мало, он часто в соседний колхоз ходит, машины ремонтирует. Меня он иногда брал помощником. Хорошо. Работаешь не спеша. За это платят, накормят и еще кое-что в лагерь принесешь. Редкий он человек, майор. И духом никогда не падает. Я у него многому научился, не только автомашины чинить. Он и по-русски говорит, читает и пишет.

—Да, Эриху языки легко давались, — вздохнула фрау фон Фалькенхорст. —Ну, а как относились к вам в лагере? С едой, наверно, плохо было?

—Нет, последнее время не так уж плохо. Вот сначала мы в самом деле голодали, охрана была хуже собак, все озлобленные. Ненавидели нас. — Шолтис помолчал и прибавил:—Впрочем, я их не виню. Любить нас было не за что.

—Мама, ты займи нашего гостя, а я пойду на кухню. Обед, должно быть, уже готов, — сказала Моника, вставая.

—Простите меня, госпожа фон Фалькенхорст, — проговорил Шолтис извиняющимся голосом. — Я очень плохой рассказчик. Да и отвык от этой жизни. Мне даже говорить трудно...Никак не могу привыкнуть здесь: люди другие, говорят иначе...Отвык я...

—Ничего, господин Шолтис. Все-таки вы у себя на родине...

—Для меня Восточная Пруссия родина, а здесь я чужой. И чужой и никому не нужный...

—Прошу, обед готов! — провозгласила Моника, открывая двери в столовую. — Господин Шолтис, вы садитесь здесь, а я поближе к кухне.

Обед начался в молчании; обе Фалькенхорст видели, что Шолтис конфузится.

*"Когда я последний раз обедал за столом, накрытым белой скатертью?..Ну да, осенью сорок третьего, когда домой на побывку приехал...А руки-то мои, руки!.. Ничем не отмоешь..."*

Старшая Фалькенхорст спросила: "Вы уже осмотрелись немного здесь, господин Шолтис? От довоенной Германии мало осталось; все переменялось: и жизнь, и люди. Как вам кажется?"

—Это верно, все переменялось. А к лучшему, или к худшему — я не знаю. Люди какие-то странные: все о деньгах говорят, о заработках, где побольше урвать, как разбогатеть поскорее, а друг на друга волком глядят...

—Я вас понимаю, господин Шолтис, но ведь это естественно: каждый хочет как-то устроиться, что-то иметь. Все ведь пришлось создавать заново.

—Да я не о том. Если б я вернулся к себе домой, и я начал бы хозяйство отстраивать. У нас около Гумбинена шестьдесят гектаров земли было, дом, постройки, скот. Мы хорошо жили...Так вот, если б я туда вернулся, и я бы работал, как лошадь. Только и соседу помог бы при этом, и с человеком поговорил бы, а здесь... — Шолтис махнул рукой. — В лагере мы себе Германию по-другому представляли. Думали, что все-таки это родина, а выходит совсем иначе...

\* \* \*

—Может быть, напишем письмо? Как вы думаете, господин Шолтис? — спросила Моника, когда все опять вернулись в гостиную. — Вы мне скажете, что писать, а я напишу.

—Хорошо. Только сделаем это иначе: вы мне скажите, что написать, а уж писать буду я, от своего имени.

—Почему?

—Как почему? Что может быть общего у автомеханика Гизеке с Фалькенхорстами? Или, может, вы хотите написать в конце письма: "Ждем тебя с нетерпением, дорогой папа. Твоя любящая дочь Моника фон Фалькенхорст."? Так, что ли?

Моника смущенно замолчала. —Вы правы, господин Шолтис, — сказала старшая Фалькенхорст. — Скажите, как вы хотите это сделать?

—Я обещал майору, что буду писать о вас как о семье Петерс. Так вот, я напишу, что случайно встретил Луизу Петерс и ее дочь Моннику. Они говорят, что хорошо устроились, выглядят хорошо. Ее брат Карл, т.е. брат майора, живет с семьей в Штутгарте, работает на каком-то заводе. Вот и все, что я могу написать. Это никакого подозрения не вызовет. Простые люди, под стать автомеханику Гизеке. Вы согласны?

—Согласна. Вы абсолютно правы, господин Шолтис.

\* \* \*

"...Моника Петерс — настоящая красавица, засмотреться можно".  
—Надо доставить отцу удовольствие. Да, к тому же, это чистая правда.

Карл еще раз пробежал письмо глазами. Нет, все хорошо. Никаких подозрений быть не может. Письмо автомеханика к автомеханику.

\* \* \*

—Дурак ты, Карл Шолтис...Сам понимаешь, что это невозможно. Что у тебя общего с фон Фалькенхорстами? — Хорошо, исполнил просьбу майора, сходил к ним, выяснил все и на этом кончай...Сознайся сам себе, что можно было и что-то другое придумать. Письма посылать от твоего имени и по твоему адресу — ну на что это тебе? Только для того, чтобы иметь возможность опять туда поехать и на Моннику посмотреть?..Эх ты, чужак!..

\* \* \*

Свою щедрую поддержку в размере двадцати шести марок и пятидесяти пфеннигов в неделю бюро труда выплачивало по средам. С голоду не помрешь, но и не разгуляешься...Впрочем, Карл не сетовал на судьбу. А через месяц, в зачет компенсации за утраченное в Восточной Пруссии имущество, ему выдали целых шестьсот марок. Шестьсот марок — сумма крупная, но если из этой "крупной" суммы заплатить за пальто, костюм, три рубашки и пару ботинок, то от нее останется очень немного. — Делаешь карьеру, Карл...Раньше ты был просто нищий, а теперь — элегантный нищий. Это уже прогресс.



Как ни странно, но покупка пальто и костюма вызвала в душе Карла особый настрой. Возможно, покупка была первым шагом к чему-то новому, может быть, она давала неясную надежду на будущее — кто знает? — но Карл стал интересоваться жизнью. Это он отметил про себя с удивлением, но и с удовлетворением тоже.

И все-таки существовать на двадцать шесть марок и пятьдесят пфеннигов в неделю было немыслимо. Приходилось искать работу...

Может быть, помогло счастливое пальто — трудно сказать, но когда Карл обратился в бюро труда, то, к его удивлению, оказалось, что в ближайшем лесничестве требуется помощник лесничего. Бумаги Карла, которые он ухитрился сохранить, в частности, аттестат об окончании сельскохозяйственной школы, ему помогли, и через неделю он получил официальное письмо о назначении его на искомую должность...

Сказать лесничему, давным-давно отслужившему все сроки, но, несмотря на это, сохранившему военную выправку, что-то вроде: — Ну, вот я, значит, назначен к вам помощником, — было бы грешно. Поэтому Карл Шолтис, подтянувшись, и отрекомендовался тоже по-военному:

— Помощник старшего лесничего Карл Шолтис, лейтенант запаса, по назначению прибыл!

По выражению лица лесничего он понял, что попал в самую точку.

Началась новая жизнь. Карл вставал рано, завтракал, брал двустволку и шел в обход. Лес только пробуждался ото сна. Вершины деревьев отливали розоватым золотом, но внизу, в чаще, было еще темно. Где-то слышались первые птичьи голоса. И от всего этого: от признаков пробуждающейся лесной жизни, и от разлитой по лесу свежести, душа Карла проникалась полузабытым чувством умиленности.

Отношения со старшим лесничим Арнольдом Зонненфельдом наладились очень быстро. Зонненфельд, бывший капитан еще кайзеровской армии, был знающим свое дело и добродушным человеком. Но возраст уже брал свое: работать становилось ему не по силам. Своего помощника он поселил в квартире, в доме лесничества, в котором проживал и сам со своей сестрой. В том же доме находилась и канцелярия. Зонненфельд предложил Карлу столоваться у них за очень умеренную плату. Обыкновенно после обеда он брал Шолтиса с собой, и они в автомобиле уезжали в лес. Старший лесничий методично вводил Шолтиса во все подробности своей службы. Познакомил его с лесниками, которых насчитывалось более десяти человек, показывал ему как проводятся лесонасаждения. Карла все это живо интересовало. Здешние леса были не похожи на его родные — восточнопруссские, но иногда что-то знакомое виделось ему в необычных для этих мест кустах можжевельника, вкрапленных в могучую лесостену величественно стройных великанов: сосен, буков и кленов.

По вечерам, после ужина, Карл обыкновенно оставался в столовой и Зонненфельд начинал рассказывать. У старика, несмотря на его пре-

клонный возраст, память была прекрасная. Он интересно вспоминал о жизни в Германии в кайзеровские времена. Чувство юмора делало его рассказы занимательными, так что слушать его было приятно. Зонненфельд был добродушным человеком и почти никогда не осуждал других людей. Единственным исключением из этого правила был Гитлер. Воспоминая о нем, старик взрывался.

— Да не заговаривайте вы с Арнольдом об этом маляре, господин Шолтис, — несколько раз предупреждала Карла сестра Зонненфельда, уже пожилая, неразговорчивая женщина. — Вы не имеете понятия, как мы все жили когда-то, до него, и как жили при нем. Вы были на фронте и не знаете, что здесь происходило... Почему Арнольд его терпеть не может? Очень просто: после покушения на этого ефрейтора в июле сорок четвертого, тут у Арнольда прятались два его бывших офицера-однopolчанина. Они у нас больше месяца скрывались. Потом решили пробраться в Лейпциг, там их обоих и схватило Гестапо. Они погибли, и тот, и другой... А что мы пережили, пока они у нас здесь находились!.. Молодцы, правда: на допросе ни слова не сказали о том, что мы их прятали... А какой это был удар для Арнольда!.. Вы не знаете, что здесь происходило, господин Шолтис...

\* \* \*

В первую отлучку в город Карл зашел на свою бывшую квартиру. — Тут для вас письма есть, — сказала хозяйка, — я сейчас принесу. При виде одного из писем — серого квадрата плоховатой бумаги, на обратной стороне которого стояла фамилия и адрес отправителя: Эрих Гизеке, СССР, Свердловская область, Лисовский район, почтовый ящик 625/19, сердце Карла дрогнуло. Он хотел сразу же вскрыть письмо, но сдержался. Собственно говоря, письмо-то не для него. Положив конверт в карман пиджака, он вскочил на велосипед и помчался в лесничество. Оттуда он сможет позвонить Фалькенхорстам.

\* \* \*

— Но что же Эрих пишет? Что он пишет? — нетерпеливо допытывалась старшая фон Фалькенхорст, отозвавшаяся на телефонный звонок Карла.

— Я не знаю, госпожа фон Фалькенхорст. Я письмо не читал, ведь оно не мне, а вам.

— Ах, какой вы!.. Пожалуйста, вскройте письмо и прочтите мне по телефону. Хорошо?

— Сейчас, одну минуту... Вы меня слушаете?

— Да, да... Читайте, пожалуйста.

— Так вот, майор пишет: — Дорогой Карл! Получил твое письмо, рад, что ты доехал удачно. У нас здесь ничего нового, работаем по-прежнему. Два дня на этой неделе был в колхозе. Начальник ремонтного депо уговаривает меня остаться здесь в качестве вольнонаемного после то-

го, как выйдет срок. Я рад, что ты понемногу привыкаешь к новой жизни. Ты мне пишешь про каких-то Петерс. Я что-то припоминаю. По-моему, у них в Инстербурге была булочная. Что-то мне подозрителен, мой друг, энтузиазм, с которым ты пишешь о младшей. Не успел ли ты влюбиться? У нас тут все говорят о возвращении домой. Все, конечно, надеются вернуться как можно скорее. Я тоже надеюсь. Кто его знает, может, через каких пять-шесть месяцев я и приеду. Тогда мы с тобой вместе авторемонтную мастерскую откроем. Пиши, буду ждать. Твой Эрих."

—Он жив и здоров!.. Приедет через пять или шесть месяцев!.. Господи, как я рада!.. Как я вам благодарна, господин Шолтис!..

—Да за что же меня благодарить, госпожа фон Фалькенхорст? Я только посредник, больше ничего.

—Знаете что, господин Шолтис? Приезжайте к нам сегодня вечером, к шести. И письмо привезите. Моника об этом не знает ничего, ее еще дома нет. Она тоже будет очень рада. Приедете?

—С удовольствием.

Карл положил трубку телефона и увидел стоящего у дверей Зонненфельда.

—Вы знакомы с фон Фалькенхорстами, Карл? — спросил Зонненфельд с удивлением.

—Да, я познакомился с ними совсем недавно, после моего возвращения из плена.

—Замечательная семья. Эриха я еще мальчиком помню. Его отца тоже. Я у него два раза в гостях был, в его майорате под Гумбинином. Мы даже какими-то родственниками приходимся фон Фалькенхорстам. Правда, без подзорной трубы не разберешь, но все же родственники.

—Я приглашен к шести, с вашего разрешения...

—Ну, конечно, конечно. Кстати, раз отправляетесь с визитом к аристократам, возьмите автомобиль, а то в такую грязь — и на велосипеде... На что ваш новый костюм будет похож? — Зонненфельд помолчал немного и неожиданно спросил: — А ведь Моника очаровательна, правда?..

\* \* \*

—Да вас узнать нельзя, господин Шолтис!.. — воскликнула старшая фон Фалькенхорст, увидев Карла. — В этом костюме... Не правда ли, Моника?..

—Верно, совсем другой человек. Смотри, мама, он даже улыбается!.. Невероятно!.. — в тон ей ответила Моника. — Пойдем в гостиную, я там чай приготовила, — продолжала она. — Будем письмо читать, а то я подробностей не знаю. Мама мне рассказала, но гораздо интереснее прослушать все от начала до конца.

—Хорошо, попросим госпожу Петерс прочитать нам письмо, — сказал Карл, хлопая себя по карманам.

—Какую госпожу Петерс?.. — с удивлением спросила старшая фон

Фалькенхорст и вдруг рассмеялась. — Да ведь это же я — Петерс!.. Совсем об этом забыла...

— Как хорошо!.. Какое счастье!.. Через несколько месяцев папа придет и все мы будем вместе!.. Спасибо вам, господин Шолтис!.. — Моника помолчала, а потом с лукавой улыбкой спросила Карла: — Что такое вы написали папе обо мне?

— Я написал, что на вас заглядеться можно, — ответил Шолтис без тени улыбки. — Во-первых, это правда, а, во-вторых, майору будет приятно это прочитать.

— Ну, хорошо. А как вы собираетесь ответить на вопрос папы, не влюбились ли вы?

— Майор шутит. Это просто доказывает, что он был в хорошем настроении, когда писал ответ. В лагере письмо — большое событие, а тут — получить первую весточку от семьи после стольких лет... Вполне понятно, что ваш отец был счастлив.

— А вы на самом деле собираетесь вместе с Эрихом авторемонтную мастерскую открывать? — улыбаясь, спросила старшая фон Фалькенхорст.

— Ну, что вы. Это пишется для маскировки, больше ничего, — сказал Карл, с интересом рассматривая сервизную чашку. — Нигде ничего подобного не видел. — Видел, — возразил он сам себе и осторожно опустил чашку на стол. — В Дрездене видел, еще до войны, в музее. Когда наш арbeitsdienst туда экскурсию устроил.

— Да, это настоящий Мейссен. Эрих догадался в свое время все наше имущество перевезти сюда, еще в сорок третьем году. Он уже не верил в победу "гениального ефрейтора". И был прав, как видите. Что бы мы сейчас делали, если бы Эрих тогда об этом не подумал? И этот коньяк — тоже. Незадолго до войны Эрих купил ящик, и шесть бутылок оставил, как он в шутку говорил, на свадьбу Моника. Она тогда уже ходить пробовала, и все время ей это не давалось: делает шаг и встанет на четвереньки. А дом этот Эрих в наследство от своего далекого родственника получил. Видите, как он нам пригодился?

\* \* \*

— Может быть, дамы разрешат мне пригласить их в кино? — спросил Карл, поднимаясь с дивана. Надо было ехать домой, но так еще хотелось побыть вместе с Моникой.

— К сожалению, я не могу — слишком устала от всех этих волнений, — ответила старшая фон Фалькенхорст, — но, может быть, Моника...

— Хорошо. Как раз там с понедельника новый фильм показывают. Что-то американское. Можно посмотреть.

На дворе уже стемнело, но осенний вечер был теплый и тихий. На тротуаре кое-где лежали разноцветные листья. Изредка встречались прохожие.

— Теперь вам придется написать папе, что вы были с Моникой Петерс в кино, — смеясь сказала Моника. Интересно, что папа вам от-

ветит?

—Майор на меня не обидится. Он всегда ко мне хорошо относился. Наверно, спросит, какой фильм показывали или что-нибудь в этом духе. Вот и все.

—Вы здесь уже были в кино?

—Да, однажды. А вот в лагере мы с вашим отцом фильм смотрели. Я тогда и подумать не мог, что следующий раз в кино пойду уже в Германии.

\* \* \*

Фильм не ахти какой, но для Карла это было ново — за последние десять лет он видел только немецкие или советские киноленты. Он сказал об этом Монике.

—Ну, мы здесь стали американцами, — ответила она. — Чувствуем себя свободно и живем, как хотим.

—Может быть, зайдем сюда на минутку? — предложил Карл, когда они проходили мимо кафе.

—Хорошо, но с одним условием.

—С каким, госпожа фон Фалькенхорст?

—Я вам сейчас объясню, — проговорила Моника, усаживаясь за стол. Только перестаньте, ради Бога, называть меня фон Фалькенхорст. Торжественно и смешно!.. Конец девятнадцатого века... Зовите меня Моникой, я тоже буду звать вас по имени. Раскрахмальтесь, Карл. Я знаю — мы, пруссаки, любим традиции, но даже ради них не стоит разгуливать по улицам в латах орденского рыцаря. Привыкайте к новой Германии. Живите, как все. Вам же легче будет.

—Хорошо, раз вы так хотите... Только вы мне не удивляйтесь, Моника. Я к таким переменам не подготовлен..

—Привыкайте, Карл.

\* \* \*

Прощаясь, Моника сказала: — Приезжайте в воскресенье, Карл. Кстати, познакомьтесь с Генрихом.

—Каким Генрихом?

—Генрихом Шмитке. Он за мной уже два года настойчиво ухаживает. — Моника засмеялась. — Во всяком случае, Генрих уверен, что он очень настойчив.

—Ну, а вы?

—Пока что я не сопротивляюсь.

—То есть?

—Сопротивляться нечему. Генрих полагает, что дипломаты должны очаровывать всех и каждого тактом и изяществом манер, а не прибегать к грубой силе..

—Он дипломат?



—Если подшивание дел в архиве министерства иностранных дел можно назвать дипломатией, то да. Конечно, чаще готовых дипломатов сдают в архив, чем начинают их подготовку с архива... Но, возможно, Генрих и выбьется...

\* \* \*

—Мама, я пригласила Карла на воскресенье, — сказала Моника, снимая пальто.

—Какого Карла?

—Карла Шолтиса, конечно. Это сюрприз для Генриха. Забавно — две противоположности. Интересно, кто будет чувствовать себя неудобней: Карл или Генрих?

—Твои вечные причуды, Моника. Зачем ставить Шолтиса в неловкое положение?

—Карла Шолтиса?! Хочешь пари, мама? Коробку шоколадных конфет!

—Какое пари?

—А такое, что Генрих будет чувствовать себя не в своей тарелке, а не Карл: Коробка конфет!.. Хорошо?..

—Баловница ты, Моника... Ну, хорошо.

\* \* \*

—Знакомьтесь, господа!.. Господин Генрих Шмитке из министерства иностранных дел, господин Карл Шолтис, лейтенант, недавно только вернулся из плена. Тоже пруссак, как и мы с мамой.

—Рад познакомиться с вами, господин фон Шолтис.

—Очень приятно, господин фон Шмитке.

—К сожалению, я не принадлежу к дворянскому сословию, господин фон Шолтис.— В голосе Генриха проскользнула нотка сомнения — всегда эти аристократы позволяют себе слишком много. И этот тоже.

—Не огорчайтесь, господин Шмитке. Берите пример с меня — тоже просто Шолтис и меня это мало трогает, живу и не огорчаюсь.

—Моника мне говорила, что вы были в одном лагере с ее отцом. Вы не могли бы рассказать что-нибудь о вашей лагерной жизни, господин Шолтис? Это так интересно...

—Смотря кому... Мне лично это совсем неинтересно, а дамам я уже все о нашей жизни в лагере рассказал.

—Да, Карл нам много рассказывал, — подтвердила Моника. — И очень интересно при этом.

—А Моника просвещает меня насчет современной жизни Германии.

—Да, у нас здесь все очень изменилось. Я думаю, вы это уже заметили, господин Шолтис.

—Молодежь, чай готов, — сказала старшая фон Фалькенхорст, показавшись в дверях гостиной.

—Да, у нас все изменилось, господин Шолтис, — вновь продолжал

Шмитке, аккуратным движением руки поднося чашку к губам. — Германия потеряла очень много, все мы страдали и продолжаем страдать... — Карл внимательно посмотрел на говорившего. Свежее лицо с маленькими бакенбардами, гладко выбритый, изящный подбородок, пухлые розовые губы выгодно оттенялись строгим, отлично сшитым костюмом, безукоризненной белизны рубашкой и галстуком-бабочкой.

— Поверьте мне, господин Шмитке, — сказал Карл, склоняя голову в его сторону, — Германия сумеет оценить страдания, которые вы перенесли и продолжаете переносить.

— Нет, нет, что вы, господин Шолтис, я это не о себе... Это я просто усилил, так сказать... Я имею в виду весь немецкий народ. Его страдания кончатся, может быть, в ближайшем будущем. Конечно, теперь мы должны стремиться к воссоединению, это наша главная задача. Мы не должны забывать и наших земель, захваченных поляками, но это, естественно, не является нашей непосредственной задачей, точно так же, как проблема нашей экспансии на восток.

— Я должен признать, господин Шмитке, что программе вашего министерства нельзя отказать в сходстве с гениальными замыслами Фюрера. Тот же "Дранг нах Остен"... Замечательно!..

— Что вы, что вы, господин Шолтис!.. Это мой частный взгляд, уверяю вас!..

— Господа, да хватит же политики!.. — вмешалась старшая фон Фалькенхорст. — Неужели нет ничего более интересного?..

— Совершенно верно, мама, — подхватила Моника. — У меня уши вянут, такая скука!.. Вот что, — восторженно воскликнула она, — у меня идея: поехали к Зонненфельдам! Погода хорошая, можно и в лес пойти. И Зонненфельды будут рады: мы у них уже целый год не были. Все согласны?.. Да?.. Я только им позволю на всякий случай!..

\* \* \*

— Генрих любит страдать со всеми удобствами, — сказала Моника, когда они с Карлом отстали на несколько шагов от ее матери и Генриха. — Видите вон тот голубой Мерседес? Это его машина.

— Да, генеральская машина, — согласился Карл.

— Чего я от вас никак не ожидала, так это ядовитости, — со смехом вдруг сказала Моника. — Так разделать бедного Генриха! Впрочем, я вам благодарна.

— За что? За разделывание "бедного Генриха", как вы это называете?

— Вот именно. Дело не в Генрихе, а в том, что вы его сразу в бараний рог загнали, а я выиграла у мамы коробку конфет.

— Простите, ничего не понимаю.

— Очень просто. Мы с мамой заключили пари, кто из вас обоих будет чувствовать себя неловко в присутствии другого. Я была уверена, что светский лоск Генриха вас не потрясет, и теперь получу от мамы

коробку конфет. Вот и все.

Шолтис польщенно улыбнулся: — Оригинальный тотализатор, — конкурс на конфуз!

\* \* \*

Старый Зонненфельд и его сестра были искренне рады гостям.

—Я думал, вы нас совершенно забыли, — непривычно суетясь говорил старик. — Это, наверно, Карл придумал, затащить вас сюда?

—Нет, это Моника.

—Умница! Пожалуйста, входите. Или вы предпочитаете здесь, на веранде, госпожа фон Фалькенхорст?

—Может быть, лучше здесь, на свежем воздухе.

—Прекрасно, останемся здесь. Я надеюсь, ты напоишь нас чаем, Амалия, — сказал Зонненфельд, обращаясь к сестре.

—Конечно, конечно, я сейчас...

—Мама, пока вы тут будете чай пить, мы ходим в лес. Хорошо? Еще совсем светло. Посмотри, какой лес — как радуга... Через час мы вернемся.— И Моника сбегала с веранды, увлекая за собой Карла. Генрих поспешил присоединиться к ним.

В лесу было по-осеннему тихо, только где-то далеко стучал дятел. Иногда с дерева срывался красно-желтый лист, падал медленным и нерешительным движением, и ложился на землю ярким пятном. Лес пахнул осенью и примиряющей грустью.

Дорога вышла на небольшую поляну, окаймленную кустами можжевельника. Моника остановилась и, показывая на кусты можжевельника, сказала: — Совсем как у нас дома. — В ее голосе послышалась неожиданная грусть. — Как дома, — тихо повторила она.

—Да, — отозвался Карл. — В Западной Пруссии можжевельника сколько хочешь, а здесь — почти нет... Я часто сюда прихожу, сажусь на этот вот пенек и мне кажется, что я дома. Никакой войны не было, не было плена; вот встану сейчас и пойду домой...

На обратном пути разговор не клеился. —Странный народ эти пруссаки, — думал Генрих, поглядывая на Карла. — Кажутся железными, и вдруг беспредельная сентиментальность откуда-то... А этот Карл слишком пристально на Моникау смотрит... Нехорошо.

\* \* \*

—Что Карл все время глаз с Моника не сводит, это меня не удивляет: Моника всем нравится, — говорила фон Фалькенхорст Амалии, жестом отказываясь от второй чашки чаю. — Меня удивляет, что Моника, по-моему, к нему равнодушна. Каждый раз, когда он приходит, она становится веселой, разговорчивой. К Генриху она никогда так не относилась.

—Но ведь Генрих за ней уже два года ухаживает?

—И, кажется, довольно безуспешно. Не думаю, чтобы он Монике особенно нравился. А, впрочем, у нынешней молодежи ничего не поймешь...

—Ну, если б я был девушкой, я бы, конечно, предпочел Карла, — сказал молчавший до сих пор Зонненфельд. —Офицер, это раз. Посмотрите, какая у него выправка, какая фигура. Разве вашего сусального Генриха можно с Карлом сравнить? А во-вторых, он этого малляра не любит.

—У Арнольда это два самых важных условия, — сказала, улыбаясь, Амалия. —Быть военным и не любить Гитлера.

—Пожалуйста, не преувеличивай. Просто Карл хороший человек.

—Тебе бы свахой быть, Арнольд. По-твоему, лучше Карла вообще никого нет. А тебя он подкупил тем, что по вечерам с тобой сидит и твои рассказы слушает.

—Ему интересно, потому и слушает. — Зонненфельд слегка зевнул. —Вас ничем не удивить. А молодежь все-таки интересуется... Так оно и должно быть...

\* \* \*

...Станция затерялась в уральских отрожьях. В сутки здесь проходит пара пассажирских поездов, а товарных составов — не меньше дюжины. Везут они лесоматериалы, ничего другого, только брусья, доски, сложенные в штабеля на платформах товарных вагонов. Нагруженные составы приходят с востока и редко останавливаются на станции. Но те, которые останавливаются все же, постояв с полчаса, сворачивают на ветку, ведущую в лес.

За шесть километров от станции они останавливаются снова и на следующий день, загруженные доверху бревнами, обтесанными досками, деревянными плинтусами и квадратными кусками фанеры, возвращаются на станцию, где костлявая рука семафора, поднимаясь, указывает им путь на запад. Туда и уходят эти поезда.

В лесу, где грузятся поезда, расположен лагерь, обнесенный колючей проволокой. С интервалами в сто метров стоят вышки. У входа — большое здание лагерной администрации, несколько домиков поменьше. Дальше, за ними, сорок с лишним бараков для заключенных.

В июле сорок пятого поезд привез сюда три тысячи немецких военнопленных на лесоповал. В сентябре пришел другой транспорт в полторы тысячи человек. В их числе был автомеханик Эрих Гизеке, он же майор фон Фалькенхорст. Его перевоплощение в скромного солдата вермахта в общем прошло благополучно. Никаких осложнений не было. И все-таки он постоянно был настороже. Всегда существовала возможность неожиданной встречи, нежелательного узнавания. И что тогда? Всех последствий этого он, конечно, не знал, но ничего хорошего такая перспектива не сулила.

Перейти из категории просто военнопленных в разряд "военных

преступников" значило, как минимум, надолго отсрочить, а то и вообще зачеркнуть возможность возвращения в Германию, на что надеялись все в лагере — пусть по-разному, но надеялись. А сознание того, что он попал в нелепейшую ситуацию "без вины виноватого", ибо никаким "военным преступником" не был, а его старая неприязнь к нацизму могла бы считаться даже с точки зрения Советов плюсовым моментом, это сознание лишь усиливало его внутреннюю напряженность. Вот почему иногда просыпался он в холодном поту на своей лагерной койке, вот почему постоянно — и в сновидениях, а иной раз и наяву, когда случалось ему задуматься во время какой-нибудь однообразной, механически делаемой работы, одолевали его воспоминания о прошлом.

\* \* \*

— Вы должны благодарить за то, что мы вас избавляем от грязной работы, капитан, а вы негодуете, заявляете какие-то протесты. — Штурмбаннфюрер Шварц протянул капитану фон Фалькенхорсту открытый золотой портсигар. — Вместо того, чтобы протестовать, закурите. — Лицо штурмбаннфюрера расплылось в благодушной улыбке.

— Благодарю вас, я не курю.

— Ну, как хотите. — Шварц щелкнул портсигаром, с удовольствием повертел его в руках и положил в боковой карман мундира. — Поймите же, господин капитан. Наша работа вас совершенно не касается. Вы свое дело сделали кровью и железом, как сказал фюрер. Теперь не мешайте нам это дело закончить. Мы должны очистить территорию, уже составляющую часть Великого Германского Рейха, от евреев и коммунистов. Наша работа необходима, а уж если она грязновата и вам, господа офицеры, не нравится, то — "нервных просим не смотреть", — ухмыльнулся Шварц. — Да, — продолжал он, раздавливая недокурную сигарету в пепельнице, — а потом вы войдете в историю Германии, господин капитан, как доблестный защитник и создатель тысячелетнего Рейха, а штурмбаннфюрера Шварца никто даже не упомянет. А я сойду с ума или застрелюсь. У меня по ночам галлюцинации...

В дверь постучали. — Войдите, — сказал фон Фалькенхорст. В комнату быстро вошел, скорее, ворвался молодой зондерфюрер. Капитан с удивлением посмотрел на него: — Что случилось, господин Розен? — Господин капитан, там внизу женщина с ума сходит, плачет, — Розен перевел дух, — мужа забрали, на улице, сегодня утром. У него с собой документов не было, дома на столе забыл. Она к лагерю бегала, видела его там... Богом клянется, что он не коммунист...

— Едва ли мы сможем ей помочь, господин Розен. Все зависит от штурмбаннфюрера. Господин штурмбаннфюрер, — продолжал Фалькенхорст, обращаясь к Шварцу, — может быть, ваши мблодцы слишком поторопились?

— Возможно. Вы немец или русский, зондерфюрер? — спросил Шварц Розена.

—Я родился в Берлине, господин штурмбаннфюрер!

—Значит, вы немец. В будущем не беспокойте ни капитана, ни меня такими пустяками. А я выпущу этого забывчивого дурака. Как его фамилия?

—Шишкин, господин штурмбаннфюрер, Николай Шишкин.

—Шишишкин... Идиотская фамилия. Хорошо, поезжайте в лагерь и возьмите вашего, как его там... Я напишу коменданту. — Шварц написал несколько слов в записной книжке, вырвал листок и отдал Розену. — Не откладывайте на завтра, завтра будет поздно.

—Благодарю вас, господин штурмбаннфюрер. Разрешите идти, господин капитан?

—Хорошо, идите, господин Розен. Возьмите автомобиль и одного человека.

После ухода Розена Шварц вынул портсигар, повертел его в руках и медленно положил обратно в карман. — Ну, мне надо уходить. Я полагаю, что мы все выяснили, господин капитан. — Шварц встал, надел фуражку. — Розена я еще могу понять — молодой и глупый, а вот вас, господин капитан, — не понимаю. Хайль Гитлер! — Дверь за штурмбаннфюрером Шварцем медленно затворилась.

Розен вернулся через три часа, доложив, что поручение исполнено, и вдруг, стоя перед столом, за которым сидел фон Фалькенхорст, заплакал. Это было так неожиданно, что капитан растерялся. — Что с вами, Розен? Успокойтесь... Вот вам коньяк. Да возьмите себя в руки, черт вас возьми!.. Вы же солдат!.. Садитесь и рассказывайте!

Сначала сбивчиво и несвязно, но постепенно успокаиваясь, Розен рассказал коменданту, что он видел в лагере: — Больше всего евреев, около тысячи, я думаю, но есть и русские, и украинцы... Больше всего евреев, согнали со всего Ольвиополя, из окрестностей. И старики, и дети... Все... Когда ко мне Шишкина привели, он спросил, за что же его раньше других? Он старый, за шестьдесят, и жена его тоже. Жена как увидела его, кинулась, обняла и вся дрожит, а он стоит и плачет... Я их домой свез... Господин капитан, за что же их всех?

\* \* \*

После битвы на курской дуге капитан фон Фалькенхорст был произведен в майоры и причислен к штабу группы армий "Север" в Курляндии. Остатки его мортирной батареи застряли где-то под Орлом.

—Наш гениальный фюрер делает все, чтобы проиграть войну, — говорил полковник Курцбах, командир артиллерийского парка группы, к которому фон Фалькенхорст был откомандирован в качестве помощника. — Слепой, и тот увидел бы, что нам здесь делать нечего. Давно пора уйти от Ленинграда и нашу группу перевести куда-нибудь южнее. Но нет никакого отхода. "Немецкий солдат не отдаст ни метра земли врагу," — говорит этот ефрейтор, и мы осаждаем Ленинград, для чего-то удерживаем Прибалтику, а на всем восточном фронте дела идут все хуже и хуже.

— Да, эта авантюра кончится плохо, — вторил ему фон Фалькенхорст. С Курцбахом они быстро подружились. В долгих разговорах по вечерам, наедине, в кабинете полковника они анализировали положение на фронтах, и их согласная оценка значительно расходилась с мнением немецкого главного командования.

— Да, я чуть не забыл, — сказал Курцбах, выдвигая ящик письменного стола. — Командование группы дало разрешение на ваш отпуск. Вот оно. Я вам накину два дня на поездку и два дня на возвращение, это составит в целом пять недель.

— Благодарю вас, господин полковник. Я уже начал тревожиться, ведь могли и отказать.

— Вполне. Сейчас отпуск дают очень неохотно. А вы не теряйте времени, мало ли что может случиться.

— С вашего разрешения, я выеду послезавтра. Если все пойдет хорошо, то в пятницу я буду уже дома.

\* \* \*

Майорат Толлкемен был подарен фон Фалькенхорстам еще Фридрихом Великим. Когда-то, во время борьбы с пруссами, орденские рыцари воздвигли здесь одну из своих многочисленных пограничных крепостей, развалины которой можно было видеть и теперь — заросшие кустами и травой, они сохранили свой грозный и мрачный вид. Окрестные жители избегали приближаться к развалинам даже днем — слишком много жутких легенд было связано с этим местом.

Фалькенхорсты даже и не пробовали отстраивать старую крепость, а построили усадьбу подальше от нее, у леса, на холме. Вокруг разбили большой парк, со временем одичавший и слившийся с лесом.

Автомобиль свернул с шоссе и медленно поехал по аллее, ведущей к усадьбе. Могучие деревья возвышались зеленой колоннадой; кусты между ними кудрявились ажурной листвой, сквозь которую пробивались до земли солнечные блики. Кое-где желто-красными купами вспыхивали среди густой травы заброшенные, но буйно разросшиеся сами собой цветники из неприхотливых петуний и настурций. Родные, мирные места!.. И вдруг резким диссонансом мелькнула мысль: быть может, это в последний раз...

Внезапно возникнув, эта мысль уже не оставляла Фалькенхорста. Даже радость встречи с женой и дочерью не была в состоянии заглушить жуткий шепот: быть может, это в последний раз...

На другой день вечером, Фалькенхорст, оставшись с женой вдвоем, сказал: — Ты помнишь, конечно, как я ездил в наш дом в Виттбахе для ввода в наследство. Так вот, постарайся постепенно перевезти туда мебель и все наиболее ценное. Но делай это... — Эрих, — прервала его жена. Ее расширившиеся глаза с ужасом смотрели на мужа. — Эрих, неужели это правда? Не может быть!..

—К сожалению, это может случиться. И больше шансов за то, что это случится...

—Но ведь все сводки говорят, что большевики остановлены, что их резервы исчерпаны!.. Недавно я встретила в Кенигсберге заместителя Коха, Шрамма, он меня уверял, что наши неудачи на востоке временны, что скоро фронт будет восстановлен, и мы отбросим большевиков еще дальше на восток... А ты...

—Шрамм говорит то, что ему полагается говорить. Возможно, что он даже верит в это, а я не верю. После Сталинграда и Курска войну можно считать проигранной. Резервов у нас нет. Гиммлер может наскрести еще миллион стариков и детей, но это не солдаты, а бесполезные жертвы.

—Что же делать, Эрих?..

—Делай, что я говорю. Виттбах такой незначительный городишко, что его даже бомбить никто не станет. Посылай наши вещи по железной дороге небольшими партиями, чтобы не возбуждать пересудов. В доме большой и сухой подвал. Там можно сохранить все, что угодно. Если после войны вернемся сюда, то привезем обратно и вещи. Запаси побольше копченой свинины и регулярно меняй запас, чтобы все было свежее. Придется тебе самой решить, когда начать пересылку; меня здесь не будет. Если фронт приблизится к польской границе, то бери Моника и уезжай в Витбах "навестить родственников".

—Эрих, как же это так?.. Я и не предполагала, что на фронте все так плохо...

—Конечно, плохо. Каждый солдат это понимает, только наш гениальный ефрейтор не может того уразуметь... Войну надо заканчивать, если бы даже пришлось убраться отсюда.

\* \* \*

Зима сорок третьего-сорок четвертого года была очень тяжелой. Положение группы армий "Север" ухудшилось. Правда, к ней присоединилась часть войск, оттесненных из-под Ленинграда, но удерживаемая группой территория уменьшилась вдвое. В апреле группа "Север" была отрезана от Восточной Пруссии.

—Итак, теперь мы до конца выполним приказ нашего любимого фюрера, — сказал Курцбах, входя в кабинет Фалькенхорста, — ни шагу назад. — Фалькенхорст вопрошающе поднял на него глаза. — Русские прорвались к морю у Мемеля. Вся Литва в их руках. Единственный путь отсюда, это в Валгаллу.

Фалькенхорст отнесся к сообщению Курцбаха спокойно — он давно ожидал этого. Семья уже в феврале уехала в Виттбах, жена писала, что ей необходимо посетить специалиста-рентгенолога в Бонне. В конце письма было сказано, что Зонненфельд и его сестра просят передать их поклонны. Это означало, что и она, и Моника уже в Виттбахе.

—Придется убрать этого полоумного, — продолжал Курцбах. — Выбора у нас нет. Или он — или Германия. — Он внимательно посмотрел



на Фалькенхорста.

— Да, выбора у нас нет, — подтвердил Фалькенхорст. — Но что же делать? Ждать, пока этот маляр погубит и нас, и Германию?

— Кое-что уже делается, Фалькенхорст. Поверьте мне. Я не хочу посвящать вас в детали, еще рано. А если это сорвется, то и для вас лучше не знать. Многие так думают, как вы и я. Что-то скоро произойдет. Могу я тогда рассчитывать на вас?

— Я вам верю, господин полковник. Можете на меня рассчитывать.

\* \* \*

"Что-то" произошло двадцатого июля 1944 года. Покушение не удалось. Из бывших в бункере вместе с Гитлером, девять человек были убиты, но сам Гитлер остался жив. Аресты и расстрелы начались в тот же день вечером. Волна репрессий докатилась в штаб группы армий "Север" на третий день.

Курцбах пришел к Фалькенхорсту под вечер. — Пришел передать вам дела, Фалькенхорст, — сказал он, ставя рядом со стулом свой портфель. Завтра я должен лететь в Берлин. — Курцбах был совершенно спокоен, даже, пожалуй, немного торжественен: новый мундир, легкий запах дорогого одеколona, парадный кортик на портупее. — Да, Фалькенхорст, — продолжал Курцбах, помолчав немного, — завтра я должен лететь в Берлин. Мы проиграли, надо расплачиваться. Проиграет и ефрейтор, только немного позже... Обидно, что мне не придется увидеть этого... — Полковник поставил на колени портфель и вынул оттуда две бутылки коньяка. — Одну мы разопьем сейчас, а другую оставьте себе. Будете пить — вспомните обо мне.

— Но, может быть, вас вызывают совсем по другой причине, господин полковник...

— Других причин нет. Вы помните полковника Швандта? Он арестован. Он был одним из организаторов нашей группы. Я не думаю, чтобы сам Швандт проговорился, скорее всего кто-то из здешних донес. Впрочем, это уже не имеет никакого значения...

Старый французский коньяк не опьянял. Курцбах поставил рюмку на письменный стол и медленно поднялся. — Да, в идиотское время мы родились. Поколение неудачников... Прощайте, Эрих, вы были хорошим товарищем.

— Куда вы едете, господин полковник?

— Не скажу. Когда вас будут спрашивать, куда я от вас поехал, вы сможете сказать, что вы ничего не знаете. Для вас это будет лучше.

\* \* \*

Через полчаса раздался телефонный звонок. Говорил командир батареи капитан Ульман. Он, видимо, был очень взволнован и путался в словах. — Ничего не могу понять из вашего рапорта, капитан. Успокой-

тесь и говорите медленно. В чем дело?

Постепенно овладевая собою, капитан Ульман доложил, что полчаса тому назад приехал полковник Курцбах, проинспектировал батарею и пошел в окопы пехотного прикрытия. На предложение капитана проводить его он ответил отказом. В бинокль было видно, как полковник спустился в окопы, через несколько минут вышел, и направился в сторону противника. Поднявшись на небольшой холм, он открыл стрельбу из пистолета. Русские ответили длинной пулеметной очередью, после которой полковник Курцбах зашатался и упал навзничь. Капитан был уверен, что полковник убит. Вынести тело до наступления полной темноты совершенно невысказано...

Фалькенхорст медленно положил трубку. Рядом с телефоном стояла пустая бутылка и две рюмки. В той, из которой пил Курцбах, на донышке осталось несколько капель...

\* \* \*

Последняя военная зима ничего не изменила в положении группы армий "Север". Казалось, что о них забыли. В жизни Фалькенхорста тоже не было никаких перемен. На место Курцбаха назначили полковника, которого раньше Фалькенхорст несколько раз встречал в штабе группы — молчаливого, задумчивого человека. По слухам, оба его сына пропали без вести на восточном фронте.

От жены пришло несколько писем. Она с Моникой устроилась в Виттбахе, и Фалькенхорст радовался, что во-время успел позаботиться о семье.

В одну из его поездок в штаб группы начальник канцелярии сказал ему, перебирая бумаги, лежащие на столе: — Наши радисты приняли вчера русскую радиограмму. А, вот она... Список военных преступников. Вот и ваша фамилия. Я хотел предупредить вас, майор...

Удар был слишком неожиданным. — Почему? — с трудом выдавил из себя Фалькенхорст, кладя бумагу на стол. — Ну, на это вы сами должны найти ответ, майор. У русских есть какие-то причины, наверно.

\* \* \*

Приказ о капитуляции был получен восьмого мая, в четырнадцать ноль-ноль. Вечером того же дня майор фон Фалькенхорст в последний раз перечел все письма жены, которые четыре года возил с собою, и бросил их в огонь. А через два дня унтер-офицер Эрих Гизеке, затерянный в толпе военнопленных, шагал по бесконечным дорогам Валдая навстречу неизвестному.

Трагедия группы армий "Север" кончилась, началась трагедия ста восьмидесяти тысяч человек, составлявших ее. И теперь, медленно бредя в угрюмой толпе военнопленных в поношенной шинели, с вещевым мешком, переброшенным через плечо, небритый пожилой унтер-офицер Эрих Гизеке — он же майор фон Фалькенхорст — размышлял

надо всем происшедшим то как бы отрешенно, в этаким философском спокойствии все повидавшего и ничему не удивляющегося человека, то вдруг закипая от гнева и сознания упущенных возможностей.

Разгром Германии не был для Фалькенхорста неожиданностью, он знал, что ничем другим война уже закончиться не могла. Серия ошибок, совершенных германским командованием, могла закончиться только так: — сама война уже была ошибкой. Мы не могли вести ее на два фронта. Ошибкой было и то, что мы позволили Гитлеру захватить власть. Ошибкой было и бездействие военных кругов в Берлине после двадцатого июля. Этот шизофреник оказался куда более энергичным, чем все наши генералы. Он не терял времени на разговоры. — Фалькенхорст переложил мешок на другое плечо. — Да, пожалуй, самой большой ошибкой было сидеть сложа руки после взрыва в бункере. Надо было действовать... Планы были готовы. А наш генералитет ждал, как кролик, когда его проглотит удав. Всем было ясно, что Гитлер никого не пощадит, а вся Бендлерштрассе сидела и ждала, когда за ними придут и потащат на расправу. Генеральный штаб!.. Умные, энергичные люди сидят и ждут, как загнипнотизированные...

Шедший впереди него солдат закачался и вдруг опустился на колени. Фалькенхорст по инерции чуть не наступил на него. Двое, шедшие рядом, подхватили ослабевшего под руки и с видимым усилием потащили дальше, чтобы тот не задерживал колонну.

— ... Да, Курцбах так и не дожил. А умер красиво... Впрочем, выбора у него не было — виселица или самоубийство. Хорошо, что некому было поместить в газетах: "Пал смертью храбрых за Фюрера и Родину"! Избавился от насмешки... А Швандта повесили...

Колонна остановилась. — У тебя окурка нет? — спросил Фалькенхорста сосед. — Так курить хочется! Когда курево раздавали, я на перевязку ходил, вот и остался без ничего. — Кисть левой руки говорившего была забинтована грязной тряпкой. Фалькенхорст вытащил из кармана помятую половинку сигареты. — Вот спасибо! Без еды плохо, а без курева еще хуже...

Колонна медленно поползла вперед. — Да, Швандт...

\* \* \*

... Лотар Рихард Швандт... Блестящий офицер генерального штаба, артиллерист и почти гениальный математик. Фалькенхорст познакомился с ним в тридцать шестом году на курсах офицеров-артиллеристов в Потсдаме. Сдержанный, взвешивающий каждое свое слово, склонный к сарказму Швандт и остроумный, жизнерадостный Фалькенхорст (сказывалась в нем кровь бабушки-француженки) быстро подружились.

Фалькенхорст стал часто бывать в доме Швандта. В первый же визит он отметил необычайное сходство в характерах Лотара и его отца, известного берлинского адвоката. Пожалуй, только Швандт-старший был циничнее и резче в своих суждениях, чем сын.

Звезда Гитлера стремительно приближалась к зениту. Отказ от

версальского договора, вооружение Германии, присоединение Рура. Всеобщий энтузиазм. Марширующие коричневые колонны штурмовиков. Мессия с усиками Чарли Чаплина. Зиг хайль! Зиг хайль!..

— Я замечаю, что по случаю присоединения Рура вы вылили на себя добавочную порцию одеколона, лейтенант, — сказал старший Швандт, здороваясь с Фалькенхорстом. — А Лотар сегодня утром в ванне даже пел Хорста Весселя, — продолжал старик, кивая на сына. — Ну, хорошо, господа офицеры, я вас должен оставить одних, у меня завтра большое дело в суде. Увидимся за обедом.

— Твой советник юстиции не в духе, — сказал Фалькенхорст, когда они с Лотаром остались одни. — Что с ним?

Советник юстиции был не в духе и за обедом, отвечал на вопросы односложно и, когда разговор касался Рура, искусно переводил беседу на другие темы.

— Вы, молодежь, удивляетесь, почему я не разделяю вашего энтузиазма, — начал старший Швандт, когда после обеда мужчины перешли в гостиную и закурили. — Но я надеюсь вам объяснить. Только сначала ответьте мне, как вы оба относитесь к присоединению Рура?

— О, это — историческое событие! Мы в восторге! — в один голос воскликнули оба молодых офицера. — И фюрер достиг этого, не пролив ни единой капли крови, — добавил Фалькенхорст. — Только подумать, два батальона без выстрела присоединяют к Германии исконную немецкую область и никто не смеет им противиться! А наш фюрер это предвидит! Да, надо быть гением, чтобы решить рурский вопрос именно так!..

— Вот это именно то, что я хотел от вас обоих услышать, — сказал адвокат, допивая чашечку кофе. — Наш рейхсканцлер Адольф Гитлер — гений. На этом я пока и остановлюсь. Вернемся к вопросу о Руре. Лично я разделяю вашу радость по поводу его возвращения.

— Позволь, папа, — сказал Лотар, — я тебя не понимаю. С одной стороны ты говоришь, что ты доволен, а с другой стороны мы оба ясно видим, что ты случившимся недоволен. Я ничего не понимаю, скажу откровенно. Может быть, ты объяснишь нам...

— С удовольствием. Итак, мы пришли к единогласному заключению, что наш рейхсканцлер — гений. Наше мнение разделяет и вся Германия. Это прекрасно. Но очень печально, что и сам Адольф Гитлер с сегодняшнего дня тоже учерует в это. Именно это меня и страшит.

— Простите, господин советник, — вмешался в разговор фон Фалькенхорст, — но чего же вы опасаетесь? Посмотрите: все, что рейхсканцлер совершил за эти несколько лет, было на благо Германии. У нас нет безработицы, мы имеем право вооружаться, проложены прекрасные дороги, строятся новые фабрики и заводы. Честное слово, мы должны быть ему благодарны за эти достижения. Только гениальный человек мог превратить умирающую страну в современную Германию.

— Совершенно верно, господин фон Фалькенхорст. Если отбросить не предусмотренные нашей конституцией роспуск всех партий, за иск-

лучением национал-социалистической, преследование инакомыслящих и евреев, то надо сказать, что Гитлер достиг больших успехов. Я, как юрист, не могу закрывать на это глаза, но средний немец на такие пустяки не обратит никакого внимания.

—Но согласись, папа, что успех сопутствовал Гитлеру во всех его начинаниях, — заметил Лотар.

—Совершенно верно. Успех ему сопутствовал, пока он перестраивал Германию, проводил реформы. Некоторые из них были даже очень удачными, не стану этого отрицать. Теперь он присоединил Рурскую область, и это меня пугает...

—Новый успех тебя пугает, папа? Но ведь это — парадокс!

—К сожалению, нет.

—Папа, твои риторические отступления мне ничего не говорят, и Эриху тоже. Мы солдаты, а не юристы. Я совершенно серьезно прошу тебя сказать нам, что ты видишь плохого или опасного в присоединении Рура?

—Ты употребил правильный термин, Лотар, — "опасного". Все мы читали "Майн Кампф", не так ли? Вы заметили, что первый этап ее программы закончился вчера, и мы вступили во вторую стадию: собирания немецких земель? Первый шаг был сделан вчера и, к сожалению, удачно. Вторым будет Австрия. Потом Польша или Чехословакия, может быть, наоборот: сначала Чехословакия, потом Польша. Затем Россия — последний путь программы немецкого жизненного пространства. А заключительным аккордом будет полное разрушение Германии. Вот чего я боюсь, молодые люди...

—Вы слишком мрачно смотрите на будущее, господин советник, — заметил Фалькенхорст. — "Майн Кампф" — это только теория; не обязательно, чтобы рейхсканцлер руководствовался ею во всех случаях. Каждая теория применима на практике до определенной степени.

—Если в жизнь ее проводит трезво мыслящий человек, а не маляк или фанатик, — в тон Фалькенхорсту закончил старший Швандт. — Если бы рурская операция потерпела вчера фиаско, то, возможно, это могло еще отрезвить Гитлера, опьяненного успехами, но сегодня уже поздно...

Лотар и фон Фалькенхорст переглянулись с ироническим удивлением. — А ведь если подумать, — продолжал Швандт-старший, — то еще вчера один решительный французский ефрейтор с двумя солдатами мог изменить историю не только Европы, но и всего мира... Два-три выстрела из французской винтовки, и наши два батальона покорно отступили бы в свои казармы, а сегодня весь мир помирал бы со смеху над незадачливым полководцем-ефрейтором.

—Но ведь ты прав, папа, — с изумлением сказал Лотар. — Его политическая карьера на этом бы и кончилась. Как я сам об этом не подумал...

—Я не хочу быть Кассандрой, — сказал советник, медленно вставая с кресла, — может быть, я ошибаюсь... Я надеюсь, что я не прав — старость склонна видеть будущее в темных красках... Иногда случаются чудеса... — он слегка переменял тон — я слишком мрачно смотрю на

будущее. Лотар, возьми мой автомобиль, поезжайте с Эрихом на Ваннзее или хоть в Тиргарден, а то я вас обоих совсем заговорил. Скажи матери, когда вы вернетесь к ужину. — Высокая, чуть сгорбленная фигура старшего Швандта скрылась в дверях кабинета.

\* \* \*

—Я все никак не могу придти в себя, — сказал Фалькенхорст, вскарабкиваясь на борт лодки. — От прогнозов твоего отца у меня волосы встают дыбом. — Он инстинктивно пригладил рукой свою мокрую шевелюру. — Но, кажется, он прав... Ну что же ты молчишь, Лотар?.. — почти с отчаянием в голосе спрашивал Эрих. — Ведь твой отец может ошибаться? Кому-кому, а тебе это должно быть известно...

—Я и сам хочу верить, что отец ошибается, и не могу. С его-то аналитическим умом и его логикой?.. Если отец говорит о чудесах, это значит, что все поддающиеся учету элементы им учтены...— Лотар встал, потянулся... — Знаешь, я хочу еще поплавать — доплыву вон до того островка и вернусь. — Лотар бесшумно соскользнул в воду.

Эрих растаялся на дне лодки. Ему вдруг безумно захотелось домой — к жене, дочери. Там так хорошо и так спокойно, а тут... Незаметно он заснул. Разбудил его Лотар, раскачивавший лодку и напевавший: "Спи, мое дитяtko, спи..."

Через три месяца они расстались. Лотар был откомандирован на артиллерийский полигон в Пфальце, где должен был пройти двухлетнюю стажировку для поступления в военную академию. Фалькенхорст вернулся в свой полк в Кенигсберг.

\* \* \*

—Лейтенант фон Фалькенхорст из командировки прибыл! — стоя на вытяжку перед полковником, отрапортовал Фалькенхорст.

—Рад вас видеть. Садитесь, — сказал командир полка Шредер, указывая на стул. — У нас тут много перемен — вы знаете, наверно, что в дивизии создается еще один полк — нам пришлось передать часть людей и материала. Ничего не поделаешь: все артиллерийские дивизии перевооружаются, мы — не исключение. Ваша техническая подготовка нам очень пригодится: вы назначаетесь помощником командира нового гаубичного дивизиона. Явитесь к капитану Зеебергу с рапортом о прибытии.

—Слушаюсь, господин полковник. Разрешите идти? — спросил Фалькенхорст, вставая.

—Подождите, я еще не все сказал. Поздравляю вас с производством в следующий чин, господин старший лейтенант фон Фалькенхорст, сказал Шредер, улыбаясь и протягивая руку Фалькенхорсту. — Да садитесь же, — продолжал он, смотря на сияющего Фалькенхорста. — Меня благодарить не за что, ваше производство и так затянулось. Вы все еще не курите, старший лейтенант? — спросил он, подвинув к Фалькенхорсту ящик с сигарами. — Не курю, господин полковник. — И хорошо делаете. А я вот

привык к этому гаванскому зелью... Хорошо, вернемся к делу. Вам полагается месяц отпуска. Если хотите, можете взять этот отпуск сейчас. Гаубицы для вашего дивизиона еще не пришли. Зееберг и один управится. После рапорта ему вы еще останетесь здесь или хотите ехать прямо к себе?

— С вашего разрешения, господин полковник, я хотел бы зайти в собрание, повидать товарищей.

— Значит, раньше, чем в три-четыре часа утра вы оттуда не выйдете. Я знаю моих "паппенгеймовцев"... Впрочем, я и сам туда приду.

\* \* \*

Фалькенхорст знал, что сослуживцы относятся к нему хорошо, но такого радушного приема он не ожидал. Не ожидал он и приглашения сидеть за обедом рядом с полковым командиром, который хотел послушать "о последних достижениях в технике связи артиллерийских соединений", как он выразился, предлагая полковому адъютанту и Фалькенхорсту поменяться местами.

Минут десять спустя, после третьей рюмки, полковой командир, водружая на свою тарелку кусок дичи, сказал: — Черт с ними, с этими радиопередатчиками, они мне аппетит портят. Вы потом мне письменно доложите, Фалькенхорст, а сейчас я хочу есть и пить, и вам то же советую... Радиопередатчики не уйдут...

Если полковник знал своих "паппенгеймовцев", то и "паппенгеймовцы" знали своего полковника: веселье могло продолжаться хоть до утра, поскольку полковник не уходил из собрания после обеда, а перебирался в библиотеку, куда ему немедленно приносили кофе и ликер. Посему, когда он, в сопровождении командиров батарей, полкового адъютанта и Фалькенхорста проследовал этим маршрутом, молодежь облегченно вздохнула: теперь-то можно будет выпить и закусить, особенно — выпить...

— Не переносу я этих новинок, господа, — сказал полковник, удобно устраиваясь в кресле и затягиваясь сигарой, — Мне Фалькенхорст начал рассказывать за обедом о радиосвязи — прекрасно, очень хорошо. Все эти шифры — замечательная вещь... Согласен. А вот что я сегодня утром читал в "Военном Обозрении", мне не совсем нравится — управляемые по радио снаряды. Вы читали эту статью, господа? С технической точки зрения это великолепно — поражение целей на расстоянии тысячи километров. Вы спускаетесь в бункер, закуриваете сигару, нажимаете кнопку, и через несколько секунд тысячи людей за тысячу километров от вас умирают... Геройство, что и говорить. Вроде наших летчиков в Испании, те же герои. От Герники камня на камне не оставили, все население уничтожили. Мы все согласны, что с коммунизмом надо бороться, но при чем тут мирное население? Это уже не война, а бойня...

— Простите, господин полковник, но военная техника должна прогрессировать, — заметил капитан Зееберг, внимательно слушавший полковника.

—Я с этим и не спорю, мой милый Зееберг. Вот вы получаете шесть современных гаубиц, они бьют на восемь километров дальше, чем наши старые. Очень хорошо. Это значит, что мы можем поражать цели, сейчас для нас недостижимые, вести по ним аккуратный и точный огонь. Артиллерия для того и существует, чтобы бороться с артиллерией и пехотой противника, а не для уничтожения мирного населения. А эти управляемые по радио снаряды, это черт знает, что такое... Чем дальше мы продвигаемся в технике, тем меньше в нас остается человеческого. Раньше сражались лицом к лицу, а теперь?.. Кстати, Фалькенхорст, удалось вам получить картину из музея?

—Нет, господин полковник.

—Почему же?

—Я говорил с полковником Эльшлегелем, куратором музея. В ответ на мою просьбу продать картину, так как мой предок, лейтенант Густав Фалькенхорст, погиб, защищая последнюю батарею под Цорндорфом, а картина так и называется: "Последняя батарея Цорндорфа", полковник Эльшлегель ответил, что нет никаких доказательств, что офицер, стоящий у орудия со шпагой в руке, является именно Фалькенхорстом. Я выразил сожаление, что художник не догадался вложить в левую руку офицера письменное удостоверение или хотя бы паспорт на имя Густава Фалькенхорста. На этом мы и расстались.

Присутствующие расхохотались. — Эти мне Фалькенхорсты! — сквозь смех проговорил полковник. — Все такие же! Ваш покойный отец, под командованием которого я имел честь служить, будучи молодым лейтенантом за какую-то проказу был отправлен на гауптвахту на семь суток. — Полковник опять засмеялся. — Командир полка, посылая вашего отца под арест, сказал, чтобы тот после отбытия наказания явился с рапортом к нему, и что он, полковник, оторвет тогда ему голову. Точно по приказанию ваш отец явился в кабинет командира полка, одетый по форме и с корзинкой в руке. На изумленный вопрос полковника, для чего эта корзина? — ваш отец браво отрапортовал: "Для оторванной головы, господин полковник." Корзинка обошлась ему в другие семь суток ареста, но, говорят, что сам командир приказал наполнить злосчастную корзину бутылками лучшего вина и лично отнес ее на гауптвахту. Так что арестованный не мог пожаловаться на *сухое* с ним обращение...

—Разрешите спросить, господин полковник, — сказал адъютант, когда общий смех слушателей несколько стих, — что представляет собой эта картина, о которой столько говорят?

—Картина замечательная, господа. — Полковник пригубил из рюмки и откинулся в кресле. — Представьте себе низкий, в половину человеческого роста, редут. От батареи остались две пушки, две другие — подбиты, они видны на заднем плане; рядом — трупы защитников. Тут же — фигуры артиллеристов и двух канониров с зажженными фитилями в руках. Один из канониров, очевидно, ранен — он опустился на колени. Возле орудия стоит офицер: он поднял шпагу. Сейчас он подаст команду: "Огонь!". Слева на редут несется лавина русских кирасиров. Громидные,



закованные в сталь всадники, на таких же громадных конях, поднятые палаши... Это, так сказать, господа, последние секунды... Сейчас офицер-артиллерист скомандует: "Огонь!", залп из двух пушек свалит несколько всадников, а остальные столь же неудержимо пронесутся по реду, рубя палашами артиллеристов. Вот это война, господа, честная и красивая...

—Господин полковник, — почтительно сказал Фалькенхорст, — вы увидели на картине гораздо больше, чем я...

Полковник Шредер меланхолично ответил: — Когда вы доживете до моих лет, Фалькенхорст, на многие вещи вы будете смотреть тоже другими глазами... Ну, мне пора, устал. Адьютант, скажите господам офицерам, что я разрешаю продолжать. Покойной ночи, господа.

\* \* \*

—Все господа офицеры выглядят сегодня очень утомленными, — улыбаясь, доложил Ганс, один из шоферов дивизиона, которому капитан Зеeberg предусмотрительно, еще с вечера, приказал доставить утром господина старшего лейтенанта фон Фалькенхорста в его поместье. — Господин капитан сегодня опоздал на десять минут на ученье, — продолжал Ганс. — Он тоже выглядел очень утомленным...

—Вы очень тактичны, Ганс, — сказал Фалькенхорст, окончательно приходя в себя и поправляя съехавшую на лоб фуражку. Почти всю дорогу от Кенигсберга до Гумбинена он спал беспробудным сном, и только теперь проснулся. — Вы очень тактичны, — повторил он. — Ничего не могу сказать о моих сослуживцах — возможно, они утомлены, но я просто болен после вчерашней попойки. Ганс, остановитесь около ресторана "Под черным орлом", выпьем кофе и позавтракаем. Голова раскаляется...

После хорошего завтрака настроение улучшилось. К тому же, чувствовалося приближение родных мест: за Гумбиненым ландшафт начал меняться — стали попадаться перелески, сначала берозовые, потом среди них появились ели, темные и мохнатые. Перелески сменились сплошным еловым лесом, вплотную подступившим к шоссе. Полуденный бор дышал смолой и хвоей. Было жарко. Фалькенхорст снял фуражку и растегнул воротник кителя.

—Вы здешний, Ганс? — спросил он шофера. — Нет, господин старший лейтенант. Я из Померании.

—Нравится вам наша Пруссия?

—Конечно, нравится. Здесь совсем, как у нас, только лесов больше.

—Да, леса у нас замечательные. —Фалькенхорст посмотрел вперед. Сейчас будет дорога направо, Ганс. Сверните на нее.

—Вот все удивятся, — улыбнулся про себя Фалькенхорст, когда автомобиль въехал в ворота усадьбы. Сюрприз не удался: жена, дочка и старик-управляющий Иохем — все сидели на веранде, ожидая его прибытия. Завидев автомобиль, Моника сорвалась со своего места, сбежала по ступеням веранды и вихрем понеслась навстречу отцу. Вслед за ней круп-

ной рысью бежал бульдог Шнапп, неразлучный друг Моника, рыжий и неуклюжий. — А мы знали, что ты приедешь!.. Мы знали!.. Мама сказала мне, а я сказала Шнаппу!.. А Шнапп загнал сегодня кошку на дерево, поэтому кухарка испекла твое любимое печенье, знаешь, с миндалем... А куклу ты не забыл?.. Помнишь, такую, с глазами?..

Держа Моника на одной руке, другой прижимая к себе счастливую жену, Фалькенхорст медленно шел к дому. Поздоровавшись со старым управляющим, и все еще держа Моника на руках, он поднялся по ступеням, ведущим на веранду.

\* \* \*

Через несколько дней Фалькенхорсту стало казаться, что он вообще никуда не уезжал, и что никуда не поедет отсюда в будущем. По утрам он вместе с Иохемом садился в дрожки и ехал осматривать поля. В общем-то вставать рано не хотелось, но нельзя же было подрывать свой авторитет в глазах старика, а тем более, обижать его, всю душу вкладывавшего в свою работу в хозяйстве. Да и как прикажете отнестись к человеку, не просто служащему имения, а однополчанину, служившему еще под командованием вашего отца в том же полку в невысоком звании фельдфебеля, а потом, в продолжении тридцати лет, ревниво и неустанно заботящемуся о вашем майорате?..

Кроме майората, у Иохема было еще две слабости: охота и склонность к выпивке, хотя о второй никто официально не знал, тем более, что пьяным старика никогда и не видели: пил он по вечерам и немного.

—Какая молодежь пошла, — как-то сказал он Фалькенхорсту, — совсем пить не умеют. Возьмите Ганса: молодой, здоровый человек, к тому же унтер-офицер, а как доходит дело до выпивки — пасс. Две-три рюмки, и труп... Пропадает военный дух в артиллерии, да, пропадает...

Фалькенхорст улыбнулся, но ничего не ответил. В день своего возвращения, вечером, ему пришлось позвонить Зеебергу и попросить оставить Ганса у него на ночь. Зееберг, уже отдохнувший и выспавшийся, сразу оценил положение. —Понимаю, понимаю — утомился с дороги. Все ясно. Пусть проспится, пришлите его завтра. Хорошо у вас, наверно, не то, что в городе. Ну, дышайте, Эрих. Мой поклон супруге.

Ганс на самом деле "утомился". Когда, под вечер, ему уже надо было возвращаться в Кенигсберг, а его нигде не могли найти, Фалькенхорст пошел в дом, где жил Иохем. Увидев его, сидевшие за столом Иохем и Ганс вскочили, вернее, вскочил один Иохем, в то время, как Ганс, опираясь обеими руками о стол, медленно поднялся со стула и, заикаясь, доложил: — П...п...арж будет скоро взят, г...господин старший лейтенант... — Фалькенхорст посмотрел на начатую бутылку можжевельники, стоящую на столе, на закуски, на две опустошенные бутылки... —Хорошо, господа, берите Париж, — и, обращаясь к Иохему, добавил: —Возьмите Париж, а потом устройте его на ночь у себя. Не подпускайте к машине. Покойной ночи, господа...

Гарнизонная служба в большом городе вовсе не так и скучна, какой кажется со стороны, особенно если привычка к ней передается из поколения в поколение. Фалькенхорсту, само собой, она наскучить не могла. Если надоедало офицерское собрание, всегда можно было пойти в оперу или на концерт, сходить в музей или просто пообедать в хорошем ресторане. Почти каждую неделю, в среду или четверг, приезжала жена и привозила с собой Монику: тогда в офицерском особняке, где жил Фалькенхорст, возникала атмосфера домашнего уюта. В субботу вечером вся семья возвращалась в Толлкемен.

Два года школы для артиллерийских офицеров не пропали для Фалькенхорста даром. Гаубичный дивизион, куда его назначили заместителем командира, был большой и сложной технической единицей. Здесь требовались не только знания артиллериста, но и смекалка механика. И потому, сменив мундир на комбинезон, Фалькенхорст целые дни проводил в ремонтных мастерских.

Вымазанный сажей и маслом, он ничем не отличался от своих помощников, таких же грязных и замасленных. Однажды, выйдя из мастерской, Фалькенхорст наткнулся на прикомандированного к батарее фельдфебеля, только что прибывшего из другого полка. На сердитый вопрос этого служака, почему он не отдает ему чести, Фалькенхорст скромно ответил, что он господина фельдфебеля просто не разглядел. Когда вышедший на шум Зеeberg, выглядевший не лучше Фалькенхорста, тоже не откозырял фельдфебелю, тот, взбешенный таким отсутствием дисциплины, повел обоих "штрафников" в канцелярию полка, приговаривая: "Вас там, голубчики, научат, как и кому полагается отдавать честь. Посидите трое суток, тогда узнаете, что такое военная дисциплина..."

Хохот, вызванный в полку этим происшествием, продолжался и на следующий день, так как незадачливый фельдфебель, проходя мимо мастерских, увидел на этот раз стоявшего перед воротами, с сигаретой во рту, унтер-офицера Макса Штейхерта – шутника и балагура. Наученный вчерашним опытом, фельдфебель, завидев Макса, приложил руку к козырьку, повернул голову направо и пропечатал полагающееся по уставу число шагов. Остановил его начальственный окрик Макса: "Господин фельдфебель!" Оробевший фельдфебель подлетел к Максу и замер перед ним. Макс, смерив его тщательным взглядом с головы до ног, веско заметил: "В нашем полку принято чистить сапоги!" И указал на микроскопическую песчинку, прилипшую к сапогу старого служака. – Можете идти и поразмышляйте насчет военной аккуратности!..

За обедом фельдфебель жаловался своим новым сослуживцам: "Ну и полк у вас!.. Офицерам в мастерских работать не полагается, а они там только что не ночуют. Вот и пойми тут, где у вас офицер, а где рядовой. Сегодня мне один – важный такой, замечание сделал: песчинку на сапоге заметил. А сам одет в комбинезон, стоит и курит, как зап-

равский работяга из солдатни. Но меня не проведешь...Голос у него такой важный – не меньше, чем на обер-лейтенанта тянет...А разобраться все-таки трудно..."

После истории с Максом все заметили, что фельдфебель стал обходить мастерские, каждый раз делая большой крюк.

\* \* \*

Швандт писал редко, каждые три или четыре месяца. На полигоне он командовал батареей, одно время замещая заболевшего командира полка. После окончания стажировки он, по его словам, рассчитывал "схватить" майора. Письма Швандта, приправленные саркастическими замечаниями и написанные колючим готическим шрифтом, доставляли Фалькенхорсту большое удовольствие. В одном из них Швандт сообщал, что будет рад воспользоваться приглашением Эриха и в июле приедет погостить на пару недель.

И действительно, как-то июльским утром Фалькенхорст, выглянув в ворота мастерской, заметил идущего через плац в сопровождении унтер-офицера из канцелярии полка своего долгожданного приятеля. На его погонах отливали темным золотом майорские звезды.

– Вот они, Вулканы, – улыбаясь, сказал Швандт, пожимая руку Фалькенхорсту, который вышел ему навстречу отнюдь не "при параде", а как был – в своем рабочем комбинезоне. – Хочешь пройти ко мне во флигель или сначала посмотришь наши мастерские? – Давай сначала пройдем к тебе, после ночи в вагоне я немного устал. Надо привести себя в порядок, ведь придется представляться твоему полковнику. Кстати, в канцелярии мой чемодан остался. Прикажи, пожалуйста, доставить его в твой флигель.

\* \* \*

Пруссия околдовала Швандта очень скоро: уже на второй день он, возвращаясь с прогулки, сказал Фалькенхорсту: – Хорошо здесь у вас, и так тихо... После Берлина кажется, что на другую планету попал. Завидую я тебе, Эрих.

– В чем же дело? Ты уже майор, перед тобой прекрасная карьера. Хочешь, мы тебя познакомим с местными невестами, за тебя любая пойдет. Станешь пруссаком. Мы с Луизой тебя моментально женим, только скажи...

– Спасибо, Эрих, но боюсь, что стать прусским помещиком мне не придется. Во-первых, я уже не так молод, а во-вторых, жениться в теперешних условиях я не хочу. Неизвестно, что будет завтра. Если разразится катастрофа, хоть не надо будет о семье беспокоиться. Конечно, я рассуждаю, как эгоист...

– Ты меня пугаешь, Лотар.

– К сожалению, я только хладнокровно оцениваю положение. Знаешь,

Эрих, не будем об этом говорить. Позже, при случае, но не здесь и не сегодня. Хорошо? Посмотри, какой закат, какое фантастическое сочетание красок!.. Хорошо, что это будет существовать, когда от нас с тобой и следа не останется. Будут такие же тихие вечера, такие же закаты...

Остаток пути оба друга молчали. Уже перед самым домом Лотар остановился и, показывая на ползущую к закатному солнцу черную грозючую тучу, снизу окрашенную темно-багровыми лучами, сказал: — Взгляни, Эрих, — траурный флаг, измазанный кровью...

\* \* \*

Отпуск Швандта подходил к концу. Накануне отъезда, поздно вечером, оставшись вдвоем с Фалькенхорстом на террасе, Швандт задумчиво сказал: — Да, хочешь, не хочешь, а надо ехать... С каким удовольствием я бы еще у тебя на пару недель остался. Знаешь, эти тишина и спокойствие лучше всякого санатория.

— Милости прошу: приезжай на следующий год, и не на две недели, а на целый месяц. Ты же знаешь, как мы все тебе рады. Даже Шнапп, и тот с тобой подружился, а он чужих вообще не признает...

— Спасибо, Эрих. Если смогу — с удовольствием приеду.

— Что же тебе может помешать, Лотар?

— Да как сказать... — Швандт потянулся за рюмкой, стоявшей на столе. — Блаженны невидящие... Блаженны не желающие видеть. Я понимаю, Эрих, эта твоя Аркадия каждого может убаюкать, но неужели ты не знаешь, что происходит в Берлине? О смещении Бека тебе неизвестно? О недовольстве генералитета Гитлером? О Чехословакии ты ничего не слышал? Аншлюс Австрии ты тоже проспал? Да приди же в себя, Эрих!.. Проснись! В Берлине все уверены, что теперь очередь Польши. Я в этом тоже уверен, как и в том, что этот полоумный Гитлер втянет нас в катастрофу. В конце концов мы будем разбиты в пух и прах!.. — Лотар допил вино, поставил рюмку на стол. — Прости меня, Эрих, я испортил тебе вечер... Но я был уверен, что ты сам интересуешься событиями.

— Разумеется, но я никогда не предполагал, что мы собираемся напасть на Польшу — у нас с ней пакт о ненападении... — Который Гитлер свято соблюдает, и который он нарушит, когда сочтет нужным, — закончил за него Швандт.

— Признаться, я об этом совершенно не думал. Сам знаешь — гарнизонная жизнь: все время занят... — Фалькенхорст помолчал, а после паузы спросил, как бы нащупывая, с новой, тревожной интонацией в голосе: — Это невозможно... Неужели нет никакого выхода?..

— Нет. Единственный выход — устранить Гитлера. Но сейчас, после всех его триумфов, это почти невозможно. Партия проникает даже в армию. В офицерский корпус попадают люди, не имеющие понятия ни об офицерской этике, ни о наших традициях. Кстати, недавно был интересный случай. Тебе, конечно, известно, что три месяца я замещал заболевшего командира полка. И вот является ко мне прикомандированный обер-

лейтенант для прохождения стажа. Рапортует о прибытии и представляет бумаги. Я с ним разговариваю, и мне все кажется, что я его где-то видел. Когда он ушел, я просмотрел его личное дело. Оказалось, что Иоган Зильберт, как его звали, участвовал в коммунистическом путче в Берлине в двадцатом году. Тут я все вспомнил. Для подавления путча были вызваны воинские части. В то время я командовал ротой. Мы выбили Зильберта из дома, в котором он засел со своими ротфронтовцами, и я передал их полиции. На этой операции мы потеряли несколько человек убитыми и ранеными, но и группе Зильберта досталось, сам понимаешь... Что с ним было дальше, не знаю. Из его личного дела видно, что вступил он в партию в тридцать втором году, и теперь является, так сказать, старым партийцем. Как тебе такой тип нравится, а?.. Вот мерзавец!.. И теперь в армии таких немало!

— Партии нужны негодяи, готовые на все, — заметил Фалькенхорст, — а этот сброд служит с большим рвением.

— Через несколько дней я встретился с Зильбертом в офицерском собрании, — продолжал Швандт, — и спросил его, помнит ли он меня? Зильберт смутился и пробормотал что-то невнятное. Тогда я напомнил ему о берлинском путче, и сказал: — У вас большой партийный стаж, обер-лейтенант. Как принято сейчас говорить, вы шагали за красным знаменем, когда на нем еще не было свастики. — Ухмыльнувшись, он ответил, что тогда заблуждался, а теперь нашел свой истинный путь...

\* \* \*

Утром Швандт уехал в Берлин, а Фалькенхорст, проведя остаток отпуска дома, вернулся в свой полк в Кенигсберг. Фамилию Зильберта он забыл, но через три месяца им пришлось встретиться и даже стать сослуживцами.

Читая приказ по полку о том, что обер-лейтенант Иоган Зильберт зачислен в третью батарею, Фалькенхорст вспомнил свой разговор со Швандтом. У него мелькнула злорадная мысль: — Вышибли тебя, голубчика, из артиллерийской школы! Жаль только, что ты к нам угодил...

Через неделю Зильберт прибыл собственной персоной. Представляясь, по обычаю, офицерам полка, он подошел к Фалькенхорсту, протягивая руку: — Обер-лейтенант Зильберт! — Я вас знаю, обер-лейтенант, — сказал Фалькенхорст, не замечая протянутой руки, — со слов майора Швандта. — Зильберт побледнел и отошел.

На следующий день капитан Зееберг сказал Фалькенхорсту: — Эрих, ты нажил себе врага. Зильберт вчера вечером, после основательной выпивки, толковал о том, что скоро придет время, когда партия рассчитается с этими заносчивыми прусскими юнкерами, и что в будущем в Германии будет иметь значение партийность, а не аристократическое происхождение. Он постарается отплатить тебе за то, что ты не подал ему руки...

В Кенигсберге Зильберт пробыл недолго. Через три месяца полков-

ник Шредер сплавил его в штаб дивизии, а оттуда его перевели в Берлин. Об его исчезновении в полку никто не жалел...

\* \* \*

На следующее лето Швандт так и не приехал к Фалькенхорстам, но писал довольно регулярно. В одном письме он сообщил, что двухгодичная программа курса академии по специальному приказу генерального штаба должна уложиться в пятнадцать месяцев с таким расчетом, чтобы выпуск мог состояться первого августа. От Швандта же Фалькенхорст узнал о дальнейшей судьбе Зильберта, который получил теплое местечко командира роты охранного батальона генштаба. Какой пролаза!.. Очевидно, у него есть какая-то заручка, свои люди...

—Интересно, где он сейчас, этот самый Зильберт?.. — думал Фалькенхорст. — Зачем его тогда прислали в Курляндию, да еще перед самым развалом?.. А теперь, небось, шагает, как и я, в этой толпе. Грязный человек... Был коммунистом, сражался во время путча в Берлине — это можно понять, дело убеждений. Но так извиваться — из Ротфронта перекинуться в СА, а потом делать карьеру у национал-социалистов, отказаться от всего, во что раньше верил... Честный человек так не поступает...

Колонна остановилась. Фалькенхорст вернулся из мира воспоминаний к реальной жизни. — Что случилось? — спросил он у соседа. — Не знаю. Говорят, ночевать здесь будем. — Ну, что ж, — сказал Фалькенхорст, — неплохо. А то я уже еле ноги передвигаю.

Ночевали в лесу. Это была уже шестая или седьмая ночевка на их пути. Подъехала полевая кухня, каждый получил по миске пшенной каши и краюхе хлеба. Воды не давали. Но рядом текла речонка, из которой кое-как можно было напиться: вода в ней была горьковатая, с привкусом ржавчины. Разрешили развести костры. Фалькенхорст положил мешок под деревом и лег на него головой. Почти сразу задремал. Но поспать не удалось. Его разбудил голос лежавшего рядом солдата: — Откуда ты? — спрашивал он Фалькенхорста. Тот едва не сказал: — Из Пруссии, — но во-время спохватился: — Я из Ганновера. — Да, все-таки нам лучше, чем было сталинградцам, — с явным намерением поболтать продолжал сосед. — Хоть не замерзнем. А те, наверно, все околели от холода по дороге в лагерь. — А ты разве был под Сталинградом? — спросил Фалькенхорст с любопытством. — Был. Только меня ранило. Нас самолетом потом вывезли. Тоже была история, не хуже, чем здесь... Всю войну я пулеметчиком прослужил. Был в Польше, во Франции. Имею два отличия за ранения, одно за рукопашный бой. А теперь шагаю, и не знаю сам куда я шагаю... А ты кем был? — обратился он к собеседнику. — А я был писарем в штабе, — ответил Фалькенхорст. — Ага, — засмеялся солдат, — канцелярский жеребец!.. Да ты не обижайся, — добродушно продолжал он. — Ты ведь знаешь, что все вас так звали: канцелярские жеребцы, канцелярские свиньи. Сидели вы где-то за фронтом и ни черта не дела-

ли, и войны не видали... — Солдат помолчал, потом придвинулся к Фалькенхорсту и, понизив голос, сказал: — Слушай, я не знаю, кто ты такой; может быть, ты на самом деле писарь, может быть, ты из Ганновера. Это твое дело. Но если ты стараешься себя за другого выдать, то плохо ты это делаешь. Смотри, я спросил тебя, откуда ты — ты долго думал, откуда. На этих "канцелярских жеребцов" ты обиделся — значит, к таким словам не привык. Я не знаю, кто ты, да и не мое дело знать; но нас же всех допрашивать будут. А если ты и там так ответишь — сразу засыпешься. Ну, ладно, будем спать... — Солдат натянул на голову шинель и вскоре послышалось его мерное храпение.

Сон как рукой сняло. — При первом же разговоре выдал себя, — с досадой думал Фалькенхорст. — В самом деле, если, отвечая на такие вопросы, я стану тушеваться, то недолго же я просуществую под именем унтер-офицера Эриха Гизеке... — Заснул он только под утро, тревожно и беспокойно...

А лишь занялся день — колонна двинулась дальше. Рядом с Фалькенхорстом шагал его новый знакомый. — Как тебя зовут? — спросил он. — Эрихом. А тебя? — А меня Францем. Давай что-нибудь рассказывать, идти будет веселее. — И Франц поведал историю своей жизни.

Был он в ремесленной школе, и на втором году, когда учитель начал объяснять им устройство и ремонт сейфов, он рассказал об этом своему другу — известному берлинскому рецидивисту Гансу Бергеру. Тот загорелся от возможной перспективы и уговорил его ограбить богатый дом в окрестностях Берлина. Все сошло гладко. Но, когда загнали драгоценности и поделили выручку, Ганс стал швыряться деньгами, и засыпался. Бергеру дали четыре года, а Францу, по первому разу, — год. — Кому везет, тому везет, — сказал, ухмыляясь, Франц: — Я только отси-дел свой год — началась война. Меня мобилизовали, я попал на фронт. А негодяй Ганс сидел все эти четыре года, и вышел уже под конец войны. — Ну, а каково тебе было в тюрьме? — спросил с интересом Фалькенхорст. — Да ничего себе. Еда была неплохая, работали мы немного. А тюрьма — это лучше университета. Я там за год многому научился: и как на допросах отвечать, и когда надо соврать, а когда не стоит. Очень полезный год. Так вот я тебе и говорю: выдумал историю, и держись за нее. Вызубри ее с начала до конца и с конца до начала, чтоб наизусть знал, а то засыпешься. К тебе там придираются будут, на противоречиях ловить. Доказательств у них никаких нет, а твоя задача — не дать им за что-нибудь зацепиться. А то знаешь, если человека долго гонять, он не то что год рождения забудет, а даже не будет знать, сколько у него пальцев на левой руке.

Дорога казалась бесконечной. Каждый день колонна проходила мимо разрушенных деревень, сожженных хуторов, расщепленных осколками деревьев. Обочины были завалены разбитой военной техникой.

— Да, если все это нам придется отстраивать, — глубокомысленно заметил Франц, — то мы и за пятьдесят лет отсюда не выберемся.

Один эпизод особенно запомнился Фалькенхорсту. Проходя через деревню, в которой не осталось ни одного целого дома, он заметил ста-



руху, разбиравшую груды кирпичей. На шум шагов и голосов старуха поднялась с колен и, повернувшись лицом к проходящим, стала внимательно всматриваться в них подслеповатыми глазами. Разглядев немецкие мундиры, она схватила обломок кирпича и с яростью бросила его в идущих. Кирпич не долетел. Шедший рядом с Фалькенхорстом конвоир сказал ей: — Ничего, бабушка, они все отстроят, они теперь хорошие... Старуха вдруг закричала: — Будь они все прокляты, прокляты!.. Всех у меня перебили, одна я осталась!.. Будь они прокляты!.. — Она опустилась на порог разрушенного дома и, закрыв лицо руками, в голос запричитала... Колонна продолжала двигаться, миновав печальную деревушку, но Фалькенхорсту еще долго слышался надрывающий душу голос глубокого отчаянья и горя...

Франц все больше и больше нравился Фалькенхорсту. Это был в самом деле человек недюжинных способностей. В долгом пути они волею-неволею близко сошлись. Как-то, на постое, Франц, ухмыляясь, спросил Фалькенхорста: — Ну, Эрих, сказать тебе, кто ты такой? — Что ж, скажи. — Ну ладно, слушай. Ты не эсэсовец, потому что не ведешь себя так, как они: чего-то в тебе для этого не хватает. Что ты не солдат, это ясно. Солдаты никогда не выражаются, как ты. Значит, ты — офицер. Судя по твоему возрасту, ты капитан или майор. Не думаю, чтобы ты успел стать подполковником. Как офицеру тебе скрываться нечего, разве только в том случае, если ты являешься военным преступником. Не похоже, чтобы ты сам кого-то расстреливал или вешал, не в твоём это характере, значит, тебя к какому-то другому делу "пришили"....Ну, что, прав я?

— К сожалению, ты прав, Франц.

— Вот видишь!.. Трудно будет из тебя унтер-офицера Гизеке сделать, но попробуем... Начнем с простого: говори поглубже и ругайся. Ругайся почаще. Потом, посмотри на свои руки: сколько дней мы идем, а они у тебя все еще чистые, аккуратные. Тоже подозрительно. Отпусти ногти, и пусть они у тебя грязные будут. Теперь, по твоему зольдбуху ты ганноверанец, а говоришь с сильным прусским акцентом. Надо и об этом подумать. Припомни какую-нибудь авторемонтную фирму в Кенигсберге, что ли. Можешь сказать, что много лет там работал, потому и акцент у тебя стал прусским.

Фалькенхорст со вниманием выслушал и принял к сведению все, что сообщил ему Франц. — Да, — подумал он, — какая жалость... Сложись его судьба иначе — из него вышел бы прекрасный адвокат или судебный следователь...

На десятый день колонна дошла до пересыльного лагеря. Тут, в бараках можно было спать на нарах, хоть и в тесноте, но все же не на голом полу. Еда была такая же, но воды — достаточно. Здесь военнопленные задерживались всего на несколько дней для оформления и выдачи документов, после чего из них составлялись этапные партии. Оформление сошло гладко. Да и кто мог бы угадать теперь в грязном, заросшем щетиной унтере элегантного майора?

Вернувшись из канцелярии лагеря с легким сердцем, Фалькенхорст от души поблагодарил Франца. — Не за что, — ответил тот. — У нас такое

правило: один ганове помогает другому. Увидев недоумение на лице Фалькенхорста, он пояснил: – Вот, сразу видно, что ты из благородных. Ганове – это жулик, взломщик или, как у вас говорят, "уголовный элемент". Мы же с тобой – преступники. Ну, я – мелкий взломщик, а ты рыба куда крупнее – военный преступник. Я отсидел год, а тебя, если засыпешься, русские закатают на двадцать пять лет. Так что я должен относиться к тебе с уважением... – И, перейдя на серьезный тон, Франц деловито продолжал: – Ты не теряй времени даром. Мы здесь долго не пробудем, скорее всего нас распахают по разным партиям. Так вот, за эти дни постарайся покрепче усвоить свои новые знания. Вот, скажем, насчет ругани: у тебя этот "Химмельсакрадоннерветтер" выходит неплохо, а "поцелуй меня в задницу" – неважно. Неубедительно у тебя это звучит. Это надо говорить таким голосом, как будто ты ожидаешь, что твою просьбу сейчас же исполнят. Ну-ка, попробуй... Уже лучше, – одобрил Франц. – Потом, если нас разъединят, не вдавайся ни с кем в большую дружбу. Люди всякие бывают. Есть "честные" люди, которые куда хуже любого жулика. Не говори слишком много, ты прямой человек. И как ты со своим характером ухитрился в военные преступники попасть? Вот не понимаю... И еще: будь всегда готов к самым неожиданным вопросам, тебя могут поймать врасплох. – Франц помолчал. – А самое главное, постарайся забыть, кем ты был, врати в шкуру этого унтер-офицера Гизеке, иначе всегда найдется какая-то гнида, кто продаст тебя русским за лишнюю миску каши...

Через неделю Франц уходил с этапом. Одетый, с мешком за плечами он подошел к Фалькенхорсту: – Ну, прощай, ганове, встретимся ли когда-нибудь? – Прощай, ганове, – в тон ему ответил Фалькенхорст. Они крепко обнялись... – Смотри, где два дружка встретились, – удивленно заметил пожилой солдат, стоявший рядом. Голос его звучал уважительно.

Несколько дней спустя Фалькенхорста отправили в Днепропетровск на строительные работы. След Франца затерялся на этапных перепутьях. Больше Фалькенхорст о нем никогда не слышал.

*(Продолжение следует.)*

\* \* \*

Как ты любила зеркала  
Любовью непонятой, с детства –  
Ты в руки зеркало брала,  
Не зная, как в него глядеться.

Полуоткрыв в испуге рот,  
Над зеркалом ты наклонялась.  
И как Нарцисс над гладью вод,  
Вдруг восхищенно улыбалась.

Не сознавая, что себя,  
Свое ты видишь отраженье,  
Уже предчувствием любя  
Души земное воплощенье.

\* \* \*

*Элле Бобровой*

Сияют празднично на елке свечи,  
Рождественская ночь глядит в окно,  
А ты в тревоге ожидаешь чуда,  
Тебе обещанного так давно:  
Волхвов, даров, двугорбого верблюда,  
Таинственной, волшебной встречи,  
И, главное, читательской любви,  
Читательской любви, что для поэта  
Нужнее воздуха и солнечного света,  
Необходимее всего.

В твоей взволнованной крови  
Трепещет радость, словно птица.  
–Судьбу свою благослови!

Здесь и сейчас, вот в эту ночь под Рождество,  
Все, что обещано тебе, осуществится.

Л.РОССАЛИАНИ

## ПОЛИНА МИХАЙЛОВНА

### Р а с с к а з

Полина Михайловна – полная, красивая, цветущая, что называется "сдобная" женщина на вид лет тридцати пяти.

На самом деле ей уже сорок пять и двадцать лет из них она работает в зоопарке и все время с "хищниками".

В настоящее время ее подопечными являются: берберийский лев "Цезарь" – красавец с отсутствующим взглядом, от всего отрешенный; худая, беспокойная бенгальская тигрица "Диана", которой через год суждено умереть от рака мозга; годовалый львенок "Васька"; "Принц" и "Золушка" – два гепарда.

Кем работает Полина Михайловна? – Она чистит клетки и подкидывает туда – для красоты и забавы – золотые осенние листья; она задает животным корм, разговаривает с ними, представляет их интересы перед администрацией. Грудью защищает их от посетителей.

О материальной стороне своей жизни Полина Михайловна говорит: "На хлеб хватает". Причем слово "хлеб" употребляется ею в самом прямом смысле и она не уточняет, что хлеб этот – черный, т.к. это само собой разумеется.

Одета Полина Михайловна в старый казенный халат цвета грязных, с подтеками, жести и цинка. На ногах – старые заплатанные резиновые боты, на голове – давно потерявший свой цвет бумажный платок. Но из всего этого отрепья она цветет, как роза. И манеры у нее плавные, спокойные, полные достоинства и доброжелательства.

Полина Михайловна очень любит своих животных, которых она так и называет – "хищники", и любит рассказывать о них. И она очень обижается на некоторых (многих) плохо себя ведущих людей – "посетителей зоопарка".

Рассказывает она так.

–Вот я двадцать лет работаю с хищниками. И никогда никаких трудностей у меня с ними нет. А вот посетители... Честное слово, даже говорить об этом нет желания. Очень нехорошо себя люди ведут некоторые, очень нехорошо!.. Потому, что зверь – он же беззащитный!.. Мы тут в зоопарке всего насмотрелись. –Нет, про это я вам

не буду. Не могу. Вот — здесь даже — как-то не так делается. (Полина Михайловна сжимает рукой в районе сердца). — Нет. Не буду. И так наблюдаешь тут каждый день!

...И наоборот, мне очень обидно и неправильно это, когда говорят "хищники, хищники!" Из радио тут тоже приходили, все спрашивали...

А хищники... Ну, хищники, ну и что из этого?

Зверь, да какой он ни есть хищник, никогда он бессовестности такой не допустит, как человек! Особенно, я вам скажу, когда человек предполагает, что его никто не видит. Когда он сам с собой. А звери — они все так же самое, как мы вот с вами, — они все понимают, все!

Я не говорю: они, может быть, читать, писать, таблицу умножения не могут выучить, но переживания у них — очень даже большие.

Я — сочувствую животным.

А уж как жалко их, когда они страдают!

И чувство благодарности у них есть, и справедливость они чувствуют, и кто кому обидчик — они это понять могут. И даже любить, жалеть они умеют — верите ли!

С гепардами моими тут вчера комедия, можно сказать, была... Неважно там, как, почему, но бросили тут неисправный бачок от инкубатора, вот здесь, прямо перед клеткой. А тут ему совсем делать нечего, его надо в секцию водоплавающих везти, а народа никого нет. И валяться ему тоже нельзя, и там он нужен — вот такая ситуация. Короче говоря, взялась наша тетя Нюра тут самосильно. Бачок тяжелый, а она человек уже очень пожилой, ревматизм у нее, силы никакой — намучилась, намучилась, ничего не получается, — так она села прямо тут, на этот же бачок, и плачет. Нервы тоже ведь не в порядке. А гепарды мои — Принц и Золушка — там, за решеткой у себя, тоже: сели на свои хвосты и эдак внимательно смотрят, как она плачет. Глазами этими своими круглыми. И мордашки, говорит, сочувственные такие, серьезные! Жалуют. И смех, говорит, и слезы, и что думать о них — не знаю! — Мы и то смеялись с ней потом.

Но чаще у нас тяжелое бывает.

Вот Диана — вы знаете ее. Она ведь — больная у нас. (Полина Михайловна понижает голос). — Голова у нее. Какая-то головная боль. Так я думаю. Доктор еще пока не может определить.

Так иной раз она места себе не находит, бедная! Все по клетке мечется, только смотреть на нее — и то вся душа изболит. И туда она, и сюда, и в тот угол, и в этот, и к решетке-то она, и обратно. И видно, что не просто так, а видно, что болит.

А другой раз сюда, поближе, к самой решетке прижмется: сядет, прижмется, и головку к решетке приклонит. Это значит, она просит, чтобы я помассировала ее. Сказать-то ведь ничего не может!

Уж я массирую ее: я ее глажу. Вот так надо, вот так надо, пальцами, в шерсть поглубже, чтобы, значит, доходило ей до самых нер-

вов. (Полина Михайловна показывает, как надо массировать Диану).—Я и висок ей глажу, и вот здесь, и за ушком ей глажу, головку-то.

Болит у нее головка! Болит!

А когда помассируешь, возможно, ей временно наступает облегчение. И такие благодарные глаза у нее в этот момент — это вы даже, может быть, и не поверите! Это удивительно просто, какие у нее бывают благодарные глаза.

...А у Цезаря тоже свое, тоже проблема. Очень на волю хочет. — (Шепотом говорит Полина Михайловна.)

Он ведь у нас какой? — Весь день —когда посетители — так он лежит и не шелохнется; и вы заметили, как он смотрит? — Далеко, мимо — ничего, мол, здесь не хочу!

А тут он встанет, вечером, когда уже пусто в зоопарке, и — а-ах — лапами, лапами железный замок этот, как начнет его бить! Бьет его, бьет! Бьет и рычит. — Ах, как он красиво это делает, прямо страшно! Сила в нем какая огромная, красота! — Полина Михайловна даже бледнеет немного, когда перед ее внутренним взором возникает картина ломающего замок Цезаря. —Бьет и рычит, —продолжает она, справившись со своим волнением. —Потом ляжет, лицо свое это на лапы положит и стонет, стонет, прямо в глаза мне глядит: — Отпусти меня! Отпусти!

...Я ему говорю: Цезарь, милый, да кабы от меня зависело!..

Вот и мучаются животные, а ты тут рядом стоишь да смотришь.

...А то что хищники, мясом питаювся... Ну что же делать! Зверь — он же не человек! У него же нет этого сознания. Ему организм требует — жить хочу! — и он убивает. И тех жалко, и этих жалко. А странно это все-таки; правда? — слон, например, какой могучий, уж кажется, самый сильный, и на ветках живет. —А этим — подавай им обязательно мясо! Иначе они погибнут.

Я, между прочим, на эту тему думала. Люди тоже ведь такие разные бывают! Даже в одной семье. —Я вот хлеба кусок и то не доем — а вон какая (Полина Михайловна как-то конфузливо разводит руки, показать, какая она). —Как на дрожжах — (с каким-то даже презрением к себе добавляет она). —Муж — здоровый, сын старший здоровый, дочь здоровая, а младший сын — 17 лет моему младшему — он слабый. Врач сказал масло ему надо, яйца, углеводы, т.е. это сахар; при его организме не-об-хо-ди-мо. А где же я возьму!

...Жилищные условия у нас тоже неважные, правду сказать: прямо в подвале сыром живем. Так врач наш из районной говорит, что это у него и из-за жилищных условий тоже. —У нас хороший врач. Он знает, что не пойдем мы наговаривать на него, так он нам всю правду так и говорит; и про жилищные условия и вообще про все... (как бы в скобках добавляет Полина Михайловна).

И вот опять же: нам эти жилищные условия ничего, а младшему моему это очень даже плохо.

...А как получилось, что жилищные условия такие неважные? — Это я вам сейчас все объясню.

Там раньше подпол был сапожной мастерской, небольшая такая сапожная мастерская, еще до революции. Я всю эту историю знаю: старик-рабочий оттуда еще живой, он в нашей комнате свой угол имеет. И вот старик этот нам рассказывает, как было дело. – Рабочие, которые работали в этой мастерской, все обрезки кожи они туда бросали, в подпол. Ну и время от времени, конечно, очищали этот подпол, как хозяин велел. Потом была революция (произнося слово "революция", Полина Михайловна понижает голос) и хозяина, значит, расстреляли. Но это по ошибке: потому что думали, что он деньги прячет – кто-то дднес. И за "невыносимые условия труда рабочих". – Так они сказали тогда. – Потом в этой же мастерской был НЭП, опять такая же мастерская, сапожная, потому что сохранилось некоторое оборудование прежнее – и опять рабочие обрезки кожи в подпол валили. Наш старик и у этого хозяина тоже работал.

Потом как НЭП ликвидировали – так и этого хозяина, нового, тоже сослали. – Старика нашего тоже тогда посадили по ошибке, но потом как-то случайно он вышел.

Погиб он там в ссылке или, может быть, как посчастливилось ему – это нам неизвестно. Но сапожную мастерскую тоже ликвидировали и выкроили жилплощадь. Там наверху, значит, где была сама мастерская, люди живут, и мы, значит, живем в этом бывшем подвале. Пол там, правда, настелили кое-как – а остатки-то кожи и не убравши! Так они и остались там, под настилом! ...Теперь тут другой вопрос: раньше он был сухой подвал, потому что трубы не лопались, а тут как пошли трубы лопаться! И вся эта рухлядь там под настилом намокла, загнила и – за-пах! – просто ужасный! И сырость, конечно, очень большая.

Мы 23 года уже на этой квартире живем: сначала старик этот нас пустил, как мы из деревни от голода приехали, он нас пожалел тогда, прописал, а теперь мы его за это кормим. И вот сколько лет мы уже живем – и все время: то трубы лопнут, и на улице у нас копают, все поправить не могут: то подгнило там что-то, испортилось, потому что дом же не ремонтировали ни разу, и весной, и осенью нас вода заливает! Ну так заливает, что я даже вынуждена доски на кирпичах подкладывать на пол, чтобы можно было ходить. То одно, то другое. И все время у нас перед домом разрыто: все эту трубу лопнувшую копают и найти не могут. И тоже, не пройти, не проехать. – Мы даже смеемся! И до войны так было, и на фронт муж пошел, как война началась, и с фронта вернулся. И дети здесь родились, а все та же картина. "Комбинация мелких неприятностей", как говорит мой старший сын.

Но самое неприятное – это запах. Вот это действительно очень неприятно. И, главное, не разрешают нам своими силами пол этот поднять. Ходит такая специальная комиссия и проверяют: не подкопали ли мы там чего!

Я не потому, что жалуюсь. Я знаю, много хуже люди еще живут. Мою дочку предвыборным агитатором назначили, чтобы она по домам ходила, разъясняла, как надо выбирать. – Мы в Ленинском районе жи-

вем, бывшем Сталинском. Прежде-то мы Сталина выбирали, потом товарища Ворошилова Климента Ефремыча выбирали. Теаерь выбираем товарища Андропова. Но это все одинаково, то те самые, блок беспартийных с коммунистами. Так вот, когда она агитировала-то, дочка, она много чего увидела, как люди живут. И по три семьи в одной комнате живут и все между собой дерутся – ну что может быть хуже? – и с войны инвалиды какие есть обиженные, какие несчастные, и как несправедливостей с ними много с той же жилплощадью, и какое бездушное отношение! – И совсем сироты, несчастные люди, одинокие какие! – Это уж самое-самое плохое... Прямо кошмар, говорит, как людям невозможно тяжело жить бывает.

Так что же нам-то жаловаться!

Я это к тому говорю, что нам-то все это ничего; вот только запах беспокоит; а вот сын мой, этот, про которого я вам говорила, ему это труднее. Ему все трудно. Ну все, что мы с вами, может быть, и не заметили бы даже, и не заметим, а ему это вред. И запах этот ему вреден. А я понять не могу: это сколько же лет-то прошло... не могут же столько лет все остатки той кожи гнить? Что же теперь-то там такое происходит? Кабы позволили бы нам это дело открыть бы, да почистить бы, хорошо бы было...

Врач прописал таблетки сыну, выхлопотал ему витамины вкалывать внутривенно – укол глюкозы в нашей амбулатории ему делают вместо углеводов, то есть вместо сахара и масла. Вроде получше теперь. Но худенький он, бледный, слабый, все-то он по ночам не спит. Одним словом – это болезнь!

Но отчего же это так бывает, скажите вы мне, пожалуйста?! Отчего так бывает, что одному человеку не так все это важно, все эти неприятности, а другому этого невозможно терпеть?

То есть он-то терпит, но организм его этого не может!

Но я все-таки верю, что переборет он это.

Парень-то хороший, добрый...

Неужели же не справимся мы? Я верю.

А о животных я вот что думаю: если бы им, животным, тоже какие-то таблетки давать, то, может быть, эта мясная пища им не так нужна бы стала?

Я даже с директором говорила на эту тему. Мы иногда беседуем с ним. Он говорит: "Это большой, говорит, научный вопрос."

Директор, товарищ Кудинов, у нас очень хорший человек.

Вообще, коллектив у нас неплохой. Тут нашу работу отметили даже – я вам говорила – приходил тут один из радио. Ну вот он и спрашивает меня: "Полина Михайловна, вы 20 лет работаете с хищниками. Безусловно, у вас есть свои проблемы и свои трудности. Расскажите нам о своей работе." А я ему говорю: –"Вот я 20 лет работаю с хищниками и никаких трудностей у меня с ними нет, никаких. А вот с людьми, с посетителями, это действительно. Бывают у нас трудности".



...Нет, вы не поверите даже, какие – какие зверства, какие жестокости доставляют людям удовольствие у нас здесь, в зоопарке! И как они оправдывают себя потом, как они ложь произносят! Это "ошибка", говорит, вышла, это я "по ошибке". Это он по ошибке оленя серной кислотой облил! По ошибке слону лезвие бритвы в куске хлеба дал! По ошибке! Ошибкой назвали. Какое себе оправдание придумали! Нет, невозможно, невозможно это ошибкой назвать!

Вот об этом бы, про неправду про их, по радио бы сказать. Или книгу написать.

А вы не писатели будете? Вот вы бы и написали. Если вам можно, конечно. Напишите, пожалуйста.

Ну, спасибо вам за ваше сочувствие. Извините, если я, может, что не так сказала.

## БОРИС НАРЦИССОВ

( Из цикла: **'Lunaria'** )

### 1.

#### БЕССОННИЦА

*... В часы бессонниц твоих ...*

Нонна Белавина

*... Забвения!...*

Байрон, "Манфред".

Под ветвями, как фосфор, лунело,  
Застывало и тенью, и пятнами,  
И, – расплавясь дымно и бело, –  
Письменами совсем непонятными.

Оттого, что печальный, далекий,  
Сверху месяц висел ущербленный,  
И бессонные, острые соки  
Источал он в мозгу просверленном.

Было поздно, а, может быть, рано.  
В этот час, не ночной и не утренний,  
Открывало в памяти рану  
Меж извилин железом иззубренным.

И бессонный олуненный житель  
Одного лишь хотел – забвения,  
Но ему не давал Усыпитель  
Даже самого обыкновенного.

### 2.

#### ПЕПЕЛЬНЫЙ СВЕТ

На свиданье с ущербной луною  
Выхожу потихоньку на двор,  
И меж ней, косоликой, и мною  
Возникает без слов разговор.

Паутина неяркого света –  
Это тихий и страшный рассказ  
О душе, заблудившейся где-то,  
И не там, и не здесь, не у нас.

И хочу я прорвать эти сети  
И взлететь на свободу, туда,  
Где душа в серо-пепельном свете  
Прологает свой путь без следа.

## КРИСТАЛЛЫ ЗАБВЕНЬЯ

Фантазия.

*...Существуют в музыке бесконечные или круговые каноны. Звучания в них безостановочно идут вперед и вперед... потому что конец похож на начало и переходит незаметно в него.*

(Структура музыки; часть 3, Контрапункт.  
– Р. Эриксон).

### 1.

...Она подала ему руку. Рука была маленькой, нежной, очень холодной. Кристаллы исчезли; некоторое время был слышен какой-то тихий звон, сопровождавшийся вспышками искр. Неясные очертания Змея Ранофу-Уфо или Орма с его извивающимися щупальцами появились на мгновение в глубине. Они исчезли и в холодной и темной бездне океана наступило великое молчание и отсутствие всего, что существует или может существовать на свете.

\* \* \*

Когда луна освободилась от облачных объятий, океан залился смехом миллиардов крошечных серебристых сверканий. Полосы тумана тянулись вдаль на небе. Толстые змеи водорослей-кельп сплелись в огромные узлы у береговых скал; одна из таких змей, освободившись от других, била своим темно-зеленым хвостом по шипящим волнам.

На песке лежало безжизненное тело мужчины – оно было недавно выброшено волнами на берег. Оно было в темном, измятом, мокром костюме; несколько коричневых листьев водорослей и крупинки песка приклеились к пиджаку. Берег был пустынным, в воздухе шли протяжные, печальные звуки от дальнего маяка; вблизи не было никого, кто мог бы слышать их.

Однако если кто-либо прошел бы там по берегу, ему показалось бы, что труп слегка шевельнулся. Так ли это? — Нет, лишь туманная тень от тела, образованная лунным светом на песке, чуть сдвинулась в сторону. Затем прохожий увидел бы, как тень отделилась от тела и встала на свои полупрозрачные ноги; очертания этой вставшей тени были совершенно сходны с очертаниями лежащего на песке тела. Тень была полупрозрачной, сероватой; тело оставалось неподвижным на своем месте на берегу. Голова тени или призрака была соединена серебряной паутинной нитью с головой тела. Призрак провел ладонью в воздухе, устранив этим движением нить. Затем, медленно отделяясь от песка, он отодвинулся в сторону, становясь все более и более бледным, неясным. Через минуту, став уже совершенно невидимым, призрак поплыл в воздухе над верхушками леса.

## 2.

Время вообще теперь не существовало для него — была только компактная, стоячая волна дней и ночей. Все стало, и все могло быть реальным для него, прежде имя кого было Евгений. Этот большой холм за лесом секвой или "редвудов" мог сразу сдвинуться к океанскому берегу. Скалы могли подняться в воздух, перекувырнуться и снова стать на прежние места. Он, Евгений, мог свободно пройти сквозь толщу их камней без всякого препятствия. Он мог создать мысленно все что угодно вокруг себя — и сразу уничтожить, развеять созданное, — так представлялось ему. Сознание его было наполнено какими-то быстролетными и вместе с тем неподвижными образами, — это были большей частью формы разных многоцветных кристаллов, конгломератов голубовато-зеленых камней, жеодов или камней в виде крошечных, сверкающих пещер. Все это Евгений представлял себе как некую чудесную, полу-оптическую музыку, поэму, которую он разделял на песни: песнь или канцона первая, песнь вторая и т.д. Они кончались "песнью бесконечности", от которой он мог вернуться к началу первой песни. Иногда все это исчезало из его призрачного сознания...

Реальность, Нереальность. — Единство.

Единство есть Точка.

Весь мир есть Точка.

Точка бесконечно мала. Она — Ноль.

Существует только Ноль, Ничто.

Но Ничто есть Все, Все Существующее. Это — Песня

Присутствия-Отсутствия Всего-Ничего.

— Он не знал этого прежде, но чувствовал это.

## 3.

Евгений блуждал в чаще леса или стоял часами на одном месте, — если для него только могло существовать понятие о "часе". Ему нравилась окрестность одной дороги, вдоль которой были очень старые де-

ревья. — возрастом в тысячу лет и более. Молчание и сумрак этих гигантских секвой говорили ему о многом. Темные и высокие, они стояли в густых зарослях. Они не видели, не знали человеческой истории, текущей на Земле. Они глухо присутствовали при марше мировых событий, и их одновременность со всей историей как будто говорила о том, что все-таки *они знают все*. Он как бы слышал их беззвучные, бессловесные увещания ему, упреки о прошлом... Евгений, сам призрак, глубоко чувствовал их души и уважал их. Чистое, прямое знание или лишь идея о каком-то знании, были для него одним и тем же.

— На этой, Второй Стороне, меня должен встретить кто-то близкий, родственник или друг, — думал он. Но он был одиноким, никто не приходил к нему.

Шорох иголок секвой шептал ему об одной женщине, — ее имя было *Амена*. Она жила теперь в тумане над океаном. В прошлом, конечно, у нее было другое имя, но это не имело значения. Почему она не встретила его теперь, здесь? Она была прежде близка ему, но больше он почти ничего не мог вспомнить о ней... Нет, вот что вспомнилось. Он любил ее в другой, далекой стране. Она умерла, он хранил маленький локон ее волос в своей записной книжке. Перед отъездом в эту страну он запалял локон в стеклянную ампулу. На пути в Бостон он бросил ампулу с палубы корабля в волны океана, на больших глубинах, на третий день пути...

Для него было кощунством называть ее настоящим именем в мыслях, — и он дал ей для себя некий поздний псевдоним: Амена, т.е., по-латыни, "любимая", "привлекательная". Теперь все о ней исчезло из его памяти, кроме ее псевдонима и истории с ампулой. И он не жалел об этом, потому что знал теперь, что Амена живет везде вокруг него, а главным образом — в тумане над океаном. — Я вернусь к ней скоро, она сказала... — Имя Амены связывалось в сознании Евгения с блеском каких-то разноцветных камней, — был ли это последний блеск стеклянной ампулы, в которой был ее локон, ушедший навсегда ко дну океана?..

В лесу он встречал иногда карликов с длинными бородами и эльфов. Они были невидимы для людей, но сами могли видеть многое невидимое, и они замечали его. Кроме них в глубине темного леса жило что-то почти бесформенное, чего не могли видеть люди, — толстый и длинный Змей-Орм, с множеством боковых щупальцев или ног, заканчивающихся острыми когтями. Имя этого призрачного Гада, как говорили эльфы, *Ранофу-Уфо*. Евгений чувствовал, что Змей знает о нем и враждебно относится к нему. Он был призрачным для него, Евгения, который сам был призраком. — Могут ведь быть призраки для призраков, — думал Евгений. Он видел также людей, еще физически живущих, вдали, — они работали на полях у своих ферм, отдыхали, веселились, играли на музыкальных инструментах, пели песни. Конечно, они не могли видеть его. Чем чаще они попадались ему, тем больше, сильнее росло в нем желание появиться снова на Земле в их живой, материаль-

ной форме, — может быть, даже в более совершенном образе.

Он видел и детей, здоровых и болезненных, бессмысленно бегающих взад и вперед, катающихся на велосипедах. Он не хотел бы родиться опять в образе ребенка, от женщины, проходить малоосмысленное, не всегда счастливое детство... — Лучше явиться сразу в образе, в теле взрослого человека, — думал он.

\* \* \*

У Евгения уже были два знакомства: эльф Виндальфр и карлик Виггр. Эльф был в зеленом жакете с отложным, зубчатым воротником; карлик — в коричневом остроконечном колпачке и такого же цвета костюме, в сапогах.

—Знаете, господин Виндальфр, — сказал Евгений однажды эльфу, — я хотел бы снова воплотиться в живом, материальном человеческом образе.

—Это не так просто, — ответил эльф. — Вам не может быть известна дата вашего следующего воплощения. И зачем? Разве это так уж плохо — быть бестелесным?

—В этом образе я существую уже долгое время, — если только время может иметь значение для меня, — ответил Евгений. —Я хочу быть не этим туманом, а реальным человеком! Конечно, силою воли я могу стать снова видимым, но реальностью это не будет. Это будет тоже лишь призрачная, пугающая людей субсистенция, квази-существование, что-то чуждое для других. Нет, я хочу существовать в настоящем, живом, физическом образе...Я не хочу более блуждать бесцельно в этих лесах...Но я не хочу родиться от женщины, проходить полусознательное, ненужное детство...я хочу стать сразу живым, реальным, взрослым человеком...

Эльф и карлик улыбнулись и задумались.

—Я думаю, возрождение в материальной форме возможно еще и до предназначенного срока очередной реинкарнации, — сказал карлик Виггр. — Вам только надо создать некий материальный образ, например, статую, скульптуру, ваш прежний портрет в рельефном виде, — лучше всего — из глины. Мы, карлики, делаем в своих пещерах всякие изображения и украшения из драгоценных камней, яшм и металлов, но для вас — другое дело: глина мягче, ее легко лепить и потом будет легче превратить в живое тело, в которое вы войдете. Вам надо попробовать сделать это самому, но не мысленно, *не психической силой, а реально, физически.*

#### 4.

Была холодная ночь, — холодная, конечно, для живых людей, но не для бесплотного Евгения. Он был в деревне, только в немногих домах еще был виден свет. Евгений стоял у большого куста сирени, у

входа в один дом; перед ним было окно, в котором светила лампа. Над крыльцом висели китайские колокольчики, они мелодично звенели в ночном ветерке. Евгений смотрел сквозь окно внутрь дома. Он видел бедно обставленную комнату; посреди нее стояла статуя голого мужчины на низком деревянном пьедестале. Фигура далеко не была законченной; старый человек с белой бородой накладывал мокрую глину на железную арматуру одной руки. Он обмакивал свок руку в таз с водой, шлепал и гладил по глиняной руке статуи, отходил в сторону и, шурясь, окидывал свое произведение пронизывающим взглядом художника; затем, приблизившись, снова продолжал работать... Черты лица скульптуры были уже ясно моделированы, — строгое, мужественное, красивое лицо. Евгений с восхищением следил за работой скульптора. Раскрошенные куски засохшей глины валялись на полу, в стороне стояли две подставки с небольшими головами — одной женской, мраморной — она напомнила Евгению образ Амень; другая, голова старика, была из глины. На запачканном невысоком столе лежала раскрытая книга по пластической анатомии.

Много вечеров приходил Евгений к окну этого дома. Скульптор не занимался своим искусством днем. Повидимому, его искусство не давало ему достаточных средств к жизни, и он был занят еще где-то иной работой. Это был славный старик, со светлым, умным взглядом, — и Евгений даже полюбил его. Наблюдая в окно за лепкой по ночам, Евгений прислушивался также к звукам ночи... Шорох листьев сирени, редкий и тихий звон колокольчиков у крыльца, одинокий, сонный крик ночной птицы, — "хигайо-цви"... А главное, — беззвучный разговор созвездий Персея и Лиры... они говорили о том, что Время вообще не существует, что он, Евгений, невидимый призрак там, внизу на Земле, и Орфей, поэт-музыкант древней Греции, существуют одновременно, как эти два куста сирени перед домом старого скульптора... Иногда случалось, что окно перед Евгением внезапно чем-то затемнялось снаружи и он ничего не видел. Он знал тогда, что между ним и окном появлялось тело Ранофу-Уфо, — этот Змей-Орм умышленно старался мешать Евгению. Щупальцы Ранофу-Уфо дотрагивались и до астрального тела Евгения, — они тоже были астральными, но для Евгения слизистыми, холодными, скользкими, — как черви в могиле... Потом тень Змея внезапно счезала.

Иногда окно старика бывало закрыто занавеской. Тогда Евгений проходил без труда сквозь стену в комнату и стоял возле статуи, стараясь не производить никакого шума, — это было нетрудно. Он интересовался также книгой по пластической анатомии, лежавшей на столе, и начал просматривать ее. Скульптор услышал шорох страниц и оглянулся, — он увидел, как несколько страниц перевернулись сами... Сквозняка в комнате не было. Посмотрев с удивлением назад, скульптор снова взялся за работу. Евгений понял, что старик не мог его видеть — они находились в разных планах существования.

Прошло еще несколько дней. В одну из ночей статуя мужчины ис-

чезла из комнаты скульптора, — он работал уже над другой моделью. Вероятно, прежняя статуя была отвезена куда-то для отливки в бронзе. Евгений больше не приходил к дому старого художника.

## 5.

В лесу секвой, недалеко от океана, было малое озеро, окруженное кустарником и крупными, серыми камнями. Среди камней были слои мокрой голубовато-зеленой глины. Евгений сделал из толстых веток арматуру для статуи человека. Он стал покрывать это сооружение глиной, и очертания мужской фигуры скоро появились перед ним.

Он ходил несколько раз к океану. Его мертвое тело лежало все на том же месте, почти у самых волн; оно издавало плохой запах, на нем сидело множество мух. Однажды Евгений увидел большое, мокрое тело Змея Ранофу-Уфо, лежавшее рядом с трупом. Это чудовище присосалось к мертвецу с одной стороны, мухи не видели Змея и не улетели прочь. Евгений поднял валявшийся недалеко обломок весла, выброшенного на берег волнами, и стал бить им чудовище. Кусок весла свободно проходил сквозь тело Змея, не оставляя ни повреждений, ни следа. Только силой своей мысли смог Евгений отогнать чудовище в сторону. Материальный предмет — весло, не мог действовать на астральный объект, на призрак призраков, Ранофу-Уфо.

Евгений долго и тщательно изучал черты лица и общие очертания своего трупа, лежавшего на песке, стараясь запомнить их. Он снял всю одежду с этого тела и вымыл ее в морской воде. С помощью обломка весла он засыпал тело толстым слоем песка. Он был рад, что больше не увидит это разрушающееся и уже потемневшее тело. Снятую одежду он еще раз тщательно, как ему казалось, вымыл в лесу, в озере, и разложил на камнях для просушивания. Статую надо было сделать скорее, и именно, как карлик Виггр говорил, *физически*, а не кинестетически, т.е., не силой своего всемогущего после смерти ума.

Через несколько дней скульптура была закончена. Лицо было точной копией бывшего лица Евгения, — вероятно, у него был прежде ему неизвестный художественный талант. Он боялся людей, особенно детей, которые могли придти сюда и разрушить его глиняную статую. И через пару дней он действительно обнаружил повреждение. Голова статуи была отломана и лежала рядом на траве. На ней была паутина засохшей серебристой слизи, — несомненно от Змея Ранофу-Уфо, — дети, повидимому, сюда еще не приходили. Евгений легко прикрепил голову к фигуре.

По ночам, в лунном свете, эта фигура, стоявшая среди темных камней и кустов, казалась ему страшной. Даже его собственное тело, засыпанное теперь песком на берегу, эта разрушающаяся масса, частично объединенная и высосанная призрачным Змеем, не казалось ему таким неприятным. Неподвижная статуя в сумерках и ночью говорила ему без слов о какой-то иной смерти. Но какой, если он уже давно умер? — В египетской Книге Мертвых, Перт-Эм-Хру, этой древнейшей книге чело-



вечества, есть молитва об избавлении от второй смерти... Действительно ли все живущее должно проходить целые серии смертей?

Днем статуя не производила такое впечатление. Это была просто зеленовато-желтая масса из глины. Темные, большие камни с их мшистыми, нахмуренными бровями тоже не казались враждебными.

Эльф Виндальфр и карлик Виггр пришли однажды к озеру.

— О, вы уже сделали статую, — таким вы были прежде? — спросил Виггр, улыбаясь и обходя фигуру своей раскачивающейся походкой. — Прекрасно! Очень хорошо!

— Я последовал вашему совету, господин Виггр. Я создал эту статую чисто физически, чтобы она была вполне материальна и чтобы я мог воплотиться в ней во взрослом виде... но как это сделать?..

— Вам не надо ожидать полного высыхания глины, Евгений, — сказал эльф Виндальфр. — Просто, входите мысленно, проникайте постепенно в эту фигуру. Правильно ли я советую, господин Виггр? — обратился он к карлику, своему другу, и тот утвердительно кивнул головой. — Вы почувствуете, Евгений, — продолжал эльф, — как фигура эта будет становиться теплой и гибкой. Входите сейчас... вот так... хорошо... больше и больше... Теперь шевельните слегка головой, руками, ногами... трудно? Сделайте три шага вперед, осторожно, чтобы не упасть, — вы уже отвыкли ходить в телесном виде, не правда ли? Как сейчас? Достаточно ли подвижности? Где ваша одежда?

— В кустах, за мшистым камнем, — ответил Евгений, с трудом шевеля губами.

Карлик Виггр принес одежду. Евгений с помощью его и эльфа медленно оделся. Он ощупал себя пальцами, — это было настоящее человеческое тело!

— Я изучал недавно вопрос о реинкарнациях, — сказал эльф Виндальфр после небольшой паузы. — Реинкарнация, перевоплощение, — не для эльфов и карликов, конечно, потому что мы практически бессмертны, — возможна для людей не только в будущее, но и как зигзаг назад, и в некое прошлое, потому что существует и *refluum temporis*, обратный ход времени. Более того, возможно одновременное существование одних и тех же объектов и людей на разных планетах по принципу теории вероятности, т.к. в мировом пространстве находится неимоверное количество звезд и их планет. Много есть Евгениев, Виггров, Виндальфров во Вселенной, — и не таких, как мы, но именно *нас самих*. Вы предпочли осуществить самостоятельную, собственную реинкарнацию, это тоже неплохо.

— Очень хорошо! — сказал карлик Виггр. — Кожа вашего лица и рук еще зеленоватая и бледная, но, надеюсь, она порозовеет скоро!

— Тут что-то есть в моих карманах, — сказал Евгений. — Откуда эти камни?

— Я положил в ваши карманы несколько интересных камней из нашей аметистовой пещеры, — ответил карлик Виггр. — Мы называем их *Крифо* или кристаллические формации. Они вам пригодятся. Вам

будут нужны деньги, т.е., вы знаете, грязные клочки цветной бумаги или круглые небольшие куски металла, – вы, люди, извините, жадны на это. Мы, карлики и эльфы, не нуждаемся в таких глупостях для добывания необходимых вещей.

–Очень благодарен вам за вашу помощь и подарок, – сказал Евгений и поклонился карлику и эльфу.

–Вы можете... как это называется?.. про...дать все камни, но один из них, так называемый *жеод*, имеющий вид крошечной пещеры внутри, усеянной мелкими кристаллами, оставьте для себя. Он у вас в левом кармане, – добавил карлик.

Они попрощались; эльф Виндальфр и карлик Виггр направились в лес. –Знаете ли вы что-нибудь о Змее Ранофу-Уфо, господа? – крикнул Евгений вслед им.

–Конечно, – ответил эльф. –Это – астральное чудовище, Великий Червь или Орм, живущий в лесах. Он невидим для живых людей, но мертвые боятся его. В египетской Книге Мертвых его имя – *Апен*, он ползает под землей от одной могилы к другой... Мы не боимся его.

–Мы, карлики, всегда запираем двери наших пещер, чтобы Ранофу-Уфо не вполз внутрь и не наделал повреждений и беспорядка. Днем этот Червь-Змей обычно спит в лесах, – добавил карлик Виггр. –Ну, счастливого пути и успехов!

Евгений пошел по узкой проселочной дороге. Ему казалось, что в соседнем лесу, на мху и иглах от секвой лежит Ранофу-Уфо со множеством своих слизистых боковых присосков. Этот Змей, по-видимому, готов напасть на него, Евгения, и отнять у него все Крифо, спрятанные в карманах...

## 6.

Стоя у прилавка, Евгений не хотел говорить правду, – хозяин магазина все равно не поверил бы ему. Но Евгению нужны были деньги, и он хотел продать свои цветные камни.

–Где вы достали их? – спросил продавец.

–Я был в провинции Мванза, в центральной Африке. Около двух месяцев тому назад. Там есть племя, которое добывает и делает многие удивительные вещи.

На прилавке лежало пять круглых и конической формы камней, вероятно, аметистовых и гранатовых. Они сверкали разными сияниями, меняя медленно оттенки. Была даже иллюзия передвижения, полузаметного скольжения их в разные стороны. Красное кольцо внутри одного из них вдруг превратилось в зеленую звезду.

–Я никогда не видел ничего подобного! Сколько вы хотите за них?

–Тридцать долларов за штуку, – ответил Евгений.

–Это слишком дорого! – поморщился хозяин лавки.

–Ну что ж, тогда мне придется найти другого покупателя, – сказал Евгений и начал класть камни в карманы.

— Подождите, я все-таки возьму их, — поспешно ответил продавец. — Вы меня разоряете этими безделушками! Вот деньги. Ваша подпись, пожалуйста. Может быть, вы дадите мне адрес того племени в Африке?

— К сожалению, я не могу вспомнить его сейчас. Я принесу вам адрес следующий раз.

— Тогда дайте мне, пожалуйста, ваше имя и адрес...

Евгений вынул из кармана пустой конверт. На нем были имя и адрес — *неизвестно чьи*. Этот конверт он нашел на дороге, идя в поселок.

— О, вы живете недалеко отсюда, — сказал хозяин и переписал адрес на другом столе. Евгений снял незаметно коричневый листок водоросли, еще оставшейся прилипшим к его пиджаку. На листке держалось еще несколько песчинок.

— Теперь я положу камни на витрине, — сказал хозяин, довольно улыбаясь. — Заходите, пожалуйста, когда у вас будет еще что-либо новое, — добавил он и протянул Евгению руку.

\* \* \*

Он обедал в ресторане поселка, купил подержанный велосипед и немного продуктов, которые теперь уже были нужны ему. Затем он поехал к холмам, избегая широкие и бойкие дороги. Спал в лесу. На следующее утро позавтракал, пил воду из ручья, и поехал дальше, в наиболее густую часть леса, подальше от селений. Перед заходом солнца он остановился снова на ночлег, сделав себе примитивный шалаш из веток и листьев у одного высокого дерева. Отдыхая, стал рассматривать карту местности, — он достал ее накануне на газолинке, надувая воздухом шины велосипеда. — Тут есть недалеко небольшой городок, там я смогу доставать себе пищу, — подумал он.

В поздних вечерних сумерках он достал из кармана свое непроданное сокровище — многоцветный камень-жеод, Крифо карлика Виггера. Камень был круглым и уплощенным, как толстая линза, с утолщениями в виде полушарий с обеих сторон. Центральная часть этого камня была прозрачна, внутри ее была маленькая полость с желтыми, голубыми и зеленоватыми кристаллами. Это был *внутренний жеод*, снаружи как бы запечатанный толстым, совершенно прозрачным, стекловидным слоем минерала. Евгений рассматривал это Крифо несколько минут. Оно медленно меняло окраску.

— Я вернусь снова к ней, она сказала... Кто была она, Амена, та, которая вышла тогда из сверкающих кристаллов в темной глубине? Ее волосы в запечатанной ампуле лежат теперь на дне океана... Я был там, в том мраке и отсутствии всего... Зачем я снова оставил ее и поехал в лодке к другому острову... увидеть друзей? устроиться жить с ними? Была темная ночь, шторм, дождь в океане, моя лодка перевернулась в заливе за скалами... — Евгений положил камень под сухую траву приготовленной на земле постели, лег и стал смотреть на мерцающие в отверстии его хижины звезды.

Он проснулся поздно ночью и больше не мог спать. Много было слышно разных ночных звуков в лесу, – шелест листьев, потрескивание и скрип сухих ветвей, одинокое "хигайо-цви", – возглас какой-то сонной, далекой птицы...

Евгений снова достал свое Крифо и стал рассматривать его при свете поздней луны. Жеод светился ярче, чем прежде. Внутри его центральной прозрачной части сидела крошечная, красивая женщина на маленьком кристалле аметиста; на ней был голубоватый, светящийся плащ. Легкая улыбка была видна на ее лице.

–Евгений, – сказала она, и он мог слышать ее голос сквозь стеклянную массу жеода. –Ты вернешься к нам? Ты знаешь меня. Это я пришла к тебе из этого Крифо в ту ночь, в глубине океана... тебе не следовало ехать в лодке в ту бурную ночь на другой остров...

–Я знак тебя. Ты – Амена. Я быстро погружался в глубину, вода душила меня. Ты схватила меня за руку – и мое падение ко дну прекратилось. После этого уже не было ни ночи, ни бури, ни воды. Мы бродили Ёсиком по пушистым, ярким облакам, и золотистый, радостный океан смеялся, как говорится у Гомера, "своим неисчислимым смехом" внизу... Как долго я был тогда с тобой, Амена?

–Время не существует для нас, Евгений. Когда мы спустились с облаков на один из пустынных атоллов, я показала тебе высокий, воздушный Столб за рифом. Столб стоял между водой и небом. Это было *само Время*, неподвижно стоявшее на одном месте.

–Я помню это, Амена. Столб Времени был узким в своей середине, с трубообразными расширениями верхнего и нижнего его концов, – нижний раструб был в волнах, а верхний – в облаках.

–В Столбе Времени течет Жизнь, Евгений, а мы находимся *вне ее*. Помнишь ли также, как мы сидели на мраморной скамье среди белых храмов? Река Рая, *Эвнэз*, протекала внизу. Ее волны сверкали как золото. брызги ее достигали неба и падали вниз в виде сияющих рубинов. Это было у Северных Ворот Рая...

–Я помню это, Амена. Ты взяла мою руку и повела меня к берегам чистой Эвнэз.

–Помнишь ли ты, мой дорогой Евгений, нашу прежнюю жизнь в иной, далекой стране? И помнишь ли, как мы, уже здесь, пришли однажды к одному из концов Радуги и вошли в ее красный и оранжевый пар который внезапно стал зеленым? Это было на облаках, мы были невесо-мы...

–Я помню все, Амена. Мы были в объятиях друг у друга, мы плыли потом в воздухе над блистающей аркой Радуги. Ты отплыла на миг в сторону от меня. Я потом поймал твою руку, и мы снова были вместе. Амена. Счастье и радость владели нами. Римский философ Сенека сказал: *Post mortem nihil*, после смерти ничего нет. Находимся ли мы в состоянии *post mortem* ? – Я ведь совсем недавно воплотился снова в этом живом, материальном образе. Может быть...

–Да, Евгений, *Post mortem Eros*... оставь теперь свою хижину и

иди сюда, внутрь Крифо, ко мне.

—Это было бы чудесно, — быть внутри Крифо с тобою, Амена. Но мне хотелось бы пожить еще некоторое время среди реальных людей и моих бывших друзей.

—Ты уже был по эту сторону, Евгений. Ты блуждал в лесах в виде призрака. Твое воплощение в глиняной статуе не было все-таки переходом в реальную, вещественную жизнь... Впрочем, наиболее реален только наш план существования.

Евгений молчал. Ему вспомнилась вся его жизнь, до смерти, — милая, но трудная, иногда беспощадная жизнь... А теперь? —Этот шалаш в лесу, одинокие дни и ночи, надвигающаяся зима... Вернуться к Амене, которая сама теперь предстала пред ним?

Амена молчала тоже. Ее крошечная фигурка внутри камня-жеода показалась Евгению такой дорогой и милой...

—Перестань думать о земной, смертной жизни, будь свободен от нее, — вдруг сказала она.

—Но как я могу войти в это сияющее Крифо, Амена? Оно такое малое, и запечатано прозрачной массой снаружи...

—Дотронься до него и уменьшись мысленно до моих размеров, Евгений. Для нас все возможно. Мы не имеем настоящих образов и размеров.

—Кто — мы, Амена?

—Мы — *Бесконечное Единство*, Евгений. Я — ты, и ты — я.

Евгений взглянул еще раз на ее нежное лицо, на очертания ее крошечного тела.

—Мальчики из соседней школы найдут мою хижину, мой велосипед и деньги, — подумал он. —Надеюсь, это будет до периода дождей, иначе велосипед совсем поржавеет.

-----  
Амена протянула к нему руки — и он вошел внутрь жеода.

## 7.

...Лодка почти наполнилась водой. Дождь, рев волн, мрак. Было невозможно выплеснуть воду веслом или банкой, держа в другой руке фонарь. Внезапно лодка еще раз сильно качнулась и набрала еще больше воды. Евгений, теряя электрический фонарь, упал из лодки в воду. Лодка раскачалась и отплыла резким толчком в сторону, в темноту. Спасательный пояс остался в ней; Евгений ничего не мог видеть во мраке.

Он держался некоторое время на поверхности, в волнах, перекачивавшихся через его голову. Он захлебнулся, пробовал выкашлять воду — и в его горло и легкие попало еще больше воды. Это было очень болезненно, — он открыл рот на мгновение в ужасе, чтобы как-либо вдохнуть воздух, затем задержал дыхание. Без воздуха в легких он стал опускаться в глубину. Резкая боль разрывала грудь. Невозможно

было задерживать больше дыхание. Внезапно он вдохнул в себя дважды... *не воздух, а воду*. Тело его охватили судороги. Какие-то неизвестные драгоценные камни засверкали в его закрытых глазах. Один из камней был в виде плоской линзы, — это был жеод, — с крошечной полостью внутри, в которой светились разноцветные кристаллы...

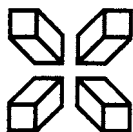
— Кристаллы Забвенья, Крифо карлика Виггра... — мелькнуло у него в голове.

Из Крифо вышла небольшого роста женщина.

-----

## 1. (!)

...Она подала ему руку. Рука была маленькой, нежной, очень холодной. Кристаллы исчезли; некоторое время был слышен какой-то тихий звон, сопровождавшийся вспышками искр. Неясные очертания Змея Ранофу-Уфо или Орма с его извивающимися щупальцами появились на мгновение в глубине. Они исчезли, и в холодной, темной бездне океана наступило великое молчание и отсутствие всего, что существует или может существовать на свете.



## ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН

### ОСТРОВ ПАКЕТА

Пришурившись, на райские места  
Мы с корабля глядим через перила:  
В полуденном дыму хризоберила  
Еще милей мой остров Пакета́!

Здесь, обменив дифтонги на цвета,  
Бразилия со мной заговорила, –  
Так, может быть, и для отца Кирилла  
Улыбками заблещет красота?

Не торопясь, без грохота и тряски,  
Здесь движутся по улицам коляски:  
В любой из них удобно будет нам.

И, не успев за годы измениться,  
Опять зовет коней по именам  
Себастиан, приветливый возница!

### ВСПОМИНАНИЕ

Я воскресил весенний свой мирок  
И летнее неистовство расцвета,  
Разоблачил в поэте не-поэта  
И спрятанный под крыльями порок.

Перевалив за восемь тысяч строк,  
Я дописал Поэму без предмета:  
Хотя строфа последняя допета,  
Неспущенным останется курок.

Мой новый дом не по-китайски прочен,  
Да стал я стар, беззуб и непорочен,  
Грехи сменив на груши и халву.

Лишь изредка, презрительный и гневный,  
В себе самом я Лазаря зову,  
А он смердит, уже четверодневный!

ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН

АКРОСТИХ

*Лихновскую назвать не смею "Лиской"  
И отлучить от сана и герба  
За то одно, что сделала судьба  
Аристократку также и артисткой,*

*Любимицей очей и пейзажисткой,  
Изображать умеющей хлеба,  
Худых коней, усталого раба,  
Нагих русалок под луною низкой...*

*От вымыслов и красок, и всего  
В душе растут восторг и торжество,  
С которыми признательный Бетховен*

*Когда-то князю Карлу слал привет.  
А я ему не равен (и неровен) :  
Я подношу графине мой сонет.*

*"Лиска" (графиня Елизавета Николаевна Лихновская) –  
замечательная художница европейской школы, живущая  
в Рио де Жанейро. Князь Карл и граф Мориц Лихновские  
– известные покровители Бетховена.*



АЛЕКСАНДР ГИДОНИ

ПРОДАВЩИЦА ГОЛУБОГО КИОСКА

Р а с с к а з

Киоск стоял в тени шарообразно подстриженных лип. Его голубой цвет был страшно неуместен на фоне зеленых листьев и фисташковой стены киноинститута – блеклого здания с белыми колоннами. Каждое утро в девять часов с окна киоска снималась голубая доска, и тогда сквозь стекло начинало вырисовываться худощавое лицо пожилой женщины с огненно-напомаженными губами. Это была Вера Николаевна Бессонова, Сорока пяти лет. Вдова. Бездетная. Молчаливая. – Она и была продавщицей в киоске. Уже давно. Очень давно...

Каждое утро мимо ее киоска проходили знакомые режиссеры, сценаристы, операторы, студенты. Почти со всеми она была знакома, и все, безусловно, знали ее. Кивали ей. Говорили что-то. Она отвечала. Быстро. Иногда медленно. Она сидела, точно врисованная в обложки киножурналов и фотографии актеров. Прямо над ее лбом улыбались квадратики лиц Черкасова, Лолиты Торрес и Крючкова. Сбоку хмурились названия: "Искусство кино", "Советский экран", "Литературная газета". Журналов и газет было много, но раскупали их быстро.

Вот и сегодня: еще нет двенадцати, а газет почти не осталось. Бессонова устало откинулась на спинку стула и закрыла глаза. И тут же вздрогнула.

– Вера Николаевна! Вера Николаевна! Вы спите?

– Нет! – Она взглянула на подошедшего знакомого фоторепортера. – А что?

Но фоторепортер укоризненно качал головой.

– Ай-ай-ай, Вера Николаевна! Что ж это вы, не высыпаетесь, что ли?

Она грустно усмехнулась.

– Что ж делать? У меня и фамилия такая... бессонная.

– Нехорошо, нехорошо, – бормотал шутливо-укоризненно фоторепортер и как-то странно вглядывался в лицо Бессоновой.

– Что вы на меня так смотрите? – спросила она.

– У меня для вас сюрприз, Вера Николаевна. Так... так... Сейчас узнаете. Одну минутку. А ну, улыбнитесь... Вот так!..

Она не понимала, в чем дело, но на всякий случай улыбнулась краешком рта. В руках репортера возник фотоаппарат. Он прицелился, щелкнул.

—Готово!

И прежде, чем Вера Николаевна опомнилась, исчез, приветливо помахав ей рукой.

—Наверное, для стенгазеты, — устало подумала она, глядя ему вслед. —Но почему же снимал именно он? А впрочем, все это не имеет значения...

Яркое солнце било по стеклу киоска. Воздух так ласково щекотал дыхание, и больное сердце отбивало свой ритм не совсем по порядку, но с теми небольшими, томительно-сладкими замираниями, которые по-своему были даже приятны. Вера Николаевна проглотила таблетку, пробормотала свое, одной ей известное слово-талисман "дита" и опять задремала. Покупателей больше не было. Она несколько раз просыпалась, потом опять засыпала, и обрывки действительности причудливо смешивались в ее голове с кусочками сна. Все дальнейшее было этим фрагментарным смешением.

Когда-то очень давно, в юности, она мечтала стать киноактрисой. Ах, эти предчувствия молодости, в которых, кажется, заключен смысл жизни! Родной дом, где ее мать, старая учительница, пренебрежительно говорила, поджимая пергаментно-бледные губы: кинематограф? — подрисованные брови взлетали вверх, нос вытягивался и становился слегка похожим на знак вопроса. —Кинематограф? — Но это же шарманка какая-то...балаган... Петрушка! Нет, нет, Верочка, театр — вот подлинное искусство. Иди на сцену, если ты чувствуешь призвание, но кинематограф? Нет, нет.

А Верочка по ночам плакала, разглядывая себя в зеркало и находя, что у нее слишком крупный нос, да и глаза посажены слишком глубоко. Ах, Мэри Пикфорд! Ах, Макарова!.. И сколько ночей прошло вот так. Может быть, не стоило мечтать о кино, может быть, эти ночи надо было потратить на изучение какой-нибудь более реальной профессии, и теперь она была бы неплохим инженером, геологом, врачом, библиотекарем наконец... Но как приятно мечтать, и каким неинтересным кажется после этого любое дело, даже то, о котором мечтаешь. Если бы можно было только мечтать, если бы лодка в море всегда плыла сама по себе, без весел!.. Какие воспоминания! — Она мечтала стать киноактрисой, а стала продавщицей в киоске.

Нельзя сказать, что она ничего не сделала практически, чтобы начать свой путь в кино. Она ездила в Ленинград. Ей казалось, что именно там почему-то ей должно повезти. Ленинград... Маленькая комнатка у дальних родственников... Шпиль Адмиралтейства... Пирожные и вино в блеске ресторана на Невском... Киностудия, куда она ходила столько раз... Один режиссер сказал ей, что она недостаточно красива для экрана, однако вполне подходит для него... Возможно, что после этого он что-нибудь сделает для нее... Она не испугалась. Не ломалась. Не

отказывалась... Но когда *это* случилось, то режиссер заявил, что времена переменялись: теперь, она, пожалуй, достаточно красива для экрана, но не вполне подходит для него. А посему сделать для нее, к сожалению, он ничего не может... Это был удар, от которого она не оправилась... Она уехала из Ленинграда... Так и случилось, что она, мечтавшая стать киноактрисой, стала продавщицей в киоске.

Она давно привыкла к своему положению продавщицы и скромной женщины. Ее все уважали. О, безусловно! Ее уважали и кинозвезды, которые примелькались в ее глазах почти так же, как и настоящие звезды на небе, и киномолодежь, которая в иные дни штурмом брала ее киоск. Все уважали ее и все, конечно, думали, что эта женщина находится как раз на своем месте — она ведь такая тихая, незаметная. Вот только губы накрашены ярче обычного — но это понятно: женщина, у которой все в прошлом, а подкрашивать что-то надо: будь это надежды, разочарования или губы... все равно. И никто не знал, что прежде, чем стать продавщицей в киоске, она мечтала стать киноактрисой... Эта тихая женщина — Вера Николаевна Бессонова.

Впрочем, самой ей не было очень тяжело от мыслей о неудачно сложившейся жизни. Ко всему привыкаешь. И только иногда булавка, которая была спрятана в аккуратный карманчик ее серой, педантически элегантной жакетки, словно оживала и как бы вонзалась в грудь, покалывая сердце. Ведь она мечтала стать актрисой, а стала... Сердце у нее было плохое.

Она привыкла к своему положению, но растревать ранку не следовало. И когда месяц спустя она раскрыла номер большого киножурнала, первое, что ей бросилось в глаза, — это ее фотография: она сидит в киоске и, странно глядя перед собой, улыбается краешком рта. Под фотографией подпись: *"Вера Николаевна Бессонова — вот уже много лет бессменная продавщица киоска нашего киноинститута. Конечно по сравнению с большими киноработниками, она — маленький и незаметный человек, но это не мешает ей пользоваться общим уважением. Наш фотообъектив запечатлел ее в тот момент, когда она, радостно улыбаясь, обслуживает очередного покупателя."*

Фотография была очень четкая, и вдруг она начала тускнеть и расплываться перед ее глазами. Ну вот, наконец-то она прославилась. Заныло сердце. — "Маленький и незаметный человек". К горлу подступал комок. Она порывисто встала со стула. — А я не хочу быть маленьким и незаметным человеком! Или, во всяком случае, если уж я такая маленькая и незаметная, то я не хочу, чтобы мне напоминали об этом! Неужели они не могут понять? Этот осел-фоторепортер! Сказать бы ему!..

В этот момент кто-то подошел к ее киоску, и Бессонова села, чтобы "радостно улыбаясь, обслужить очередного покупателя". Потом она опять осталась одна в своей голубой кабинке.

С сердцем становилось все хуже. У нее были таблетки и, более того, у нее имелось в запасе магическое слово-талисман: "дита". Каж-

дый раз во время припадка она произносила это слово и знала, что именно оно, это слово, и, может быть, еще ее вера в него, заставляют красный комочек в груди снова возобновлять свой ритм. Что означает это слово, она не знала. Просто когда-то, очень давно, во время припадка, когда под рукой не было никаких лекарств и она думала уже, что все кончено, губы ее (тогда они были красны без помады) сами собой выговорили это странное слово, и сразу же, вскрикнув от последнего резкого укола в сердце, она почувствовала огромное облегчение. Она не могла бы сказать, какая тайная мысль связала окончание ее припадка со словом "дита", но что-то сказало ей, что это именно так. Она запомнила это слово и с тех пор каждый раз, когда ей становилось плохо, она произносила "дита" — после чего наступало облегчение. Это было действительно магическое слово. Дита, дита, дита...

Оно вертелось у нее в голове, но теперь она упрямо молчала и не произносила его, давая тяжести в груди все более разрастаться и тяжелеть. Сначала шли волны сладко захватывающих замираний. Они были по-своему приятны, и в этот момент перед ее глазами стали возникать контуры прошлого, переплетаясь в своих очертаниях, как наплывы условного кинокадра. На глаза выступили слезы: она видела себя маленькой девочкой, сжавшейся в комок на постели, такой ласковой, доброй и такой... несчастной. Как хотела она быть счастливой! Как хотелось ей обрадовать свою маму, старенькую учительницу, которая так надеялась на нее! И чем все это кончилось? Она — продавщица в киоске, "маленький и незаметный человек". Вот и вся слава. Боже мой, Боже мой, ну почему я так несчастна? Ну зачем мне напомнили об этом? Я так хотела забыть обо всем, а теперь не могу... Не могу!..

Пожилая женщина в серой элегантной жакетке, с ярко накрашенными губами, сидела в голубом киоске и плакала. Крупные слезы сбегали по щекам, смывая пудру с тонкой сети беглых морщинок. На коленях — раскрытый журнал с ее фотографией. Рядом — газеты, открытки, книги. А в груди женщины красный комочек сердца сжимался все медленнее и медленнее. Боль усиливалась. Теперь это были резкие уколы, холодные и быстрые. В кармане лежали таблетки, где-то в подсознании вертелось слово "дита", но она не вынимала таблетку, а губы не выговаривали спасительного слова. И медленно сползая со стула, она умерла, "маленький и незаметный человек", мечтавший о большой славе.

Первым, кто увидел Бессонову мертвой, был фоторепортер, снимавший ее для журнала. Вначале он решил, что она уснула, но, заглянув в глубину киоска и увидев ее, нелепо сидящей на полу, с остекляевшими глазами и особо яркой почему-то помадой на губах, он испуганно отскочил назад и закричал. Приехала скорая помощь, милиция; собралась толпа зевак. Какой-то врач попросил фоторепортера сделать снимок с женщины в той позе, в какой ее застигла смерть. Он послушно щелкнул фотоаппаратом. Но снимок этот почему-то не вышел. Может быть, потому, что он не предназначался для журнала.

ПЕТР БАЛАКШИН

## ОБРАТНАЯ СТОРОНА БИНОКЛЯ

Сергей Горный

О Горном теперь трудно писать. Еще труднее подойти к его письмам, к его крупному, размашистому почерку то на дорогой, как пергамент, бумаге, то на наспех вырванных листах немецкого календаря. Его письма разнообразны: то о московском съезде писателей, в то время еще "не инженеров душ" и партийных служащих, то о своей работе, о необходимости связаться с таким-то человеком, написать такому-то, пригласить к сотрудничеству такого-то, помочь старому писателю, затертому жизнью. Его интерес живой, теплый, жизненный, человеческий; доброжелательность ко всему и всем, за исключением поэмы, бездарности, самоизбранности некоторых из зарубежной среды писателей. На фотографии – высокий, с открытым лицом, с головой, откинутой назад, словно так было лучше видеть все; и другая – две дочери: постарше, – в черном атласном платье, перчатках, шляпе, и поменьше, – в белом платье, шляпке, в позе молодой балерины. Что не менее интересно на снимке, это улица Берлина (1934 г.), пара гладких белых лошадей, карета, кучер, форейтор, и где-то вдали два-три автомобиля. Совершенно другой мир, в котором чувствуется покой, уверенность не только в завтрашнем дне, и который определяет положение писателя, так резко отличное от бедствующего положения большинства зарубежных писателей.

Сергей Горный, Александр Авдеевич Оцуп, горный инженер по образованию, был уже известен до первой мировой войны, сотрудничая в "Сатириконе". Три первых книги с 1913 по 1915 годы; год перерыва, война, затем в 1917 году – еще одна. "Янтарный Кипр" – первая книга, изданная за границей. Затем пять или шесть других.

В отличие от писем, охватывающих разнообразие его жизненного интереса, его последние книги ("Всякое бывало", "Только о вещах", "Ранней весной") сводились преимущественно к внимательному и сосредоточенному рассматриванию своей собственной жизни, детства, семьи. Казалось, что глядя на обычный окружающий его мир через бинокль, он поворачивал его другой стороной, словно там, в маленьком кружке, ему лучше и приятнее было сосредоточить любимые вещи.

Отсюда его тщательное рассматривание, микроскопическое описание вещей, дома, мебели, этажерки ("Жакоб? Луи Сээ?"), лиц, жаворонка, разговоров, унесенных ветром, от которых остались лишь обрывки, значащие что-то только для писателя. И странно — эта микроскопичность обладала особым свойством: она всасывалась в читателя, производила магическое действие, опутывала его сетью колдовства. В этом была особая сила притяжения Горного. Видимо, он сам поддавался ей, и не раз, а дважды: во время писания и во время чтения после выхода книги. Ему нужен год, — писал он, — чтобы прийти в себя после выхода книги в свет.

Сосредоточенность на вещах прочно связывалась с самовлюбленностью. Он тщательно собирал критические отзывы о своих вещах, относя всякий благоприятный отзыв о себе к исключительной одаренности критика. ("Читали ли вы отчет о моей книге одареннейшего критика такого-то?" — фраза, нередко попадавшая в его письма). Подобранные им рецензии он отсылал друзьям и возможным будущим критикам, иногда с подчеркнутой припиской "учесть это", "обратить внимание на это при возможном разборе".

Последняя война принесла конец счастливой жизни Горного: его семья, положение, литературная работа были сметены нацистским произволом. Переход через границу в Швейцарию, болезнь и смерть в Мадриде в 1948 году.

22.IX. 33. Берлин, Сергей Горный, с/о Оцуп, Шпейерштрассе, 18  
Искреннеуважаемый г.Балакшин!

Пишу так "официально", ибо не знаю Вашего отчества. Шлю Вам самое искреннее, самое задушевное спасибо за теплые слова. Я ведь чувствую — я знаю, что Вы их не "надумали", не "пришлифовали" для некоего литературного письма. Все в этом трогательном, дорогом мне письме — и некоторая робость, и разгон к предельной искренности, и тут же "тормоза". И теплота, которой Вы (как все подлинно-нежные натуры) чуть стыдитесь и в святой, прозрачной полноценности которой Вам как-то самому не хочется признаться — все это мне так понятно, знакомо и ценно.

Посылаю Вам свою новую книгу "Ранней Весной" и думаю, что она придется Вам по душе.

Сердечно Ваш Сергей Горный

Берлин, 16.XI. 33.

Очень меня тронуло Ваше письмо, искреннее, теплое, какое-то "музыкальное"... Слова Ваши (человека лично незнакомого, далекого) о моих книгах, этот бескорыстный читательский отклик — подлинно дороги мне. Ведь это ответное волнение далекой, затерянной где-то души, для которой (незнаемой, но, возможно, очень родной...) быть может, только и пишешь, — это ее волнение, ее ласка, ее благодарность — все это наш единственный подлинный писательский гонорар. Спасибо Вам.

От души желаю Вам углубления, проникновения в себя, строгости к себе, упорства, упрямства душевного (стиснувшего зубы). Сим победиши!

Я очень сожалею, что посланная Вам книга моя "Ранней Весной" не дошла. М.б. сам виноват: послал не заказным, а простым. Охотно исполняю Вашу просьбу и шлю Вам мои студенческие памятки в трех главах. Если для Вашего издания это чересчур длинно – выпустите одну из глав, – например, последнюю. Я учился не в университете, а в Горном Институте... На земле, в прозе, в буднях – я инженер. Для иной, для подлинной жизни – я служитель (монастырский служка) Его Блаженства Русского Слова, Его Святительства, Разве не так?

Искренне Ваш Сергей Горный

3 февраля. 34.

Ваше письмо и посвященная мне заметка пришли очень кстати. У меня как раз – к моменту появления почтальона – сидело несколько литературных друзей (в том числе один профессор с европейским именем, историк литературы). Я в качестве очередного пункта "в порядке дня" прочел вслух Вашу заметку. Не буду высказывать своего мнения: я ведь, в конце концов, "заинтересованная сторона". Передам Вам резюме того, что сказали другие. Обо мне писали и пишут (слава Богу) очень много. Я бы лгал, если бы сказал, что "привык" к этому, полуравнодушен, "сыт" и т.д. Нет, каждое общение с читателем, каждое участившееся биение сердца читателя, каждый отклик меня всегда по свежему, наново волнует. Это единственное оправдание творчества: касание к другой душе, (сопричастие, говорили когда-то патетически в мое студенческое время, говорили часто и некстати и захватили и обшаркали до неприятного глянца это, в общем, неплохое слово...). Так вот, по словам многих их присутствующих на этом литературном "действе", где были прочитаны Ваши строки – мало, кто так проникновенно и почти под новым углом подошел к моей биологичности, как Вы, дорогой П.П. О микроскопичности писали часто. Очень неплохо и глубоко писал именно о нем Татаринов. О биологичности вскользь писал Пильский. А именно эта органическая диагональ, которую *зорко* и бережно, я бы сказал проникновенно, выделили Вы, мне лично дороже всего. Часто писали о мелочах, почти всегда и все писали о детализации, Айхенвальд даже упрекал за нее, и мало кто понял, что "детали" – это есть ячейка жизни, протоплазма ее для меня, святые сгустки бытия. Вещи – это есть сгущенное бытие. Нет ведь мелочей. Есть только наше слабое духовное зрение. То, что Вы сказали о моей "биологичности" и о полной естественности, оправданности, даже неизбежности моей установки на детали, на вещи, микроскопической ячейки жизни, *ни-кем* так не было сказано. Это зорко, это озаренно; это, понятно, не шаблонная критика, а со-волнение, со-озарение, удачно и умело выска-

занные. Вам обязательно надо писать в этой, анализирующей чужое творчество области. Обязательно. Вы сможете там сказать свое, сказать глубоко, как-то осянно (по интуиции!) и рентгеновски четко (по зоркости).

В добрый час! Душевно Ваш Сергей Горный.

19 июня, 34, Шпейерштрассе, 18, Берлин

Спасибо за доброе письмо.

Очень сочувствую начинанию Вашего "Цеха" и шлю Вам в ответ на деловое послание официальный ответ.

Зима и весна прошли у меня неважно. Заболела у меня старая штыковая рана, которую мне нанес много лет тому назад красный штык. Заныл рубец и притом так упрямо, так нещадно, что, не поддаваясь никаким докторским ухищрениям, испортил мне почти полгода! Это невралгия рубца. К счастью, теперь, с наступлением очень теплых дней, сразу стало много легче.

Я рад за Вас, что там и здесь встречаю Ваше имя, Ваши бодрые и смелые строчки. Вы пишете, что кое-кто остался недоволен Вашими заметками в альманахе – заныли, заскулили, заверещали т.н. "близкие". Не обращайтесь внимания. На всех не угодишь...И, кроме того, есть элементы в русском беженстве, которые за эти пятнадцать лет "молекулярно" разложились. У них не было в запасе достаточно "живых сил", упрямства, настойчивости, действенности, чтобы чем-нибудь стать. Между тем, то, что Фрейд называет *Geltungs trieb* у них есть. Это не атрофируется. Наоборот, у заболевающих *inferiority complex* эм, он пухнет и ноет, этот "триб". И вот они, унылые и малодетельные, изошряют себя хоть в обывательской критике. Стало быть они "что-то", если злобствуют и критикуют другого. Так их "триб" получает нужную пищу.

.....

Сердечно Ваш Сергей Горный.

#### 2.1X.34

Сейчас в Москве идет Всероссийский съезд писателей. Это не "больное" во мне, не "под Достоевского", но чувствуешь себя – лишний раз – отрезанным ломтем. На их трафаретные "кончики" речей, восклицания, "ура", – надо на секунду закрыть глаза. Нет ничего глупее эмигрантской "неистовости". К правителям – да. Но не к костяку, к остову страны – и не к мышцам, не к нервам ее – т.е. не к писателю, не к солдату русскому, не к загнанному в колхозы русскому землеробу. Они всегда свои. На веки свои. На веки веков. И вот это свое не надо вычитывать из речей (мне удастся покупать газету с отчетами, речами), оно течет, струями стекает. Какая чудесная речь Юрия Олеси. Какой прекрасный писатель. И даже озорной (подлизывающийся к ним) Алексей Толстой сказал неплохо. Умно. И много там одаренных. Больно и радостно читать...



Ведь ясно уже, что мистический экзамен своей эмиграция не выдержала. И распад на фронты, группы, группки, и трещина в самом святом – в церкви. И какая трещина! С бахромой, заусенницами. Злая. На виду у всех. Без стыда. И общей скобки не сколотили (политической). Антиккоминтерновской. И этого даже нет. А ведь в отдельности, почти у каждого (если брать нас в рассеянии сущих не алгебраически, а арифметически) много воли, напора, муки. У многих – почти "героика". А вот подите же.

Мимо.

Когда будете готовить Альманах, спишитесь с моим другом Абрамом Сауловичем Каганом, Берлин. Если они будут чуть дороже Ваших "харбинских" и прочих экзотических типографий, то ведь у них аппарат распространения другой. Они обязуются 200-250 экз. сбыть сами. Настаивайте на этом при переговорах, а я Вам помогу воздействием. Я же здесь, на месте. И они ко мне благоволят – и лично – и по писательской линии.

.....

И когда будете, дорогой, снова писать, ополчитесь на позу, на сюсюканье, на важничанье, на эмигрантское чванство (как они борются с кочванством). Эти (выпущено имя молодого писателя, трагически погибшего в Париже, – *примечание Б.*) и другие – это же вроде имажинистов и еще раньше: ломачи "нашего" 1907-го года, тех времен, когда ломалась Зиновьева-Аннибал, выкручивалась, сюсюкала из "Золотого Руна" и т.д.

.....

Не уставляйте расширять радиус действия.

Вы – одаренный человек. Верьте в себя. Выходите, благословясь, на более широкую дорогу. А для этого нужны непрерывные "касания" к людям. Не стойте в стороне. Пишите, пишите письма. Откликайтесь. Поддерживайте нити связей.

Душевно Ваш Сергей Горный.

23 (месяц неразборчиво) 34

Когда будете писать Марку Ефимовичу Вейнбаум (Новое Русское Слово) кланяйтесь сердечно от меня, упомяните (если нужно), как я Вас ценю. Вашу заметку обо мне читал здесь проф. Лютен и отметил тоже ее своеобразие, самостоятельность, интуитивную зоркость. Я дал один экземпляр знаменитому переводчику русских классиков Фольфгангу Грогеру. Он целиком разделяет мое мнение, что Вы должны, обязаны перед самим собой писать критические работы. У Вас самого большая музыкальная напевность и поэтому Вы слышите, не напрягаясь, то, что творится в душе у другого. А это большой дар.

В Варшаве издается очень опрятная, литературно-вдумчивая газета "Русское Слово". Во главе ее стоит добрейший Николай Моисеевич Волковьский, когда-то популярнейший газетчик Петербурга, человек, ко мне очень хорошо относящийся, к мнению моему очень прислушива-

ющийся. Вы можете начать появляться небольшими этюдами у него; почву для Вас я там подготовил. Обо мне у него писать незачем: недавно были помещены огромные этюды, посвященные мне...

Ну, в добрый час.

Сердечно Ваш Сергей Горный.

12.XII (год не указан)

... Простите, что пишу на столь странной, необычной бумаге: не имею другой под рукой.

О Рахманинове и Бунине Вы сказали очень верно и проникновенно. И все же мне чем-то по духу ближе взволнованные трепетанья Шмелева. Так и в музыке мне чужда замкнутость и строгость. Впрочем, лучше мне о музыке молчать. Странно! Хорошо знаю живопись, понимаю (говорят, даже хорошо — интуитивной хваткой постигаю) картины, особенно импрессионистов. Много написал о художниках Мира Искусства. Очень дружен с Добужинским. Сам имею с трудом раздобытые оригиналы Остроумовой, Кустодиева, Юона, Апп. Васнецова (брата Виктора В.), Ларионова, Туржанского, Серебряковой, Горбатова, Фалилеева и много вещей Добужинского. Ощущаю пение света, теней, пятен, плоскостей, выпуклостей, привалов. Картина всегда для меня поет, это не застывшая, а длительная музыка. А вот — подите же — при Бахе, Гайде не скучаю. Чужое. Несется что-то мимо. Не постигаю. Не захватывает. Обыкновенно в этом не признаются. А я, вот, откровенно говорю. Серьезная, насупленная, незнакомая мне музыка — скучище. Судите меня, православные.

Адрес Ивана Сергеевича Шмелева (французский адрес, как и французское начертание его фамилии выпущены мной. — Б.). Такое начертание фамилии надо соблюдать. Обласкан я этим прекрасным, почти святительским человеком свыше меры. Он мне пишет почти еженедельно. Знаете ли Вы, что он прекрасный подвижник, иноческий, Нестеровский человек, а не только светлый, честнейший, магически-правдивый писатель! Пишите. Всегда рад Вашему человеческому голосу.

Ваш Сергей Горный.

17.X. (год не указан).

Сердечное спасибо за доброе письмо.

Вы спрашиваете о работе. Я подготовил к печати новую книгу, но хочу, чтобы она отлежалась еще. Она и похожа и непохожа на предыдущую. В ней отшелушено все литературное: она совсем без "лоскутьев". Хотелось ее одно время даже назвать "Без фавулы". Осталось только зерно. То, что я видел, то, о чем я хотел и не смог не сказать. Очень уж неразбавленная, неразжиженная книга. И потому необычная. И потому для читателя — трудная. Но будут единицы, но будут десятки, для коих она окажется нужной книгой. И довольно. По существу пишешь для некой одной неведомой души.

А книга очень (на обычный взгляд) странная. Почти... "наглая"...

Это просто список вещей, которые я встретил на своем отрезке жизни, инвентарь, листы того реквизита, который стоял вокруг, пока я протопился пройти этот отрезок. "Там" вещей не будет. Будет м.б. нечто иное, прекрасное, нами не могущее быть здесь охваченным – или просто черное ничто. Но вещей, вещичек, всего этого мохнатого, шершавого или гладкого, яркого или тусклого, мягкого или твердого мира вещного не будет. И вот в большой толстой книге я делаю смотр складу своей жизни. Так и этого никто не писал.

• • • • •

Сердечно Ваш Сергей Горный.

23 июля (год не указан)

Вы не должны огорчаться уколами и ущемлениями в газетном деле. В некоторых органах, там, где создатели газет бьются, гибнут от безденежья, неизбежны такие явления: невнимание, торопливость, расталкивание локтями. Тут не до церемоний. Лишь бы просуществовать. Это непрерывное хождение по канату над Ниагарой. Вы должны принимать всю эту разухабистость не по-свежему, не по-молодому, а умудренно. Злого умысла, нарочитого желания ущемить здесь нету. А есть гонка, спешка, боязнь издержать лишний доллар (ибо его нету) и испуг перед сотрудниками, вдруг заикнувшимися о долларе, и снова гонка и опять спешка. И.Д. Сытин и его редактора переписывались с сотрудниками аккуратнее – нет спору. Зато и время другое было. Наконец, как всегда и во всем, зависит от личности: один в европейской дисциплине души откликается на каждое недоумение сотрудника, хотя бы и случайного, – у другого нет этой вышколенности, хаос на письменном столе, соответствующий "вихрям" внутри. Таким людям всегда некогда. Со зла они этого не делают. Так, по-рассейски, хламидно. (В скобках): личное мнение: оттого и гибнем, оттого и эмиграция безусловно прозябает; даже не живет, а прозябает... Каждый год идем с крестным ходом и иконами. Водосвятие русской культуры. Толстой, Достоевский (один немец обмолвился – Толстоевский), Репин, Рахманинов, Менделеев, Мусоргский, Павлов, Шаляпин. Потом хоругви прячутся и начинается обывательская жизнь наново. Ни одной организации, которая не переругалась бы с соседней. Ни одной объемлющей идеи, которая как скобкой сомкнула бы эмиграцию. Перепалки парижских газет меж собою. Доцентские покашливания "Современных Записок". Картававший снобизм (э-э-э... пасюште...) "Чисел". Тяжелая шоферская жизнь низов. Письма в редакцию перессорившихся соседей. Младороссы. Крайне правые, ищущие всюду жидомасонов. Левые, до сегодняшнего дня вспоминающие детали открытия Уфимского Учредительного Собрания. Союзы дворян. Союзы смолянок. Все это трогательно. Но где общая скобка? И почему так много вокруг недоброжелателей? Если Вы собьетесь с ноги, не поспевааете рядом, если Вы вне кружка, закуты, "ордена", где сосед хвалит соседа, т.е. "петушки хвалят кукуха" – то вас заклюют, вы отстанете, собьетесь окончательно, вас перестанут замечать, "за-

молчат"... Вывод? Выход? Молодые силы должны начать сами "все сначала". Это и биологически вернее будет. Поэтому лично Вам и тем, кто интимно рядом с Вами, присмотреться поближе к Нац. Союзу Нового поколения. Там на авансцене только молодежь, а люди моего поколения (40-50 лет) сзади, среди "сочувствующих".

Я о Вас лично, как об одаренном человеке, писал председателю Союза Русских Журналистов и Литераторов в Белграде А.И. Ксюнину. Он близок к органу "За Россию". Установите планомерный контакт. Напишите ему, сославшись на меня. Скажите, что, мол, интересуетесь работой Союза Нового Поколения...

Пишу это лично Вам. Если будете когда-либо писать "Из Дневника", можете процитировать, если захотите, мои слова, но не вздумайте писать, что, мол, это слова Сергея Горного. Я не желаю навязывать врагов. Скажите, что, мол, это реплика Вашего знакомого из Парижа. Вернее будет. Много злобы вокруг. Обывательского шипения. Перепадок. Кухонного угара. Чада. Это Чебоксары, а не столица эмиграции. Вам, свежим и идущим на смену, незачем идти по этим колдобинам. Берите свой путь. Не "плюйте" на отцов. Это душевно-неоправданно и недопустимо. Среди них есть и все понимающие. Но не берите их с собой. Идите сами. Без монпарнасского выверта и парижских дерзаний под Мариенгофа... , вне накуренных кофеен. В здоровом ритме.

.....

Душевно Ваш Сергей Горный.

18 апреля (год не указан).

"Как все странно," – кончаете Вы раздумчивой, нерешительной строчкой свое письмо – словно неохотно отрывая пальцы от клавиш. Вы пишете о Вашем брате (ужасно, ужасно), о себе, о "Сатириконе", о дальнем детстве, о нашей дружеской переписке. По существу я должен был бы написать о внутреннем смысле этих Ваших строк, но мне хочется сказать Вам, дорогой П. П., об их безупречной, музыкальной текучести, об их ненарочитой, не-"литературной", а безукоризненной инструментовке. Знаете почему? Потому что для меня "настояще-интимное", подлинное, внутреннее (ценность души) неотрываемо слито с певучестью "сказавшегося слова". Если я дружеское письмо разбираю, то это во мне говорит не эстет, не профессионал-писатель, а некий тайновидец. Не нахожу другого слова. Вынужден так сказать, хотя это и не скромно. Это самое лучшее письмо из всех Вами написанных. Видите ли, дорогой П. П., я получаю десятки, сотни писем. Много "проминентов", генералов от литературы, науки и пр. ко мне благоволят (особенно Шмелев). Со многими я связан неразубимыми, крепчайшими узами (Тэффи, Крымов). По своему "европеизму", отсутствию растрепанности в быту, врожденной "немецкой" аккуратности, уживающейся с писательской дрожью, странно, я на все письма отвечаю. Не ответить – это как не ответить на поклон встречного на улице. Еще хуже. Много хуже). Но над Вами я сделал "стойку". В Вас, незнакомом, случайном, я безошибочно почувствовал настоящее. Я Вам предсказываю хороший

"разворот". Это неважно, что еще порой Вы "не так" умеете, что Вы м.б. в критических очерках идете ощупью. Это неважно. Вы это пополняете. Важно другое. Уменьше, тембр писательского голоса придут со временем. Главное, что у Вас есть что-то очень настоящее в душе. И я это окончательно почувствовал в музыкальнейшем последнем абзаце, в нем есть что-то от реквиема, Ваш брат – Гайдн..., память о Питере, Сатириконе...: последняя фраза: "как странно все"... Я часто делал стойку над людьми, как психологическая гончая. Никогда не ошибался. Таким образом "открывал" несколько раз артистов. Писать Вам, помогать Вам, подбадривать, заряжать – стоящее дело, творческое дело. Это потом все отплотится. В Вас настоящая (и смелая) душа. Исходя из нее я веду свое "предсказанье", а не из Ваших "оказательств". Хотя и они порой безупречны (напр. Ваше последнее письмо)... Вы выбьетесь, я знаю это...

Обнимаю, Сергей Горный.

12 мая 35г.

.....

Читали ли Вы в свое время статью одареннейшего Петра Пильского обо мне? Я снял с вырезки фотографию и шлю ее Вам. Если будете когда-либо писать критическое обозрение, литературную "сводку" или т.п. – используйте эту замечательную по проникновенности характеристику в выдержках.

.....

Спасибо за добрый вопрос о моем здоровье: старые рубцы болят меньше, но все же мешают подниматься по лестнице и ноют в дождь...

Неизменно Ваш С. Г.

## ДОБРОЙ ВСТРЕЧИ!

*Редакция "Современника" всегда рада открытию для своих читателей новых для них литературных имен. В этом номере мы помещаем подборки стихов Марии Волковой и Михаила Крепса, которые впервые печатаются на страницах нашего журнала.*

*Стихи Марии Волковой подкупают своей лиричной звонкостью и простотой; в них чувствуются интонации высокой, психологически богатой поэзии, вызывающие в памяти имена Тютчева и Заболоцкого, Ахматовой и недавно умершего Дмитрия Кленовского. При всем этом у Марии Волковой – собственный голос, который – мы уверены – прозвучит в унисон многим чувствам многих наших читателей.*

*Михаил Крепс как поэт в большей степени тяготеет к современной фактуре стиха. Его образность изощрена и достаточно оригинальна; мысль отмечена зрелостью вдумчивого наблюдателя. Стихи его в равной степени много говорят и сердцу и уму, а это такое соединение, которое одно уже выдает бесспорно талантливого поэта.*

*Не сомневаемся, что дебют на страницах "Современника" Марии Волковой и Михаила Крепса станет приятным событием для читателей журнала.*

МАРИЯ ВОЛКОВА

### ГРУСТЬ

Не отгадать, не объяснить,  
Когда и как она приходит.  
Ее таинственная нить  
В уме, и в чувстве и в природе.

Между началом и концом  
Она как будто связь живая  
И в ткани жизни серебром  
И лунным светом отливает.

Она тонка, она крепка,  
Ее узор красив и вечен,  
Путь юноши и старика  
Им одинаково отмечен.

Земное счастье перевив,  
Она чем глубже, тем прочнее.  
И лучший творческий порыв  
Прекраснее в союзе с нею.

## ПОДРУГА

Я Бедности совсем не сторонюсь,  
Радушно, без обид ее приемлю.  
Она давно, давно сошла на землю  
С сестрой своей, которой имя Грусть.

Не затемнит она далеких звезд,  
Но укротит ненужные порывы,  
И почва черствая ее древнейшей нивы  
Дает душе прямой и долгий рост.

Я перемен в судьбе своей не жду,  
Да и с каким иным сравнится благом,  
Что вот могу идти небыстрым шагом  
С несильными, с негромкими в ряду!

Любовь ко мне под строгостью тая  
На всех буграх и скатах лихолетий  
Ты мне была поводырем на свете,  
Подруга богоданная моя!

## КНЯЖЬИ ОЧИ

*(Из цикла "Сестры вдали и вблизи").*

Молча поднесла воды напиться  
И слегка с поклоном подалась.  
"Спаси Бог, красавица-девица",  
Отдавая чашу, молвил князь.

Был он грустен, тяжело озабочен,  
Не сошел с коня набраться сил,  
Но свои задумчивые очи  
Все ж на миг на ней остановил.

Лишь на миг... что значит миг единый?  
Есть ли у него над сердцем власть?

Подан знак – и вот уже дружина  
На рысях за князем понеслась.

Вдоль дороги, вдоль ее обочин  
Пыль тянулась, распаялся зной.  
Никого... И только княжи очи  
Будто здесь и светят ей одной!

Девушка, да полно! Что с тобою,  
Отчего сама ты не своя?  
Притаилось счастье непростое  
В уголке несчастного житья!

Легкой доли сердце не пророчит:  
Бабий век да гарь избы курной...  
Но из этой теми княжи очи  
Будут ей сиять – лишь ей одной!



МИХАИЛ КРЕПС

\* \* \*

Потолок. Кулаки кровожадные ламп –  
Голубого столетья наследство.  
Справа – вжившийся в чад сковородок эстамп,  
Слева – вешалка, впавшая в детство.

Взбаламученный, взбалмошный, бальный рояль,  
С малолетства приученный к тряскам,  
Переездам, скандалам, нечистым делам,  
Возбужденным телам и подвязкам.

Глухота шуплых стен, бледных, как полотно,  
Выдающих разлад за беспечность,  
Но смотрящее в звездное небо окно,  
Но окно, выходящее в вечность.



\* \* \*

Нелепица восторга незнакомого,  
Внезапная опёрнность юнца –  
Не может жить надежда законная  
В покорности статистике конца,

Оперенного юношества бперность,  
И новшества стремительный намек,  
Прогулки и убийственная чопорность,  
Которой вдохновенье невдомек,  
А вдохновенье ласточкою лепится  
На самый верхний, ветренный карниз,  
И вверх взмывает легких слов нелепица,  
Та, что должна бы падать камнем вниз.

\* \* \*

Примет земной любви так зыбки очертанья,  
Глубинное воспеть опять напрасно тшусь,  
Поймет ли кто-нибудь безмерность расстоянья  
От самых громких слов до самых тихих чувств?

Любимых не поют – их бережно пронесят  
На солнечных руках рассвета по весне,  
Любимых не поют – у них прощенья просят  
И прячут от веков в немой голубизне.

\* \* \*

Пытка прбводов: жест проводбв,  
Увлекающий вдаль электричку,  
Шевеленье беззвучное ртов,  
Нарушающих глаз перекличку.

Монотонны прощанья слова,  
И не жарки, а жалки объяття,  
Миг – растает в толпе голова,  
Раствориться в проталинах платье,

Миг – падет на платформу ничком  
Слов привычных нагая никчемность,  
Миг – и перед соленным зрачком  
Встанет зримого мира огромность.

## РУССКАЯ ОХОТНИЧЬЯ

*М. Хордасу*

У меня собака лайка,  
Огневая балалайка,  
Быстроглазая хозяйка,  
Наливай-ка мне вина!  
День безоблачен и сочен,  
Штрих ветвей небрежно точен,  
Лес рекою оторочен,  
За рекой гора видна.

Мы найдем еловых шишек,  
Напечем румяных пышек,  
Улюлюканье мальчишек  
Встретит звонкий лайкин лай.  
Мы у ног пушистых елей  
Вспомним свист былых метелей,  
И скрипенье коростелей,  
Удивленных невзначай.

Как же это в самом деле  
Так беспечно прогудели  
Эти пестрые недели,  
Эти быстрые года, —  
Пили, ели, песни пели,  
До утра костры горели,  
Искры легкие летели  
В голубое "навсегда".

Ели, ели, вы очнитесь,  
Еле-еле покачнитесь,  
Хоть на время подчинитесь  
Зову ваших хвойных глаз.  
Но глаза у елей колки,  
Взгляды остры, как иголки,  
Вниз из-под зеленой челки  
Смотрят ёлки зло на нас.

Опадает тихо хвоя,  
Было трое, стало двое,  
Лайка, лайка, что ж такое?  
Почему такой разлад?  
Лайка, лайка, ты не лай ка.

Разлюбила нас хозяйка,  
Огневая балалайка  
Балалаит невпопад,

\* \* \*

Мягкой черной громадой обрушилась ночь на меня,  
Разговор тополей лихорадочен, сбивчив и жарок,  
И кривыми руками акации машут, маня  
Прочь от пыльного зноя мостов, тротуаров и арок.

Полюбив этот город ажурный и сине-стальной,  
Красоту долгожданного южного лета осилив,  
Мне представить легко, что вон там за соседней стеной  
Пламенеют снега голубой и далекой России.

Насмотревшись за день на туманный морской окоём  
Ускользнув от нагих площадей, закоулков, проходов,  
Мне услышать легко за потухшим узорным окном  
Звук грудных голосов нижеволжских речных пароходов.

Даже кажется мне, что я здесь и влюблялся и рос,  
Только все ж иногда (благодарен тебе, близорукость)  
Мне привидится сквозь теньевую сумятицу роз  
Тонконогих ржаных васильков беспризорная хрупкость.

Чем, туманная ночь, заплатить мне тебе за постой?  
Чем задобрить тебя (чтоб меня торопила не слишком),  
И идти наобум за своей путеводной звездой  
В те края, о которых до этого знал понаслышке.

И опять в этом городе бархатном, гулком, глухом  
Оценить знаменитого зодчего каменный почерк,  
И опять до рассвета, всю ночь просидев над стихом,  
Вспоминать между строк запах горьких сиреневых почек.



ОНИ ТВОРИЛИ ВМЕСТЕ

*... Жалко,  
Что прошлое смеется и грустит,  
А злоба дня размахивает палкой.  
Б. Пастернак*

1.

Сейчас, когда я пишу о Булгаковых, за моим окном глухо стучит дождь. Несмотря на раннее утро, в кабинете горит свет. На улице сумрачно, и небо серое, и соседние дома кажутся серыми, и все вокруг серо. Смолкли детские голоса. Даже говорливые соседки перестали ссориться. Их утихомирил дождь. Можно подумать, что жизненный ритм навсегда замер.

Почему-то захотелось перелистать пожелтевшие от времени томики Метерлинка.

В 1908 году бельгийский поэт и философ Морис Метерлинка написал "Синюю птицу" – смешной и грустный, лиричный и мудрый рассказ о приключениях брата и сестры, ищущих Боготворную Синюю Птицу, приносящую людям Счастье.

Давно уже нет Метерлинка, вечным сном покоится и К.С.Станиславский, блестяще поставивший на сцене Художественного Театра эту волшебную и вечно юную сказку.

Пожалуй, только одному из смертных посчастливилось найти Свою Синюю Птицу, но из-за злого Рока ему не удалось ее удержать...

Кто же он?

Обессмертивший свое имя и проживший совсем короткую и полную неоправданной тоски жизнь? Создавший шедевры, равные "Капричос" Гойи, "Гаргантюа" Рабле, "Дон Кихоту" Сервантеса?

2.

В 1923 году издательство "Гриф" выпустило книгу С.Цвейга "Роман Роллан. Жизнь и творчество." В дневнике Михаила Булгакова имеется надпись, сделанная наспех чернильным карандашом:

"Полученного гонорара едва хватило на приобретение книги Стефана Цвейга. Не отрываясь, прочел два раза. "Кто не замыкается в себе, кто не ощущает избытка в своей натуре, кто не изливается, не переливается, кто не выплескивает через край своего "я" часть жи-

ненной силы навстречу будущему, бесконечности, тот хотя и человек, но не подлинно живой. Бывает умирание раньше смерти и жизнь, выходящая за пределы личной жизни: не смерть означает настоящую грань, отделяющую нас от небытия, а угасание деятельности. Только в творчестве жизнь". Как сильно сказано!" (1).

\* \* \*

Мне довелось увидеть множество различных спектаклей, поставленных режиссерами разных школ, да и актеров я повидал на своем веку немало. Но самое сильное впечатление осталось от "Дней Турбиных". Эту Драму-Правду видел подростком, потом юной и совсем уже взрослым, перешагнув через смертоносный порог Второй мировой войны

В 1946 году кто-то из друзей принес расплывающийся Альманах "Недра" с рассказом М.А. Булгакова "Роковые яйца". Хохотал неудержимо. Вместе со мной весело смеялись мама и сестра. До шемящей боли в сердце жаль было расставаться с таким редкостным сокровищем. Знакомая машинистка согласилась перепечатать за два пропуска в Дом кино. Так я стал обладателем первой "самиздатовской" папки. В том же году в Литературном музее познакомился с Е.Ф. Никитиной – издателем, литературоведом, собирателем и хранителем удивительных литературных сокровищ. Не сразу на первый взгляд суровая, невозмутимая женщина распахнула передо мной двери своего дома. Не всякий смертный мог попасть на знаменитые "Никитские субботники", где сидела и с удовольствием "распивала чай" в самые трудные годы именитая, отборная литературно-театрально-художественная Москва. Здесь читались и обсуждались романы, повести, рассказы; поэты знакомили почтенную, умудренную опытом публику с поэмами и стихами; композиторы показывали новые песни, они приводили с собой молодых, полнорудых, заранее рассчитанных на успех, певцов, актеры московских театров играли отрывки из только что поставленных спектаклей, открывенничая, кинорежиссеры делились творческими планами...

Евдоксия Федоровна внимательно приглядывалась ко мне, душа ее постепенно оттаивала... Мы дружили домами почти четверть века. У нее я впервые прочитал булгаковские пьесы с его пометками и правками. А после смерти Сталина, во времена призрачной "оттепели", Никитина разрешила снять копию с письма Булгакова, адресованного советскому правительству. Со дня его написания прошло 47 лет, но оно актуально и сегодня, на 60-м году бесчеловечно-смертоносного, проклятого миллионами "октября". Вот строки из письма, – одного из самых ярких обличительных документов-Исповедей XX века:

"... Созревшее во мне желание прекратить мои писательские мучения заставляют меня обратиться к правительству СССР с письмом правдивым.

... Я доказываю с документами в руках, что вся пресса СССР, а с нею вместе и все учреждения, которым поручен контроль репертуара, в течение всех лет моей литературной работы единодушно и с необык-

новенной яростью доказывали, что произведения М. Булгакова в СССР не могут существовать.

... Нынче я уничтожен. Уничтожение это было встречено советской общественностью с полной радостью и названо "достижением".

... Я прошу принять во внимание, что невозможность писать равносильна для меня погребению заживо.

... Я прошу правительство СССР приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР.

... Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя в отечестве, великодушно отпустить на свободу". (2).

### 3.

*Я хочу все забыть, как будто  
ничего не было.*

*М. Булгаков, "Бег".*

Премьера "Дней Турбиных" в Московском Художественном театре состоялась 5 октября 1926 года. Булгаков принимал самое активное участие в подготовке этого спектакля.

"Вот из него (Булгакова – Л.Г.) может выйти режиссер. Он не только литератор, но и актер. Сужу по тому, как он показывал актерам на репетициях "Турбиных". Собственно – он поставил их, по крайней мере, дал те блестящие, которые сверкали и создавали успех спектаклю". (3).

После "очередной" премьеры "Турбиных" Булгаков пишет близкому другу:

"Пьеса была показана 18-го февраля (1932 г. – Л.Г.). От Тверской до Театра стояли мужские фигуры и бормотали механически: "Нет ли лишнего билетика?" То же было и со стороны Дмитровки.

В зале я не был. Я был за кулисами, и актеры волновались так, что заразили меня. Я стал перемещаться с места на место, опустели руки и ноги. Во всех концах звонки, то свет ударит в софитах, то вдруг, как в шахте, тьма, и загораются фонарики помощников, и кажется, что спектакль идет с вертящей голову быстротой. Только что тоскливо пели петлюровцы, а потом взрыв света, и в темноте вижу, как выбежал Топорков и стоит на деревянной лестнице и дышит, дышит... Стоит тень 18-го года, вымотавшаяся в беготне по лестницам гимназии... Потом вдруг тень ожила, спрятала папаху, вынула револьвер и опять скрылась в гимназии. (Топорков играет Мышлаевского первоклассно).

Актеры волновались так, что бледнели под гримом, тело их покрылось потом, а глаза были настороженные, выпрашивающие.

Когда возбужденные до предела петлюровцы погнались Николку, помощник выстрелил у моего уха из револьвера и этим мгновенно привел меня в себя.

На кругу стало просторно, появилось пианино, и мальчик-баритон запел эпиталаму.

Тут появился гонец в виде прекрасной женщины. У меня в последнее время отточилась до последней степени способность, с которой очень тяжело жить. Способность заранее знать, что хочет от меня человек, подходящий ко мне...

Я только глянул на напряженно улыбающийся рот, и уже знал: будет просить не выходить...

Гонец сказал, что Ка-Эс (4) звонил и спрашивает, где я и как я себя чувствую.

Я просил благодарить – чувствую себя хорошо, а нахожусь за кулисами и на вызовы не пойду.

О, как сиял гонец! И сказал, что Ка-Эс полагает, что это мудрое решение.

Особенной мудрости в этом решении нет. Это очень простое решение. Мне не хочется ни поклонов, ни вызовов...

Занавес давали двадцать раз. Потом актеры и знакомые истязали меня вопросами – зачем не вышел?" (5).

23 февраля 1932 года Булгаков записывает:

"Не могу оторваться от Метерлинка. Утверждаю, – он больше философ, чем драматург. Его "Погребенный Храм" – классическая философия.

Когда грекам, бессильным перед Троей (говорит Метерлинк – М. Б.) нужна была помощь и яркое знамение, они вырвали у Филоктета лук и стрелы Геракла и бросили его нагого, больного, безоружного на пустынном острове; и это была таинственная справедливость, высшая, справедливость человеческая, и это было веление богов. А Мы, когда справедливость кажется нам полезной, требуем ее во имя будущей расы, во имя человечества, во имя родины. И, с другой стороны, когда большое несчастье поражает нас, то нет более справедливости, нет более богов; но если она поражает нашего врага, вселенная мгновенно населяется невидимыми судьями. И если нам досталось счастье, неожиданное и незаслуженное, мы охотно воображаем, что в нас были добродетели, скрытые до того, что мы сами не знали о них, и мы радуемся более тому, что их обнаружили, чем счастьем, которое они доставили нам". (6).

Через всю творческую жизнь Михаила Булгакова проходит черной тенью зловещая скелетообразная фигура Осафа Литовского (7), главного театрального цензора. Личный друг всемогущего Вышинского, он, как никто, умел свои мысли окрашивать в "чужой" цвет. Любое новшество на театральных подмостках он иступленно давил. Листаю подшивку газеты "Комсомольская правда" за 1926 год, номер от 10 октября. Выдержка из статьи О.Литовского:

"Белая гвардия" – "Вишневый сад" белого движения. Какое дело советскому зрителю до страданий внутренних и внешних эмигрантов о безвременно погибшем белом движении? Ровным счетом никакого. Нам это не нужно."

12 октября 1926 года, страдая от бессонницы, Булгаков делает следующую запись:

"...Разве я кому-нибудь сделал больно? За что меня так терзают, пинают, топчут каблуками, имя мое смешивают с липучей тиной? На премьере "Турбиных" О.Л. (Осаф Литовский – Л.Г.) в присутствии Станиславского, Немировича-Данченко, Судакова, Качалова более чем темпераментно сжимал пальцы моих рук, благодарил от имени... и всяческих имен...и в одно и то же время обливает мою душу нечистотами. Как после этого жить???"(8).

Время не властно списать в небытие Подлинное Искусство.

Через сорок один год критик Нелли Зоркая напишет:

"Люди нашего поколения смотрели "Дни Турбиных" подростками. Тогда уж, конечно, и не вспоминались былые страсти вокруг пьесы... Для нас спектакль был дорогим и особым миром. "Дни Турбиных" с их меньшей для нас исторической отдаленностью, казалось, соединили в себе классику и современность...

И "Дни Турбиных" остались воспоминанием о том МХАТ, который был для нас учителем жизни". (9).

#### 4.

*Тебя, как первую любовь,  
России сердце не забудет!*

*Ф.Гютчев.*

В конце декабря 1960 года Евдоксия Федоровна Никитина посвятила "Субботник" – Театру Михаила Булгакова. Председательствовал народный артист СССР, доктор искусствоведения, профессор Василий Осипович Топорков. Открывая вечер, он сказал:

–Как-то мы встретились с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым за кулисами МХАТа – разговорились. Я вспомнил один забавный случай. Рассказ понравился писателю.

–Почему не напишете об этом? – спросил он.

–Но... я не умею.

–Чего ж тут уметь? Пишите так, как рассказываете.

Именно так и писал Булгаков. Писал – как говорил. А рассказывал поистине мастерски. Обладая природным юмором, он так хитро и умно подстраивал "ловушки" для разжигания нетерпеливого любопытства слушателя, что невозможно было предугадать – к печальной или веселой развязке клонится его повествование. Нельзя забыть рассказ о его первом дебюте в литературе, который стал уже хрестоматийным. Голодный, иззябший, без гроша в карманах рваной солдатской шинели, принес Булгаков редактору какого-то журнала свой первый литературный опус – последний шанс на спасение. Принят был сухо. Редактор через заячью губу бросил:



—Через неделю.

—А неделю-то надо прожить!

Через неделю с прыгающим сердцем и ноющим желудком, еле держась на ногах, входит начинающий автор в кабинет, и... о чудо! Прием совсем другой. Редактор выскакивает из кресла, хватая его за руки, восклицает:

—Амфитеатров!.. Амфитеатрова знаете?

—Н-н-нет, — запинаясь, произносит автор.

—Неприменно прочтите. Вы же пишете почти как он. Дорогой мой! Талантище!

—Значит, фельетон понравился?

—Что за вопрос! Гениально!

—Значит, напечатаете?

—Ни в коем случае! У меня семья! — так же, с жизнерадостной сытостью, восклицает шарообразный редактор. —Но непременно заходите! Приносите еще что-нибудь соленькое. До скорого! Амфитеатрова прочтите непременно!

Надо было слышать, как рассказывал это сам Михаил Афанасьевич! Какое впечатление производил он на слушателей неожиданным финалом!

Михаил Булгаков оставил нам много хороших пьес, волею судьбы только четыре увидели свет рампы на сцене Художественного Театра. Не за горами время, когда все пьесы Михаила Афанасьевича получат новое талантливое сценическое решение. (10).

Как всегда, интересно говорил Паустовский. Слушатели не сводили глаз с него — маленького и сухощавого, сутуловато сидевшего за столом.

—Я учился вместе с Булгаковым в Первой Киевской гимназии. Уже тогда в рассказах Булгакова было много жгучего юмора, и даже в его глазах — чуть прищуренных и светлых — сверкал, как нам казалось, некий гоголевский насмешливый огонек. Миша весь был наполнен шутками, выдумками, мистификациями. Все это шло свободно, легко, возникало по любому поводу.

Булгаков не случайно стал одним из крупнейших русских драматургов. Повинен в этом тот же Киев — город театральных увлечений. В городе была хорошая опера, украинский театр со знаменитой Заньковецкой и драматический русский театр Соловцова — любимый театр молодежи. Гимназисты могли ходить в театры только с письменного разрешения инспектора. В те времена в театре играли такие актеры, как Степан Кузнецов, Полевицкая, Радин, Юренева. Репертуар был разнообразным — от "Горя от ума" до "Ревности" Арцыбашева, от "Дворянского гнезда" до "Мадам Сен-Жен". Самый воздух театра действовал на нас опьяняюще.

Свой тяжелый сон отбарабанил девятнадцатый век, приближался двадцатый. Но в театре сохранилось многое от старины, начиная от самого здания с его сводами и кончая занавесом с золотыми лирами.

Черты старинного театра я узнал в одной из пьес Булгакова, в первой же его ремарке, когда поднимается занавес старого французского театра и теплый сквозной ветер гнет в одну сторону пламя свечей, зажженных на рампе. В лаконичности и точности этого образа – вся внешность старинного театра...

Любовь к театральному зрелищу, к хорошей актерской игре была у Булгакова так сильна, что, по его собственному признанию, от великолепной игры у него от наслаждения выступал на лбу мелкий пот. С необыкновенной выразительностью он мог показать любого героя своих рассказов, повестей, романов. Он их видел, слышал, знал насквозь. Сила видения своего вымышленного мира и привела Булгакова к драматургии, к театру. Я помню Михаила Булгакова в единственной его роли на сцене МХАТ – в роли судьи в "Пиквикском клубе". (11). В этой небольшой роли Булгаков довел гротеск до необыкновенного блеска.

У Булгакова была странная и тяжелая судьба. В то время, о котором я здесь говорю, МХАТ играл только его старые пьесы. Новая пьеса "Мольер" была запрещена. По злому умыслу перестали печатать его прозу. Михаил Афанасьевич очень страдал и, наконец, написал письмо Сталину, полное высокого достоинства русского писателя. В письме он настаивал на единственном и священном праве писателя – праве печататься. Ответа он не получил. Булгаков тосковал. Он не мог остановить своих писательских мыслей. Не мог выбросить на свалку свое воображение. Худшей казни нет и не может быть для пишущего человека. Лишенный возможности печататься, он выдумывал для близких удивительные рассказы – и грустные, и шуточные. Он рассказывал их дома, за чайным столом. Я помню один такой рассказ.

Булгаков, якобы, пишет каждый день Сталину длинные и загадочные письма и подписывается "Тарзан". Сталин каждый раз удивляется и даже несколько пугается. Он любопытен, как и все люди, и требует, чтобы Берия, или как он его называл, – Малюта Скуратов, немедленно нашел и доставил к нему автора этих писем. Сталин сердится: "Развели в органах всяких туеядцев, одного человека словить не можете!" Наконец, Булгаков найден и под усиленным конвоем доставлен в Кремль. Сталин пристально, даже с некоторым доброжелательством, его рассматривает, раскуривает трубку и спрашивает, не торопясь:

–Значит, это вы мне письма пишете?

–Да, я, Иосиф Виссарионович.

Молчание.

–А что такое, Иосиф Виссарионович? – спрашивает обеспокоенный Булгаков.

–Да ничего. Интересно пишете.

Молчание.

–Так значит, это вы – Булгаков?

— Да, это я, Иосиф Виссарионович.

— Почему брюки заштопанные, туфли рваные, носки с дырками? Ай, нехорошо! Совсем нехорошо!

— Да так... Зарботки вроде скудные, Иосиф Виссарионович.

Сталин поворачивается к наркому снабжения Микояну:

— Ты, Анастас, чего сидишь, глаза на меня лупишь? Не можешь одеть человека? Воровать у тебя могут, а одеть одного писателя не могут? Ты чего побледенел? Испугался? Немедленно одеть! В габардин! А ты чего усы крутишь? Ишь, прохвост, какие сапоги на свои кривые ноги нацепил! Снимай сейчас же хромовые сапожки, отдай человеку. Все тебе, скотина, сказать надо, сам ничего не соображаешь!

И вот Булгаков одет, обут, сыт, начинает ходить в Кремль, и у него завязывается со Сталиным неожиданная дружба. Сталин иногда грустит и в такие минуты жалуется Булгакову.

— Понимаешь, Миша, все кричат — гениальный, великий, самый непревзойденный! А не с кем даже коньяку выпить! Душу, Миша, не с кем отвести, все они продажные шкуры!

Так постепенно, черта за чертой, крупца за крупницей, происходит у Булгакова лепка образа Сталина. И такова добрая сила таланта, что образ этот человечен и даже где-то симпатичен. Невольно забываешь, что Булгаков говорит о том, кто принес ему столько горя.

Однажды Булгаков приходит к Сталину усталый, унылый.

— Садись, Миша. Зачем ты грустный? В чем дело? Кто тебя обидел? Назови сейчас же фамилию. Мы любого гражданина сумеем привести в надлежащее чувство.

— Да вот пьесу написал.

— Так радоваться надо, когда целую пьесу один написал. Зачем тогда грустный?

— Театры не ставят, Иосиф Виссарионович.

— А где бы ты хотел поставить?

— Да, конечно, в МХАТе, Иосиф Виссарионович.

— Театры без нашего разрешения допускают безобразия! Не волнуйся, Миша. Садись.

Сталин берет телефонную трубку.

— Барышня! А, барышня! Дайте мне МХАТ! МХАТ мне дайте! Это кто? Директор? Слушайте сюда, это Сталин говорит. Алло! Слушайте!

Сталин начинает сердиться и сильно дуть в трубку.

— Дураки там сидят в Наркомате связи. Всегда у них телефон барахлит. Барышня, дайте мне еще раз МХАТ. Еще раз, русским языком вам говорю! Это кто? МХАТ? Слушайте, только не бросайте трубку! Это Сталин говорит. Не бросайте! Где директор? Как умер? Только что? Скажи, пожалуйста, какой пошел нервный народ!.."

Через четыре года Константин Георгиевич Паустовский подарит мне свою "Книгу скитаний", в которой будет напечатан с небольшими цензурными изменениями устный рассказ Булгакова о Сталине.

5.

*Есть женщины в русских селеньях...*

*Н. Некрасов.*

*Трусость – это самый страшный позор.*

*М. Булгаков.*

Секретарь дирекции Художественного театра Ольга Сергеевна Бокшанская познакомила Булгакова со своей сестрой Еленой, которая имела сына и была замужем за комбригом Шиловским. Молодая женщина произвела на Булгакова ошеломляющее впечатление.

Запись из дневника М. Булгакова:

"Елена Сергеевна – моя судьбинушка. Ни о чем о другом не могу думать. Ее образ будет витать надо мной денно и нощно.

Прогулки наши в сверкающих фонарях азиатских бульваров Москвы, то затененных линиями дождя, то пушистыми ресницами снега, были долгими и прекрасными.

Впервые – я – по-настоящему полюбил! Это всепоглощающее чувство невозможно остановить.

Мы полюбили уединенные бархатные вечера. Мы стараемся не думать о серьезности осенних туч, о молниях и грозах, а они непременно будут..." (12).

Все произошло неожиданно.

В 1930 году она сама пришла к Михаилу Афанасьевичу с небольшим чемоданчиком. Мужу оставила письмо, просила ее простить и правильно понять. Четвертого октября 1932 г. Елена Шиловская и Михаил Булгаков официально зарегистрировали свой брак. 27 октября Булгаков пишет Елене Сергеевне из Ленинграда:

"Ленушенька, судьбинушка моя несравненная, спасибо, родная, за доверие, за добрую верность. Тороплюсь поскорее все закончить и в Москву, видеть Тебя хочу... Трудно, ой, как трудно, без Тебя, Ленушенька..." (13).

6.

*Кто не любит радости человека –  
не любит и самого человека.*

*Вас. Розанов.*

Паустовский предложил сделать радиопередачу о Булгакове и вызвался представить меня Елене Сергеевне, с которой я уже был немного знаком.

В условленный час с букетом нежно-розовых гвоздик я пришел на

Тверской бульвар. Хозяйка булгаковского дома встретила нас радушно. — Вы во-время пришли, — сказала она, — я пригласила на обед гостящую в Москве Анну Андреевну Ахматову и моего друга пианиста Святослава Рихтера.

Булгакова занимала небольшую, но очень уютную двухкомнатную квартиру. В гостиной, в огромной черно-коричневой раме, висел овальный портрет Булгакова, работы Родченко. Во второй комнате — спальне — стоял старинный венецианский пюпитр, такое же кресло, в углу — железный сейф.

— Вот за этим пюпитром любил работать Михаил Афанасьевич, — просто сказала Елена Сергеевна. — В этом сейфе хранится архив Булгакова: романы, повести, рассказы, фельетоны, либретто опер, пьесы, черновики, дневники, записи разных лет, письма, рецензии.

Пришел малоразговорчивый Рихтер.

— Нина Львовна (14) занята в консерватории, она просила передать вам эти духи, набор ручек "Паркер" — от меня. — Смущаясь, Рихтер застенчиво улыбнулся.

Позвонила Ахматова, сказала, что из-за простуды не сумеет приехать. Просила передать привет Паустовскому.

Елена Сергеевна с большим вниманием отнеслась к нашему предложению. Договорились, что передачу будет вести Топорков, что в ней примут участие артисты Художественного театра — Тарасова, Яншин, Прудкин, Кторов, Степанова; доктора искусствоведения Бояджиев и Марков; писатели Каверин, Паустовский, Катаев, Шкловский, Миндлин.

Елена Сергеевна задумалась:

— Есть писательские фамилии, о которых я не хочу слышать, — проговорила она жестко. — Я категорически против Никулина, Безыменского, Литовского, Дымшица. Вообще трудно сказать, любили ли люди Булгакова. Любили его только те, кто знали, понимали, разгадывали, охватывали его громаднейшую, выпирающую из берегов личность. А на это были способны очень немногие: Булгаков просто не давался. Михаил Афанасьевич любил людей больше, чем они его.

После обеда Рихтер сел за фортепьяно.

— Буду играть Рахманинова и Моцарта.

В игре Святослава Рихтера есть неземной огонь, какой-то особый фосфор, что-то неведомое и глубокое. Буквально с каждой секундой он все больше и больше вдохновлялся, глаза его полыхали неугасимым пламенем. Лицо мое было залито слезами радости от встречи с чудесным волшебником. Я посмотрел на Паустовского, он украдкой вытирал увлажненные глаза.

Полгода ушло на то, чтобы подготовить двухчасовую радиопередачу "Театр Булгакова". Я написал сценарий, режиссировал Василий Топорков. Как самоотверженно, не считаясь со временем, работали актеры! Катаев, сославшись на нездоровье, отказался участвовать в передаче. Эмилия Львовича Миндлина не "утвердила" цензура. Набывчившись, наклонив полированную голову, Виктор Шкловский проговорил

скороговоркой:

– Михаил Булгаков не мой писатель. Более тридцати лет назад в книге "Гамбургский счет" я писал: – "В Гамбурге – Булгаков у ковра". Могу писать о Толстом, Коста Хетагурове, Минине и Пожарском, художнике Федотове, ОПОЯЗе, Эльзе Триоле, Эйзенштейне, Мичурине, Циолковском...

Снова из мутной тины выплыли злые силы.

Передачу забраковали за два дня до выпуска в эфир. Пленка в архив не попала, ее хотели смыть. За бутылку коньяка мне удалось унести ее со студии.

Участников передачи Елена Сергеевна пригласила к себе на ужин. У нее было щедрое сердце и она умела дружить с людьми. Бокал с шампанским первым поднял Василий Осипович Топорков:

– Сегодня здесь собрались самые верные друзья и почитатели Булгакова. Скоро, совсем скоро пробьет час его воскресения. Пьесы Михаила Афанасьевича увидят свет рампы, а ни одна из его книг не пролежит на прилавках книжных магазинов и пяти минут!

Бледная, потускневшая Елена Сергеевна просила гостей не уходить

– Сегодня мне особенно грустно. Больно, и очень страшно справлять тризну о неосуществившейся мечте.

Мы пригласили Елену Сергеевну на день рождения сына. Она принесла Жене много подарков, а нам с Лидой – переплетенные булгаковские рукописи: "Белую гвардию", "Записки юного врача", "Театральный роман".

– Вам поверила с первых минут. Хочу, чтобы вы смогли познакомиться с Булгаковым-писателем, с Булгаковым-художником.

Лида попросила Елену Сергеевну рассказать о Булгакове. У нее было хорошее настроение и она согласилась выполнить просьбу жены.

– Немирович-Данченко предложил Булгакову написать драму по мотивам романа "Белая гвардия". Его первую драматургическую ласточку – "Дни Турбиных" несколько раз снимали и всегда по "соответствующему указанию" со скрипом восстанавливали. С пьесами ему вообще не повезло. В 1926 году он написал искрящуюся комедию "Зойкина квартира", она шла в постановке Алексея Попова в театре имени Вахтангова. Репетком запретил пьесу. В "Художественном" сняли "Бег", совершенно готовый спектакль. Такая же участь постигла "Багровый остров" у Таирова в Камерном. Вы спросите почему? Появилась плеяда "современных" драматургов: Леонид Леонов, Константин Тренев, Николай Погодин, Борис Ромашов, Владимир Киришон, Александр Корнейчук. Поскольку все они работали по "социальному заказу", их драматургия была – бездушной, бесстрастной. Булгаков для них был и н о з е м ц е м (разрядка моя – Л.Г.). Бесталанным людям всегда легче объединиться, чем талантливым. Вот они и стали легально и нелегально давить Булгакова. Когда мы сошлись, в наш дом пришел голод. Все, что Миша накопил, пришлось продать. Дожили до того, что у

Михаила Афанасьевича остался единственный черный выходной костюм и одна белая рубашка, которую я ежедневно стирала. На работу его никуда не принимали. Газеты и журналы под благовидными предлогами отказывались печатать любые его произведения. В издательствах с ним не разговаривали. В печати началась ничем необъяснимая травля. Критики ополчились против его пьес. Сталин несколько раз приезжал на спектакль "Дни Турбиных". Он любил эту пьесу, но был против "Бургского острова" и "Бега". Этого было вполне достаточно, чтобы уничтожить Булгакова. В эти трагические дни Михаил Афанасьевич решил написать письмо советскому правительству и лично Сталину.

Мы, конечно, знали, что люди, причастные к литературе и искусству, любят разыгрывать своих знакомых. Многие от безделья занимались мистификацией. Но когда в один из таких дней у нас на квартире раздался телефонный звонок, от неожиданности мы вздрогнули. Нам давно никто не звонил. Я сняла трубку. Булгаков был нездоров, он лежал на диване, укутанный пледом. Я тихо спросила:

— Кто спрашивает Михаила Афанасьевича?

В ответ услышала резкий, молонятный, гортанный голос:

— Сталин.

Растормошила мужа.

— Мишенька, родной, у телефона Сталин, скорей подойди.

— Не верю! Не может быть! Нас, идиотов, разыгрывает какая-то непотребная сволочь.

Многие в Москве знали про булгаковское письмо.

Булгаков подошел к телефону. Нервно крикнул:

— Кто говорит?

— Сталин.

Михаил Афанасьевич недоверчиво:

— Какой еще Сталин?

— Насколько мы понимаем, товарищ Булгаков, в Советском Союзе имеется единственный товарищ Сталин — Иосиф Виссарионович. Возможно, у вас имеется несколько Сталиных?

— Простите, Иосиф Виссарионович, я вас слушаю!

— Мы получили ваше письмо. Мы что, уж очень вам надоели? Прие-лась вам советская власть? Может быть, действительно отпустить вас за границу?

— Я хотел бы, Иосиф Виссарионович, с вами лично встретиться.

— Для чего? На какую тему мы будем с вами беседовать?

— Не о сапогах и спичках, деликатесах и модных костюмах, о назначении советской литературы, нравственности и совести литератора. Я считаю, что русский писатель не может жить и работать вне родины.

— Правильно говорите, товарищ Булгаков. Вы где хотите работать?

— В Художественном театре, Иосиф Виссарионович.

— Против этого мы не будем возражать. Попробуйте утром подать заявление на имя директора театра.

— Я уже туда ходил, мне отказали.

– Видимо, товарищи сделали ошибку. Думаю, что теперь они раскаиваются. Не стесняйтесь, товарищ Булгаков, зайдите еще раз. Если не получится, напишите нам.

– Спасибо, товарищ Сталин.

– До свидания, товарищ Булгаков, желаю вам успеха.

Мы сразу же записали по памяти этот разговор. Спать, конечно, не ложились. Всю ночь просидели с думами о будущем. Утром Миша побрился, выпил стакан чаю с хлебом, почистил ботинки. Он собирался выполнить указание вождя и учителя, но его опередили. Прибежал запыхавшийся директор-распорядитель МХАТа Федор Николаевич Михальский.

– Михаил Афанасьевич, роднуля, как хорошо, что застал тебя дома. Есть все-таки Бог на свете! Пишите, Мишенька, заявление.

–Куда? Кому? Зачем? – удивленно спросил Булгаков.

–К нам, родной, в Художественный, на имя Владимира Ивановича Немировича. Он ждет вас, Мишенька!

Потрясенный Булгаков написал заявление.

–Федор Николаевич, я же у вас на днях был, вы сделали вид, что меня не узнали.

–Хороший мой, что было, то сплыло. Тогда не мог, ранний склероз, а вот теперь могу. Врач сказал, – склероз – временное явление, он проходящий и ускользающий.

Следом за Михальским пришел к нам представитель отдела кадров Большого театра:

–Товарищ Булгаков, у нас имеется вакантное место ассистента режиссера. Будьте так добры, напишите заявленьце, и мы вас зачислим на постоянную работу без месячного испытания, прямо в штат.

–Спасибо, тронут, но я уже как будто работаю в Художественном.

–В таком случае, мы вас оформим по совместительству...

Режиссер Иван Хрусталев предложил сделать для радио монтаж спектакля "Дни Турбиных". Театр Сатиры заказал пьесу. Издательства прислали Булгакову бланки договоров...Потом опять наступил мрак.

Елена Сергеевна осталась у нас ночевать.

Наступил солнечный воскресный день. Мы отправились гулять на Ленинские горы.

–Расскажу вам еще один эпизод из нашей жизни, – сказала Булгакова.

–Художественным театром управляли три человека. Триумvirат состоял из Станиславского, Немировича-Данченко и заведующего труппой артиста и режиссера Подгорного. Репертком запретил "Дни Турбиных". В связи с этим кассовые сборы в театре резко понизились. Однажды в дирекции театра раздался телефонный звонок. Трубку лениво снял Подгорный:

–Художественный слушает, у телефона заведующий труппой Николай Афанасьевич Подгорный. Кто говорит?



—Сталин.

Подгорный поперхнулся. Позвал Немировича-Данченко, но не успел ему сказать, кто звонит.

—Директор Художественного театра Владимир Иванович Немирович-Данченко вас слушает.

—Говорит Сталин.

Пригласили Станиславского. В таких случаях он всегда был "козлом отпущения".

—Здравствуйте, дорогой Иосиф Виссарионович! У телефона Константин Сергеевич.

—Товарищ Станиславский, пришло время восстановить спектакль "Дни Турбиных".

—Совершенно верно. Согласен с вами. Мы с Владимиром Ивановичем сделаем это с превеликим удовольствием.

—Сколько вам понадобится времени на восстановление?

—Думаем, что годик хватит, Иосиф Виссарионович.

—Мы хотим увидеть "Дни Турбиных" через три месяца. Это контрольный срок.

—Совершенно верно, правильно говорите, товарищ Сталин. Мы поручим эту ответственную и почетную работу Немировичу-Данченко. Владимир Иванович у нас самый оперативный режиссер. Позвольте вас спросить?

—Говорите, товарищ Станиславский.

—Поскольку это внеплановый спектакль, мы сумеем получить дотацию?

—Сколько надо? Назовите сумму.

Станиславский выпалил:

—Семь тысяч, если возможно.

—Дадим десять, ваша скромность нам известна.

Сталин повесил трубку.

Прекрасный актер Станиславский схватился за сердце. Вызвали врача.

—Федю скорей позовите! Федю Михальского!

Михальский склонился над Станиславским, отцом Художественного театра.

—Федя, милый, срочно закажите билеты в Кисловодск. Если есть вечерний поезд, сегодня уже уедем. Со мной поедут Лилина (15), Бокшанская и вы. —Владимир Иванович, — сказал он еле слышно Немировичу, — вы видите, как мне плохо? Выручайте, дорогой! Вам придется взять на себя бразды правления и в срочном порядке восстановить "Турбиных". Работа совсем несложная, в помощники возьмите Судак-кова, за два месяца управитесь. Это просьба товарища Сталина. На этом деле мы с вами заработали десять тысяч рублей. Иосиф Виссарионович перечислит их на счет театра...

*Их жарит горящим жалом,  
Торопит гореть Господь.  
Я вижу в большом и малом  
Водовороты комет...*

*М.Волошин*

Рукописи Булгакова захватили меня целиком.

В Москве выходит довольно много толстых и тонких журналов, имеется множество различных издательств. Куда пойти? С кем начать переговоры? Елена Сергеевна не имела сил ходить и вести переговоры, она ни во что не верила.

Повесть "Жизнь господина де Мольера" с предисловием Бояджиева отнесли в издательство "Молодая гвардия". Через месяц был подписан договор. Книга была издана в серии "Жизнь замечательных людей" (тираж – 150 тыс. экз.).

Елена Сергеевна пригласила нас с Лидой в ресторан. В этот вечер она была необыкновенно счастлива.

—Я рада за Михаила Афанасьевича!

На экземпляре книги она сделала дарственную надпись:

"Я очень рада, что Вы пришли в Булгаковский дом, дорогой Леонард Евгеньевич. Елена Булгакова. Москва – 12.9.1962."

Главным редактором журнала "Москва" был малоспособный писатель Евгений Поповкин (16), но человек с размахом и с колоссальными связями. Не в редакцию, а к нему домой я отнес рассказы – "Записки юного врача". Через неделю мне домой прислали телеграмму с вызовом в редакцию.

С бьющимся сердцем поднялся я на второй этаж старого арбатского дома. Заведующая отделом очерка и публицистики Шапошникова (17), благосклонно одарив меня дежурной улыбкой, попросила срочно подготовить "врезку" о Булгакове.

В майском номере журнала "Москва" за 1963 год появились рассказы Булгакова. Одновременно они были напечатаны в "Огоньке" № 21, а через месяц "Записки юного врача" вышли отдельным изданием в приложении к "Огоньку" (18). На сигнальном экземпляре Булгакова написала:

"Дорогому Леонарду Евгеньевичу Гендлину от Елены Булгаковой. 19.7.1963."

Елена Сергеевна щедро познакомила меня с архивом и литературным наследием Михаила Афанасьевича.

Первоначальный вариант романа "Консультант с копытом" Булгаков впервые прочел друзьям в августе 1928 года. Слушатели – Качалов, Москвин, Бокшанская, Тарханов, Соснин, Топорков.

Сохранилась копия письма Вересаеву и запись в дневнике:

"И лично я своими руками бросил в печку черновик романа о дьяволе."

Я перелистал восемь редакций романа "Мастер и Маргарита".

Поповкин согласился напечатать роман в журнале "Москва" (19). Без ведома Елены Сергеевны были сделаны цензурой чудовищные купюры.

Сначала в Театре им. Станиславского, затем в Художественном снова пошли "Турбины". В Ленинградском академическом театре им. Пушкина и в Московском театре им. Ермоловой с триумфальным успехом пошел "Бег". Пьесы Булгакова стремительно понеслись по российским театрам. Затем появился долгожданный однотомник "Избранного"...

С Еленой Сергеевной мы поехали на Новодевичье кладбище. Она рассказала, как тяжело умирал Булгаков, о последних днях его жизни...

Михаил Афанасьевич умер от гипертонического нефросклероза 10 марта 1940 года. Ему не было пятидесяти лет...

Когда прекращается жизнь, остается только одно – Время... Смерть – переход в небытие, к Вечности. Вечен нерукотворный Подвиг Писателя и Гражданина России Михаила Булгакова. Вечен подвиг его жены и Сподвижника Елены Булгаковой.

Вечны их Творения...

Аминь!..

1. Архив М.А. и Е.С.Булгаковых.

2. Письмо датировано Булгаковым 28 марта 1930 года. Копия, заверенная Е.С.Булгаковой, хранится в архиве автора. Аналогичные копии имеются в музее МХАТ, а также в архиве Е.Ф.Никитиной.

3. К.С.Станиславский. Собр. соч., т.8, стр. 269.

4. Так "за глаза" называли в Художественном Станиславского.

5. Архив М.А. и Е.С.Булгаковых. См. также: Советские писатели. Автобиографии. Т.3. Москва, 1966, стр. 97-98.

6. Архив М.А. и Е.С.Булгаковых. Метерличк. СПб., 1906, т.2, стр.203-204.

7. Литовский Осиф Семенович, род. в 1892 году, драматург и театральный критик. Работал в газетах "Правда", "Известия", "Советское искусство". В 1930-37 гг. председатель Глареперткома – начальник управления по контролю за репертуаром и зрелищами. Автор книги "Так и было".

8. Архив М.А. и Е.С.Булгаковых.

9. Н.Зоркая. "Дни Турбиных". "Театр", 1967, №2, стр.14-21.

10. Стенограмма хранится в архиве автора.

11. Автор инсценировки Н.Венкстери.
12. Архив М.А. и Е.С.Булаковых.
13. Там же.
14. Н.А.Дорлиак, засл. арт. РСФСР, профессор Московской консерватории. Жена С.Рихтера.
15. Лилина (Перовщикова) Мария Петровна. В замужестве Алексеева. Жена К.С.Станиславского. (1866-1943).
16. Е.Е.Поповкин (1907-1968). Бывший чекист.
17. В.Д.Шапшикова – выкормыш КГБ, официальная стукачка. Бывший работник "Литературной газеты". Член редколлегии журнала "Москва". Любовница Михаила Шолохова.
18. Библиотека "Огонек". Приложение №23. М., 1963.
19. Журнал "Москва", №11 – 1966, №1 – 1967. Предисловие К.Симонова. Послесловие А.Вулиса.

Я очень рада, что  
 Вы пришли в Бирга-  
 ковский дом,  
 дорогой Леонард Евгеньевич.  
 Елена Булакова

Москва  
 12.9.1962

Михаил БУЛГАКОВ

ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА

РАССКАЗЫ

Автору моему Леонарду  
Гендельскому Генделину  
От Елены Булгаковой

19.7.63

Издательство «ПРАВДА»  
Москва, 1963

\*\*)

---

\*) \*\*) Автографы из собрания Леонарда Генделина.

## ВЛАДИМИР КАЗАКОВ

### ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

*В этом номере мы представляем читателям "Современника" Владимира Казакова — русского автора, живущего в Советском Союзе. Его произведения, однако, публикуются только на Западе.*

*Мы не следуем "модной" ныне традиции объявлять безусловно хорошим все то, что выходит из-под пера либо представителей третьей волны эмиграции, либо авторов, живущих в СССР и по характеру своего творчества примыкающих к диссидентству. Поэтому, публикуя стихи В.Казакова, мы оцениваем их прежде всего как свидетельство литературного разрыва многих современных советских писателей с официально принятой манерой письма.*

*Стихи Владимира Казакова, безусловно, профессиональные и достаточно интересные произведения. Но в то же время искусственный читатель легко заметит их "вторичность": В.Казаков явно ориентируется на такие образцы, как творчество Хлебникова, ранних Маяковского и Заболоцкого, футуристов начала века. Видимо, не случайно сам Владимир Казаков считает своим "крестным отцом" в литературе Алексея Крученых. Именно поэтому стихи Казакова производят двойственное впечатление: "модерные" внешне, они в сущности идут в русле уже "традиционного" модернизма. В качестве вызова официальным советским канонам это можно понять и приветствовать. С точки зрения "чистой" поэзии это — "устаревшее новаторство", вряд ли открывающее какие-либо "новые рубежи".*

*С учетом всего сказанного мы, тем не менее, рекомендуем нашим читателям внимательно прочесть стихи Владимира Казакова.*

### РЕПЕТИЦИИ

озябший цирк, тяжелый топот,  
слоны ушами вечеров  
собачий лай, собачий шепот  
взматают взмахом вееров,  
и слово медное "горим!"  
пожарник бровью напеваает,  
с лица медведя хмурый грим  
язык хлыста слизать желает.  
наездниц розовая жажда  
пронзить носком круп иноходца.  
по своему канату каждый  
бредут толпой канатоходцы.

морскими львами зацеловано  
лицо холодных белых суток,  
его хромой от счастья клоун  
разрисовал бровями шуток.  
то в землю упирая взгляд,  
то воздевая к небу руки,  
там фокусник морщин обряд  
прикрыл чалмой индийской скуки.  
двугорбый смысл придавший дню  
верблюд замкнул арены круг.  
и славу желтому огню  
творят жонглера кисти рук.  
там синий почерк "право, жаль!"  
печальный вздох рабы "раба ты!"  
и хищник взглядом провожал  
прыжки усталых акробатов

1966 г.

## ВЫСТАВКА МОД

разбужен рот — побег лица.  
ухмылка губ — погоня дрожи.  
и пальцы ловят беглеца  
с него содрать живую кожу.  
поводырями в слепые страны  
дрожящих пальцев тянулась голь.  
пальто надето на голые раны  
надето прямо на голую боль.  
и ледникам пути походов  
седых костров укажет дым.  
там в горах каменных народов  
зияют трещины вражды.  
весну крестил священник — год,  
шурша зерном прозрачных четок.  
на выставке весенних мод  
тюрьма во всей красе решеток.  
туч имена — над именами гор,  
и гром звучал как имя тучи,  
и ледников седой укор —  
названья гор сползали с кручи.  
висок горы опять заиндевел,  
лишь ночь шепнула слово "холод",  
и вот по небу звездной Индии  
бредет-ползет созвездье Голод.

о, губы! зверь ринется  
приказом хлыста  
усмешек зверинец  
улегся, устав

1966 г.

## ВЕЧЕРНЯЯ СЛУЖБА

водосточные трубы – оборотни  
дождем полощут горло жести.  
темно и душно в подворотнях,  
там воздух цвета мокрой шерсти.  
как прясть волос за ухом чуда,  
томится каменная знать.  
косого почерка причуда –  
в письме дождя есть буква ять.  
гнал ветер тучи на убой,  
усы обвисли слов "норд-вест",  
и на тесемке голубой  
висел дождя нательный крест.  
тоска пружин, зевота двери,  
подъезд крестил беззубый рот,  
в ручьях босой по пояс деверь  
пускал кораблики острот.  
а дождь неловким акробатом  
пошел по скверам на руках,  
шептали на ухо горбатым  
зонты растерянное "ах!".  
им клялся день в унылой дружбе,  
псалтирь дождя – спина скитальца,  
горбун спешил к вечерней службе  
карманы полны болью пальцев.  
и дождь, гребя утиной лапой,  
с улыбкой скуки на устах  
мочил поля безумной шляпы  
и перьев страусовый страх

1966 г.



ЛАДА НИКОЛЕНКО

## ФРАНЦУЖЕНКА В РОССИИ

Когда художник Сергей Петрович Иванов писал с меня портрет и дело дошло до глаз, он улыбнулся и сказал: "А теперь призовем тень Мадам Виже-Лебрен и сделаем, как она советовала, зрачки совершенно круглыми".

Мадам Виже-Лебрен прожила в России около семи лет и считала ее своей второй родиной. Представьте, и к нам бежали когда-то и по тем же причинам – от революции и преследований. Любимой портретистке Марии Антуанетты тоже пришлось бежать и, после пребывания в Италии, короткого и неудачного возвращения в Париж, она отправилась в Вену. Прожив там два с половиной года, она переехала в Прагу. В апреле 1795-го года, с остановками в Дрездене и Берлине, она отправилась в Россию.

Она приехала в Петербург со стороны Петергофа, который привел ее в восторг. Красота Петербурга, о которой она много слышала, поразила ее. Дочь второй половины восемнадцатого века, она была пропитана классицизмом, и Петербург, по ее словам, перенес ее во времена Агамемнона величием своих зданий и костюмами жителей, которые напоминали ей одежду древних греков. Она увидела и узнала только разукрашенную, очаровательную и нарочито западную часть России – Петербург, Петергоф, Царское Село – и такой Россия осталась в ее воспоминаниях. Конечно, позднее, в своих мемуарах, она невольно преувеличивала, утверждая, что не видела в России ни одного пьяного, или что все подданные Екатерины Второй жили счастливо. Но Россия, к счастью для нее, показала ей самое прелестное из своих многочисленных лиц – красивые здания и парки, очаровательных женщин, эlegantных и воспитанных мужчин – русскую аристократию, которая была и нашей первой интеллигенцией, то общество, которое через одно поколение уже подарило миру Пушкина.

Говорившие на ее родном языке так же хорошо, как говорила она сама, знавшие Европу и влюбленные в ее культуру, русские аристократы приняли Мадам Виже-Лебрен как родную. Она написала в России много великолепных портретов. Их трудные для западных людей имена позднее смущали и путали биографов художницы: всегда, как только речь идет о ее русском периоде, ошибки возникают и множатся, и многое от этого теряется.

Переезд ее русских портретов в другие страны, их появление в музеях Европы и Америки возбудили к ним интерес. Они часто изображают очень красивых женщин. Сама красавица, Мадам Виже-Лебрен

питала настоящую страсть к изысканной красоте, и она вполне наслаждалась ею при русском дворе и в обществе своих новых друзей. Многие из них, написанных художницей, были также интересными и выдающимися людьми. На портретах осталась запечатленной только их красота. Остальное нужно знать, вернее, вспомнить и тогда они оживают...

У нас, русских, мало чутья истории, хотя мы умеем ее делать, часто в больших масштабах, нередко катастрофических, и умеем героически переносить ее удары. Мы или хвалим, или ругаем Россию заповем, не всегда умея обосновать наши похвалы и обвинения. Ссылаясь на географические просторы нашей родины и на соответствующую им широту души, мы легко становимся расплывчатыми и хаотическими. Живая, повседневная ткань истории, ее мелкое, детальное плетение, соединяющее и скрепляющее большие события, кажется нам часто недостойной внимания и изучения. Бедность исторической литературы и отдельных биографий замечательных людей в русской литературе поразительна по сравнению с французами и немцами, не говоря уже об англичанах, уникальных мастерах биографического жанра. А жаль. Россия была богата интересными и яркими людьми, и не следует повторять наивный и плоский подход советской критики, которая старается забыть многих выдающихся людей только потому, что они родились аристократами.

Среди русских красавиц, написанных Мадам Виже-Лебрен, особенно необыкновенной была княгиня Евдокия Ивановна Голицына, урожденная Измайлова. К великому сожалению, никто не написал ее биографии, хотя известно, что в ее салоне бывал молодой Пушкин, конечно, равнодушный к ее южной и романтической красоте; Жуковский и Александр Тургенев. Она занималась математикой и — о удивление! — утверждала, что, в конце концов, материи нет, а есть только энергия. Неужели она опередила современных ученых?

В петербургском обществе ее называли "Ночная принцесса", поскольку ее салон был открыт для гостей по ночам. Какая-то цыганка предсказала ей смерть в полночь, и она боялась ложиться спать в этот роковой час. Такого рода мистицизм сочетался с глубокой религиозностью и высоким патриотизмом княгини Голицыной, пережившей героический подъем легендарного двенадцатого года. Вероятно, она бывала иногда чересчур экзальтирована, иначе один из ее друзей и почитателей не обронил бы слов, что "когда она не Пифия на треножнике, а просто женщина в кресле, она очаровательна". Мадам Виже-Лебрен, согласно вкусу эпохи, написала ее одетой в классическое греческое одеяние и стоящей на фоне "италианского" или фантастического "греческого" пейзажа с корзиной цветов на голове, которую она поддерживает поднятой рукой. Портрет уже покинул Россию и находится в Нью-Йорке.

Почти все модели Мадам Виже-Лебрен — мужчины и женщины — оставили свой след в истории русской культуры. Граф Иван Шувалов, портрет которого она еще в ранней молодости писала в Париже, был одним из основателей московского университета и русской академии худо

жесть. Граф Александр Сергеевич Строганов был президентом императорской академии художеств и главой комиссии по постройке Казанского собора. Семья Строгановых, весь их род, исключительно интересный и одаренный, увы, не нашел себе биографа. Только одна книга, написанная Великим Князем Михаилом Николаевичем – историком среди Романовых – о графе Павле Строганове, дипломате и собирателе произведений искусства, как-то восполняет этот пробел. Князь Сергей Гагарин был директором императорских театров и прославился своим гуманным и корректным отношением к актерам и особенно молодым актрисам – чересчур корректным с точки зрения Мадемаузель Марс, которая в то время гастролировала в России. Графиня Варвара Головина – художница и гравер – написала интересные мемуары. Графиня София Строганова была первой переводчицей Данте в России. А княгиня Наталия Куракина была замечательная музыкантша и певица; ее письма из Франции, где она также была хозяйкой салона, показывают ее ум и увлечение искусством, дар наблюдательности и интерес к социальным вопросам.

В большинстве женских портретов Мадам Виже-Лебрен подчеркивает интересы своих русских подруг: одна сидит у раскрытого фортепьяно, другая занимается живописью, третья читает Расина. Западные модели Мадам Виже-Лебрен так не изображены.

Русское гостеприимство поразило художницу и она постоянно вспоминает о нем в своих мемуарах. Русские дамы, по ее словам, превосходят всех других любезностью и благородной простотой манер. Русские дома так уютны и так хорошо отапливаются зимой! Позднее, уже в Париже, стареющая художница, зябнувшая в нетопленном доме перед маленьким камином, будет с нежностью вспоминать теплые русские комнаты.

Конечно, она была избалована судьбой и жила среди избалованных ею, но они были русскими и тоже БЫЛИ. И всегда приятно знать, что Россию кто-то любил, помнил ее богатой и прекрасной и написал слова: "Переезжая русскую границу, я разразилась слезами. Я поклялась себе описать мое путешествие и вернуться к тем, кто так долго баловал меня своей привязанностью и вниманием. Но приходится верить в судьбу, по велению которой мне не суждено было снова увидеть страну, которую я считала моей второй родиной."

Быть может, бродя по музеям Европы и Америки, мы остановимся перед портретами наших соотечественников и вспомним, как французская художница жила в России и любила ее. Портреты начинают говорить с теми, кто узнает людей, на них изображенных, кто умеет вспоминать их, как живых. Время, в конце концов, вещь очень относительная.

## ЕВГЕНИЙ ЛИДИН

### В И Д Е Н И Е

Мои родители жили в Кировской (Вятской) области в рудничном поселке на станции Верхне-Камская. Далее — сторожевые будки, пулеметы злые откормленные псы — массив лагерных пунктов и отделений РЕСПУБЛИКИ, не обозначенной на географической карте, сокращенно именуемой ВЯТЛАГ НКВД СССР, за ними непроходимые, дикие чащобы замкнутого леса.

Почти всю Вторую мировую войну мы были разъединены. Наша встреча продолжалась несколько дней, затем — пути-дороги военного корреспондента-содата.

Во второй комнате маленького, сгорбленного, очень уставшего домика проживала ссыльная учительница-словесница, внучка народо-вольцев, племянница русского публициста Григория Николаевича Потанина, которая так и осталась коротать свой век в этой глухомани, заброшенном и неуютном крае.

Как и все, Любовь Аркадьевна нещадно голодала. Отдушиной для нее были чудом сохранившиеся книги. Больше всего она любила чарующий, ни с чем не сравнимый волшебный мир поэзии. В далекой юности она познакомилась со многими поэтами и писателями. Переписывалась с Чеховым. Короленко, Вересаевым; недолго с Блоком и Есениным. Божеством для нее стал Константин Дмитриевич Бальмонт, верность которому сохранила она до самой смерти, собирая книги, фотографии, журнальные и газетные статьи — словом, все, где упоминалось его имя. Лучшие стихотворения поэта Любовь Аркадьевна знала наизусть, читала с глубокой душевной грустью, целиком отдаваясь содержанию и необыкновенным музыкальным ритмам.

Однажды пожилой женщине понадобилось зачем-то поехать в село Лойно. Никто из знакомых не хотел давать лошадь.

Здесь рано наступают сумерки.

Попивая из кипящих самоваров огненный чаек, лениво вытирая красные, свекловично-распаренные лица полотняными, с петухами, полотенцами, мужики и бабы нараспев, по-вятски сказывали, что в темных таинственных лесах кроме зверья разного, бродят стадом и в одиночку голодные, потерявшие человеческий облик каторжане, беглецы из Вятлага и что охрана на них давно махнула рукой.

И все-таки нашелся добрый человек, согласившийся за два стакана самосада и стопку водки отвезти нас в районный центр. Мне надо было продать паспорта моим родителям и в библиотеке поменять книги.

Тронулись в путь, когда начало рассветать. Несмотря на овчинные полушубки — холодный, морозный ветер насквозь пронизывал наши окоченевшие кости, колот в сердце. Замерзшая, отощавшая лошадедка

Капа с трудом тащила по снежным сугробам сани с тремя седоками. Серо-бледное небо и низко бегущие облака, такие же мглистые и серые; оставшиеся позади, уже далекие, искривленные временем сказочные избушки; спешащий навстречу, одетый в ватный саван лес – огромные ели, худенькие, с девичьим станом длинноствольные березы, сердитые, насупленные дубы-великаны – казались В И Д Е Н И Е М.

Мы сидели молча и каждый думал свою думу.

Лица и глаз кучера Еремея не было видно. В такт полозьям качалась его широкая, кругло-покатая спина. Он мурлыкал какую-то, одному ему известную песню без начала и без конца. Я запомнил припев: "Ох, уж мы, ребяташки, отобьем вам спинушки, вдоволь насмеемся и сызнова начнем..." Любовь Аркадьевна шевелила бледными, запекшимися губами, возможно, повторяла бальмонтовские строки. А мне вспомнился Гринев. Кибитка, несшаяся по Оренбургской степи. Маша. Савельич. Пугачев... Почему-то в зимние дни и вьюжные ночи наплывными волнами опускается на душу былое, немного грустное и чаще с горьковатым привкусом...

...Мы только что отпраздновали новоселье и мое семилетие. Через два месяца люди в кожаном придут забирать отца. В те годы мы выросли по часам и минутам. Я стал единственным мужчиной в доме. Во дворе и школе мальчишки и девчонки – октябрята с ленинскими звездочками и пионеры в красных галстуках – тыча в глаза грязными пальцами, усеянными бородавками и волдырями, ядовито кричали: "У, вражина!". Злобы у них не было, они повторяли слова родителей – ударников заводов и фабрик, членов ВКП(б) и ВЛКСМ. Их папы и мамы, поджимая тонкие, в ниточку, бескровные губы, выдавливая из себя участие, спрашивали нарочито-громко: "Леша, мать-то еще не забрали?". Так, пугливо озираясь, прошелестел год.

...На трамвае через всю Москву едем на десятиминутное свидание в Бутырскую тюрьму. Я почти не вижу отца, он заслонен охранниками с винтовками наперевес. Зловещая "тройка" осудила его на десять лет каторжных работ. Колесо лихолетья провертело невинного человека, как и десятки миллионов, по всему кругу залитого кровью "а р х и п е л а г а"... Посылки в концентрационные лагеря принимаются в городе Александрове. Туда, за сто один километр от столицы, тянется многоликая рать сирот, вдов, матерей, братьев, отцов, сестер, дальних и близких родственников из Москвы и длиннющей, разбросанной на сотни километров Московской области. Поезд идет раз в сутки. Посадка убийственная, суточная, в основном через окно. Кроме билета проводнику надо дать "на чай". Найдешь местечко – счастливчик. Люди спрессованы задами, спинами, животами. От махорочного дыма непроницаемый туман. Почти у всех слезятся глаза. Особенно тяжело беременным. Мужики на них кричат, пальцами указывают: –"Ишь, пузо распустили, упрятать не могут! Нельзя брюхатых в вагон пущать!" Здесь вору, убивают, насилуют. Надо молчать. За одно слово могут выкинуть из вагона. Окна закрыты наглухо. Нечем дышать. Пять часов, еле пере-

двигая конечности, шлепает по путям почтовый поезд. Он останавливается на всех полустанках. В Александрове, словно смерч, толпа прёт на почту занимать очередь. На другой день к ночи, истерзанные и опустошенные добираемся до постели...

...Как забыть десятилетнюю отчужденность-отверженность, *двадцать шесть лет* числиться сыном врага народа, смотреть в колючие глаза кадровиков, заполнять просвечивающие тебя рентгеновские анкеты: КТО? ГДЕ? КОГДА? ПОЧЕМУ? А когда мы об ЭТОМ пишем, надрываясь, кричим: – НЕ ВЕРЬТЕ СССР, ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ – САМАЯ ПРОДАЖНАЯ И САМАЯ СТРАШНАЯ! – Запад умывает руки, шурясь, пудрится, на щеки умело накладывая румяна, –чудо косметики XX века. А в это самое время проглатываются страны и пожираются народы. Коммунисты-милитаристы наступают на пятки, скоро, совсем скоро они будут сидеть на хребте. Тогда Запад узнает, что такое "К У З Ь К И Н А М А Т Ь" и кованый сапог СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК...

Двадцать пять верст проехали за четыре часа. Любовь Аркадьевна заторопилась на почту, я – в милицию и библиотеку. Начальника паспортного стола не оказалось, он поехал в соседнюю деревню навестить больного кума; с книгами тоже не повезло: библиотека закрылась на ремонт.

В смрадной, залепленной тараканами сельской столовой можно отвезать шей из мороженой капусты, съесть ржавую селедку, выпить морковного чаю без сахара. Согревшись, кучер Еремей заторопился домой. Как и все вятские, он пуше всего боится темноты, верит в духов и привидения, боится нападения "косматых каторжан, которые людишек живьем съедают".

Обратная дорога показалась более утомительной. Любовь Аркадьевна задумчиво смотрит в овражную, снежную даль. Наперегонки пробежала неутомимая семья зайчат. Младший из семьи, симпатичный ушастенький зайчонок, с любопытством на нас посмотрел, потом – что есть мочи, понесся догонять родителей. Уголками вышитого батистового платочка Потанина вытерла увлажненные глаза. Но слезы ее не слушались: перламутровыми хрусталиками падали они в сани.

–Большая печаль свалилась на мою душу, – сказала женщина. –Мне написали, что сегодня вторая годовщина со дня ухода в Мир Иной незабвенного Константина Дмитриевича Бальмонта. Он умер в голоде и холоде – 24 декабря 1942 года. Если бы я могла быть около него...

Вечером Любовь Аркадьевна устроила скромные поминки. Бывший каторжанин, н а в е ч н о приписанный к вятской земле, актер из династии Рославлевых – Михаил Алексеевич Щербатов, по старой ермоловской традиции чуть завывая, читал прекрасные и светлые стихи незаслуженно забытого русского поэта. Хозяйка дома говорила о прошумевшей молодости и, конечно, о встречах, которые жгли, волновали, горячили кровь.

—Мне так хотелось стать близким другом, любимой женщиной поэта. Унизилась, написала — он не ответил; набравшись смелости, пошла к нему. Константин Дмитриевич, похожий на д<sup>а</sup> Артаньяна, зло сказал, что у него нет времени на пустозвонство. Он уверовал, что навсегда останется баловнем судьбы...

Любовь Аркадьевна подарила мне десятый номер журнала "Образование" за 1907 год. В нем Бальмонт опубликовал "ВИДЕНИЕ. РУБИНОВЫЕ КРЫЛЬЯ". В СССР в Большой серии "Библиотеки поэта" вышло два издания "Стихотворений" Константина Дмитриевича, но это оригинальное произведение туда не вошло.

Последнее письмо от Потаниной было получено в феврале 1947 года. Любовь Аркадьевна со мной прощалась. Она просила забрать и сохранить ее Архив...

Со мной поехал страстный любитель русской поэзии биолог Михаил Петрович Малишевский. Мы опоздали на два дня. В комнатке Потаниной жили другие люди — инвалид войны с тремя детьми и беременной женой.

—Книги и разное бумажное барахло увезли в райцентр, — сказал хозяин комнатки.

Та же дорога, тот же сердитый, насупленный лес. В сельсовете показали письмо-завещание.

—Ваша бумажка для нас не документ, — проговорил рябой, колченогий председатель. —Движимое и недвижимое имущество по закону принадлежит государству.

Потом мы узнали, что редкостный по своей ценности Архив Любови Аркадьевны Потаниной бесследно исчез.

М. МЮЛЛЕР-ГЕННИНГ

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ...

Как прекрасно жить на свете  
Под веселым солнцем лета, –  
Тишину вдыхать лесную,  
Даль постигнуть голубую,  
По тропинкам и дорогам  
Погулять порой немного –  
Красота ведь для поэта  
это лето!

...Пролетают дни за днями,  
И встает перед глазами  
Все, что было, что свершалось,  
Все слова, что отзвучали...  
Как настойчивы вопросы:  
Где же сны, надежды, грезы?  
И тоска мудра ответом:  
Все минуло с прошлым летом.

Все ведь сказано – и спето.  
Осень это, а не лето!  
Все надежды побледнели,  
Сны поблекли, чувства стлели,  
Нет желаний – право слово,  
Начинать ли стоит снова?  
Все ведь сказано и спето –  
прошлым летом!..

Регенсбург,  
июль 1975 г.



М. МЮЛЛЕР-ГЕННИНГ

О ТИШИНЕ

Тишина бывает грустной, всеобъемлющей, тяжелой,  
Удручающей, гнетущей – в ожиданьи рокового.  
Серой, хмурой, одинокой и тоскливо-беспощадной,  
И спокойной, и довольной, и счастливой, и отрадной!  
Напряженной, утомленной, нервной, сдержанно-дрожащей –  
И трепещущей, и ждущей, и поющей, и парящей!..  
Дымной, душной, раздраженной, глубоко таящей слезы.  
И плывущей...

и влекущей

– как весенние березы...

Просыпающейся, гулкой – как дорога на рассвете.  
Притаившейся, унылой – как осенний сонный вечер.  
И желанной,

и незванной,

тихо тающей... беспечной!

Непривычной.

Постоянной.

Сластной, радостной

... и вечной.

Февраль 1976 г.

НИНА АВСЕЕНКО

### МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ СТИХИ З.Н. ГИППИУС

Не будет большой смелостью сказать, что одной из лучших жемчужин гиппиусовской поэзии можно считать ее метафизическую лирику, в которой поэтесса выражает свою бурную духовную жизнь. Темой метафизической лирики Гиппиус служат переживания ее души, стремящейся к воссоединению с Богом, но осознавшей свою отчужденность. Мимолетные состояния души Гиппиус воспроизводит при помощи поэтического образа. Его цель – превращать сложные, быстро меняющиеся душевные состояния в физические ощущения. Воспроизведение метафизического путем физических ощущений Гиппиус использует для передачи своих религиозных мыслей и стремлений, своих духовных исканий – воссоединение души и плоти. Поэтесса стремится найти гармонический синтезис двух противоположностей: души и тела и называет такое гармоническое воссоединение антиподов "святой плотью" (1).

Переживания, связанные с борьбой духа и плоти, по ее словам, выразить в поэтической форме трудно, и она признает это, называя внутреннее состояние своей души "невыразимым".

.....  
Я – раб моих таинственных,  
Необычайных снов...  
Но для речей единственных  
Не знаю здешних слов... (2).

Душевное состояние она старается передать комплексом ощущений, которые охватывают ее душу. Метафизическая лирика Гиппиус построена по принципу отождествления физических ощущений с душевным восприятием окружающего мира. Диаметрально противоположные полюсы чувств, притяжение и отвращение, передают душевный взлет и падение. Неприятные ощущения как холод, темнота, духота, падение, неподвижность и т.д. воспроизводят действительность. Здесь надо искать причины отчужденности от Бога. Критик Олег Маслеников назвал эти стихотворения "лирикой лишенности", так как лирический герой изображен в различных состояниях неудовлетворенности (3). Стихотворение "Все кругом" является целым каталогом отталкивающих пере-

живаний (ощущений), которые должны воспроизводить отчужденность от Бога.

Страшное, грубое, липкое, грязное,  
Жестко тупое, всегда безобразное,  
Медленно рвущее, мелко-нечестное,  
Скользкое, стыдное, низкое, тесное,  
Явно-довольное, тайно-блудливое,  
Плоско-смешное и тошно-трусливое.  
Вязко, болотно и тинно застойное,  
Жизни и смерти равно недостойное,  
Рабское, хамское, гнойное, черное,  
Изредка серое, в сером упорное,  
Вечно лежачее, дьявольски-косное,  
Глупое, сохлое, сонное, злостное,  
Трупно-холодное, жалко ничтожное,  
Непереносное, ложное, ложное! (4).

.....

Физически удручающий мир однообразных, темных красок и отталкивающих ощущений передает переживания, связанные с душевным падением. С другой стороны, такие ощущения, как тепло, свет, подъем, взлет передают стремления героя к его идеалу: чистоты духовной и воссоединения с Богом. Стихотворение "Брачное кольцо" воспроизводит искания взлетающей души духовности.

Над темностью лампы незажженной  
Я увидел сияющий отсвет.  
Последним обнаженьем обнаженной  
Моей душе – пределов больше нет.  
Желанья были мне всего дороже...  
Но их, себя, святую боль мою,  
Молитвы, упования, – все, о Боже,  
В Твою Любовь с любовью отдаю.

И в этот час бездонного смиренья  
Крылатым пламенем облек меня.  
Я властен властью – Твоего веленья,  
Одет покровом – Твоего огня.

Я к близкому протягиваю руки,  
Тебе, Живому, я смотрю в Лицо,  
И, в светлости преображенной муки,  
Мне легок крест, как брачное кольцо. (5).

Темнота сменяется светом; холод – огнем; пресмыкающиеся серой, пыльной земли – пламенными крыльями неба; разложение, загнивание – "живым лицом". Как видим, тонкие, невоспроизводимые душев-

ные переживания Гиппиус передает в своей поэзии контрастами острых ощущений. К тому же, она усиливает образность передачи тем, что употребляет все виды физических ощущений: осязание, зрение, кинетика. Поляризация душевных переживаний создает два противоположных мира. Реальный душевный мир с унылыми красками и некрасивыми формами противопоставляется бодрящему миру духовности, с его радостными, светлыми красками.

Стихотворение "Брачное кольцо" показывает не только чувственное воспроизведение душевных переживаний, но также и конкретность образа. Из предметного мира Гиппиус черпает образы, придающие бесформенному, неопределенному настоящую реальность. Чтобы достичь максимальной образности, Гиппиус передает душевные переживания контрастами чувственных состояний (притяжение и отвращение). Поэтому предметный мир у Гиппиус разделен на два противоположных вида восприятия. Земное снабжает поэтессу образами отталкивающих переживаний; а небесное – возвышает. Для воспроизведения духовного падения Гиппиус использует образы уродливых или непривлекательных земных явлений, потому что мимолетные плотские ощущения она считает физическими и гадкими. Отсюда – использование слов, вызывающих брезгливость. Образы ножей, колец, пьявок, пыли, клетки воспроизводят мучения ее плоти, ее не духовного "я". Атрофирование духовности окружающего мира – у Гиппиус это кольцо, сжимающее душу.

Не страшно мне прикосновеенье стали  
И острота и холод лезвия.  
Но слишком тупо кольца жизни сжали  
И медленные, душат как змея. (6).

.....

А грешность – это инвазия души пьявками.

Там, где заводь тихая, где молчит река,  
Липнут пьявки черные к корню тростника.

В страшный час прозрения, на закате дней,  
Вижу пьявок, липнущих и к душе моей.

Но душа усталая мертвенно тиха.  
Пьявки, пьявки черные жадного греха! (7).

Грешная душа – это холодная, шершавая змея, давящая лирического героя.

Своими кольцами она, упорная,  
Ко мне ласкается, моя душа.  
И эта мертвая, и эта черная,  
И эта страшная – моя душа! (8).

Отсутствие духовности — у Гиппиус это прикованность к земле и к самым низким видам живых существ — насекомым.

.....  
Мои глаза — под паутиной.  
Она сера, мягка, липка.  
И рады радостью звериной  
Четыре толстых паука. (9).

Стремление к духовности представляется полетом от земли (матери) к небу (эффиру).

Смотрю на море жадными очами,  
К земле прикованный, на берегу...  
Стою над пропастью — над небесами, —  
И улететь к лазури не могу. (10).

.....  
Раздвоенность человеческого существования — прикованность его к земле и его стремление к небу — Гиппиус изображает зрительным образом качающейся между небом и землей клетки.

На лунном небе чернеют ветки...  
Внизу чуть слышно шуршит поток.

А я качаюсь в воздушной сетке,  
Земле и небу равно далек. (11).

.....  
В стихотворении "Нелюбовь" борьба с нелюбовью изображена как стук ветра об окно.

Как ветер мокрый, ты бьешься в ставни,  
Как ветер черный, поешь: ты мой!  
Я древний хаос, я друг твой давний,  
Твой друг единый, — открой, открой!

Держу я ставни, открыть не смею,  
Держусь за ставни и страх таю.  
Храню, лелею, храню, жалею,  
Мой луч последний — любовь мою. (12).

.....  
Прежде всего Гиппиус живописец мимолетных чувств и душевных состояний. Мучение неодухотворенной души Гиппиус передает при помощи простого, обыденного образа, но насыщает его своим новообретенным мистическим содержанием. Сложные душевные переживания приобретают непосредственность, им дается знакомая форма, цвет или контур. Одушевление отвлеченного при помощи конкретного образа на

первый взгляд кажется неожиданно неуместным из-за его непоэтичности (например: кольцо) или шаблонности (змея). Но свои образы Гиппиус органически связывает с переживанием.

Образы духовности диаметрально противоположны образам "недуховности". Противоположность заключается в их происхождении и функции. Небо, свет, огонь, солнце, звезды – доминирующие образы для обозначения хороших, духовных качеств, а предметный мир с его тремя измерениями играет второстепенную роль, подчеркивая центральный образ и служит ему как спутник. Лирический герой Гиппиус всегда стремится к небу, "хранилищу" божественной тайны и мудрости (13). В самых ранних стихотворениях Гиппиус небо является центральным образом духовности. В "Песне" (1893), лирический герой мечтает о дальнем небе, обещающем чудо.

. . . . .  
Увы, в печали безумной я умираю,  
Я умираю,  
Стремлюсь к тому, чего я не знаю,  
Не знаю...

И это желание не знаю откуда  
Пришло откуда,  
Но сердце хочет и просит чуда,  
Чуда!

О, пусть будет то, чего не бывает,  
Никогда не бывает:  
Мне бледное небо чудес обещает,  
Оно обещает. (14).

В стихотворении "Бессилие" герой желает полететь к небу, чтобы достать солнце, то есть божественное.

. . . . .  
Я к солнцу, к солнцу руки простираю,  
И вижу полог бледных облаков...  
Мне кажется, что истину я знаю –  
И только для нее не знаю слов. (15).

Для Гиппиус солнце и свет воплощают божественное начало.

Господь, Господь мой, Солнце, где Ты?  
Душе плененной помоги!  
Прорви туманные наветы,  
О, просияй! Коснись! Сожги... (16).

Стремление к божественному постоянно изображается поэтессой как искание света и огня. Символические образы огня, света и неба своей завуалированностью, но вместе с тем и осязаемостью, ярко подчеркивают стремление поэтессы к возвышенному, мистическому, сверхестественному. Главная цель ее стиха в том, чтобы передать эфемерные, неосязаемые, но острые переживания, существующие только в ее подсознании. Эти переживания вызывают ряд острых, неопределенных ощущений, которые воплощают собой не достижение духовности, а только стремление к ней..

Итак, все образы духовности у поэтессы преимущественно осязаемые, аморфные, и никак не зрительные и конкретные. Если греховность – это пьявка, змея или паук, то духовность – это ощущение летания, замерзания, обжигания. В изображении состояния духовности Гиппиус обостряет ощущения, чтобы переступить пределы повседневного восприятия. Эти ощущения повторяются, переплетаются беспредельно, чтобы подчеркнуть, усилить впечатление. Этот прием присущ Гиппиус; она разрушает им общечеловеческое (мирское) понимание времени и пространства.

Ночные знаю странные прозренья:

Когда иду навстречу тишине,  
Когда люблю ее прикосновенья,  
И сила яркая растет во мне.

Колдует ли душа моя иль молится, –  
Не ведаю; но радостна мне весть...  
Я чую, время пополам расколется,  
И будущее будет тем, что есть.

Все чаянья, – все дали и сближенья, –  
В один великий круг заключены.  
Как ветер огненный, – мои хотения,  
Как ветер, беспреградны и властны.

И вижу я, – на ком-то загораются  
Сияньем новым белые венцы...  
Над временем, во мне, соприкасаются  
Начала и концы. (17).

Стремление души изображается как мучительно-болезненные поиски невозможного и сверхестественного. Например: состояние вне времени и пространства можно счесть за невменяемость или бессознательность. Образ недоступного поэтесса передает соединением огня и льда.

Душа мечтает с вещей безудержностью  
О снеговом огне. (18).

Противопоставление диаметрально противоположных ощущений воплощает собой поиски предельной гармонии, когда противоположности синтезированы и объединены. У Гиппиус противоположности — это принцип физического мира, а единство (гармония) — мира духовного.

Красота и уродство природы и предметов обогащают стихотворения Гиппиус разнообразностью форм, красок, тканей, качеств и измерений в ее изображении бесконечных странствий души. Весь объективный мир для Гиппиус служит сокровищницей для пополнения и изобретения поэтических образов. Посредством образа, даже самого прозаического (кольцо, насекомое) или самого возвышенного (небо, солнце, звезда) поэтесса одушевляет и одновременно одухотворяет внутренний мир лирического героя.

Раздвоенность героя передается контрастными образами. Противопоставление неба и земли, света и темноты, огня и льда и т.д. символизирует не только поиски духовного идеала, но и жажду примирения непримиримого, то есть гармонии физического и духовного в материальном мире. Сильная чувственность образов душевного мира отражает искание поэтессой духовной сущности, квинтэссенций человеческой души в мире реальной действительности. Изображение мистического при помощи эстетического выражает убеждение Гиппиус в единстве всех форм творения во вселенной. Мир материи и духа, то есть мир разума и чувств, являются творением Бога. Противоречие им не свойственно, а выдуманно человеком. Гиппиус мечтает о воссоединении этих двух начал человеческой души (19). Она ждет дня чудотворного воссоединения неба и земли, то есть духа и плоти.

Последний свет равно на всех прольется,  
По знаку одному.  
Идите все, кто плачет и смеется,  
Идите все — к Нему.  
К Нему придем в земном освобожденьи  
И будут чудеса.  
И будут все в одном соединеньи —  
Земля и небеса. (20).

Острая чувственность образов в метафизической лирике Гиппиус соответствует не только мыслям поэтессы, но и служит ее художественной задаче. Исключительно сильные ощущения ярко и конкретно изображают "шестое чувство" лирического героя — духовное. Независимо от того какое это будет чувство — греховное или благочестивое. Диаметрально противоположные чувства автора приобретают конкретность и непосредственность при помощи отталкивающих и притягательных ощущений. Образы метафизической лирики Гиппиус, передающие внутренние переживания и ощущения в утрированной форме, создают фантастическую действительность, которая фактически является зеркалом измученной души поэтессы.



## ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Исчерпывающее исследование творчества и деятельности З.Н. Гиппиус дает Т.А. Пахмусс в своей книге "Zinaida Hippus. An Intellectual Profile (Carbondale, 1971).
2. З.Н. Гиппиус, Стихотворения и поэмы, редактор Т.А. Пахмусс, т.1, книга 1, Мюнхен, 1972, стр. 39.
3. O.Malenikov. Spectre of Nothingness; The Privative Element in the Poetry of Zinaida Gippius. 'The Slavic and East European Journal' , New Series, IV (1966), pp.299-311.
4. З.Н. Гиппиус, Указ. соч., т. 1, книга 2, стр. 21-22.
5. Там же, стр. 10-11.
6. З.Н. Гиппиус, Указ. соч., т. 1, книга 1, стр. 16.
7. Там же, стр. 133.
8. Там же, книга 2, стр. 71.
9. Там же, книга 1, стр. 169-170.
10. Там же, стр. 12.
11. Там же, книга 2, стр. 34-35.
12. Там же, стр. 38-39.
13. З.Н. Гиппиус, Небесные слова и другие рассказы. Париж, 1921, стр.
14. З.Н. Гиппиус, Указ. соч., т. 1, книга 1, стр. 1-2.
15. Там же, стр. 12.
16. Там же, книга 2, стр. 85.
17. Там же, стр. 16-17.
18. Там же, стр. 81.
19. Этой теме посвящает Гиппиус свой рассказ "Златоцвет" в сборнике "Зеркала": книга вторая рассказов. Санкт-Петербург, 1898.
20. З.Н. Гиппиус, Указ. Соч., т. 1, книга 1, стр. 73-74.

## ЕВГЕНИЯ ДИМЕР

### В АВТОБУСЕ

С размаху миражи  
Бросаются в окна,  
Сплетаясь, как пряжи  
Цветные волокна.

С моей карусели  
Все кажется ново:  
Вон шествуют ели  
Походом крестовым.

Японские вишни,  
Как белая стая,  
Кружатся, неслышно  
В стекле пролетая.

Столбы и сараи,  
Дома и лачуги  
Бегут, напирают  
И давят друг друга

Вдруг... капля живая  
В окне распласталась,  
Ползет, извиваясь  
Амебой усталой.

Вторая... шестая...  
Стучат торопливо, –  
И стекла хватает  
В объятия ливень.

### МУЛАТКА

Дрожит эстрадная площадка  
В дешевом, пошлом кабаре;  
На ней с дикарской хваткой  
Танцует юная мулатка  
Ватуси, пляску дикарей.

Но нежный северный румянец  
Сквозь смуглость вспыхнул горячо.  
Она, вплетая пламя в танец,  
Разит наотмашь горьких пьяниц  
Глазами, бедрами, плечом...

Роятся в ней в ансамбле редком,  
Как пчелы в улье, с двух сторон  
Ее неведомые предки;  
И каждый предок спорит едко,  
И каждый вносит свой закон.

Подобно листьям в урагане,  
Смешались в ней черты рабов,  
Господ и пилигримов ранних.  
Она – гибрид. Она на грани  
Двух рас и даже двух миров.

### СОСЕДСКАЯ ТАКСА

Длинна на редкость и нескладна  
Она явилась раз тайком.  
Литой статушкой шоколадной  
Она легла в тени прохладной,  
Моргая карим мне глазком.

Она, казалось, говорила,  
Что ищет ласковой руки;  
Потом хвостом благодарила,  
Собачью нежность мне дарила, –  
И с нею стали мы близки.

Мы во дворе друг друга ждали,  
Когда пинала нас судьба.  
И так за днями дни бежали.  
Однажды шины завизжали:  
Собачий визг... людей гурьба...

Асфальт и... холмик шоколадный,  
Такой родной, такой нескладный,  
В кровавой лужице подмок;  
В потусторонний мир собачий  
Смотрел коричневый глазок...  
И я стояла, тихо плача.

ГАЛИНА РУМЯНЦЕВА

"ПОЛЬСКОЕ" СТИХОТВОРЕНИЕ ГРАФИНИ РОСТОПЧИНОЙ

В истории поэзии гражданственные стихи не являются ключевыми. Это не значит, однако, что они должны быть изъяты из сферы истинной поэзии, осененной, так сказать, "кастальским ключом". Более того, иногда они бросают самый характерный штрих на творчество и личность того или иного поэта — тот штрих, без которого понять их вполне было бы невозможно. Что же касается общественного зыучания таких стихов, то оно в такой же степени насыщает литературу политикой, в какой политика бывает насыщена литературой. В этом соединении живут многие интересные моменты русской поэзии.

Вот один из примеров тому...

В 1846 году "Северная пчела", издаваемая в Петербурге небезызвестным г-ном Булгариным, получила из Рима балладу "Насильный брак", написанную графиней Е.П. Ростопчиной, популярной поэтессой, чьи стихи не раз появлялись в "Современнике", "Отечественных записках", "Сыне Отечества", и чей поэтический дебют в "Северных цветах" был высоко оценен Пушкиным и Жуковским.

Естественно, баллада была напечатана и вызвала переполох и раздражение в правительственных кругах и лично у императора Николая Первого, поскольку Ростопчина в прозрачной форме семейного спора осуждала угнетение Польши Россией.

Несмотря на то, что газета была задержана, стихотворение выпорхнуло с ее страниц и, распространенное в России во множестве списков, приобрело исключительную популярность, освященное "свободы гордым гением", как и ее "Послание к страдалцам", воспевающее декабристов.

Немногие стихотворения молодой поэтессы отмечены печатью гражданского мужества и свободолюбивыми стремлениями, но именно они восхитили Огарева:

*Не помню — слог стихотворений  
Хорош ли, не хорош ли был,  
Но их свободы гордый гений  
Своим наитьем освятил...*

Переключаясь в своем творчестве с М.Ю. Лермонтовым, Ростопчина использует гражданские мотивы многих его стихотворений, правда, предпочитая их разрешать скорее в психологическом плане, нивелируя социальную заостренность, присущую Лермонтову, что естественно для предпочтенного ею жанра лирического признания, исповеди. Но дыхание истинной поэзии в них было свежо и волнующе, и Лермонтов посвящает ей известное послание:

*Я верю: под одной звездой  
Мы с вами были рождены;  
Мы шли дорогою одною,  
Нас обманули те же сны.*

Поэтесса отнюдь не тяготится женским своим естеством и с радостью ощущает его в себе:

*Я только женщина, — гордиться тем готова,  
Я бал люблю!.. отдайте балы мне!*

Она умеет выражать тончайшие движения души и перемены настроения, сложные чувства и переживания. И даже строгий Белинский, рецензируя первый сборник ее стихов (1841 г.), выразив недовольство тем, что ее поэзия "прикована к балу", "отличается рефлексией и светскостью", все же добавлял, что вместе с тем "она не чужда поэтических вдохновений, дышащих не одним умом, но и глубоким чувством. Правда, это чувство... более сверкает в отрывках и частностях, зато эти отрывки и частности ознаменованы печатью истинной поэзии".

Разумеется, написанная ею в Риме баллада "Насильный брак", была отмечена тем же умом и талантом. Гоголь, первым прочитавший в рукописи это произведение, пришел в восторг и посоветовал автору: "Пошлите стихи без имени в Петербург: не поймут и напечатают."

Так и случилось, к счастью для истории литературы.

А мы, более, чем 130 лет спустя, можем с грустью констатировать, что тема притиснения непокорной Польши Россией, увы, не менее актуальна и сегодня, хотя и много раз менялись с тех пор на политической арене различные маски, но угнетатель, превратившись теперь в коммунистического колосса — СССР, по-прежнему лицемерно заявляет о своей любвеобильной покровительственной миссии и, как Старый барон в балладе Ростопчиной, с неменьшим основанием мог бы произнести свой лицемерный монолог:

.....  
*Ее я призрел сиротою  
И разоренной взял ее,  
И дал с державною рукою  
Ей покровительство мое;  
Одел ее парчой и златом,*

*Несметной стражей окружил,  
И враг ее чтоб не сманил,  
Я сам над ней стою с  
булатом;  
Но недовольна и грустна  
Неблагодарная жена.*

*Я знаю — жалобой, наветом  
Она везде меня клеймит;  
Я знаю — перед целым светом  
Она клянет мой кров и щит,  
И косо смотрит исподлобья,  
.....  
Теперь внимайте непокорной:  
Пусть защищается она,  
Моя преступная жена!*

Стихотворение построено как диалогическая баллада. Действующие лица, обозначенные и вынесенные в начало каждой из двух частей — Старый барон и его Жена. Монолог барона содержит перечень обвинений в адрес "мятежной" Жены, т.е. Польши, от имени России. Экспрессию стиха усиливает повторяющийся рефрен с четырежды измененными эпитетами ("мятежная жена", "неблагодарная жена", "моя коварная жена", "моя преступная жена").

Ответный монолог Жены (Польши), столь же экспрессивно-насыщенный, построен на том же приеме.

*.....  
Жила я вольно и счастливо,  
Свою любила волю я;  
Но победил, пленил меня  
Соседей злых набег хищливый.  
Не предана, я продана —  
Я узница, а не жена!*

*.....  
Лишь им одним унижена,  
Я враг ему, а не жена.  
Он говорит мне запрещает  
На языке моем родном,  
Знаменоваться мне мешает  
Моим наследственным гербом;  
Не смею перед ним гордиться  
Старинным именем моим  
И предков трамам вековым,  
Как предки славные, молиться:*



Проф. ВЛАДИМИР СЕДУРО

## СОЛЖЕНИЦЫН И ТРАДИЦИИ ПОЛИФОНИЧЕСКОГО РОМАНА ДОСТОЕВСКОГО.

Голос Сталина противоборствует многим другим голосам и ориентируется на свою утвердившуюся безупречность и истинность. В пределах одного сознания мы находим отраженными, как у героев Достоевского, многие сознания, вызывающие в герое возмущение их разнонаправленностью и еще более утверждающими его в своей абсолютной правоте. Так, после замечательной сцены обращения верного слуги Поскребышева с запросом, будет ли хозяин принимать в полтретьего Абакумова, с этим холуйским: — "Ись—Сарियोныч!" — и последующей установкой дистанционного запора, Иосиф Виссарионович, взглянув на книжечку в бумажном черно-красном переплете, вспомнил то, что отравляло ему юбилей и жгло в груди. Ведь и сегодня не был убран Тито.

"Как?! Как можно было ошибаться в этой скорпионовой душе? Такие славные были тридцать шестой-тридцать седьмой годы! Стольким еще недодушенным тогда оторвали головы! А Тито выпустили из рук." (10). Этот человек отнимал у Сталина сон, спокойствие и аппетит. "Ничем непоправимая досада саднила его. Как сказочный богатырь, Сталин всю жизнь рубил вырастающие и вырастающие головы гидры. Целые Эльбрусы врагов свалил он за свою жизнь. А на кочке споткнулся.

Иосиф споткнулся на Иосифе..." (11).

Так разящее перо Солженицына, подобно развенчивающей карнавализации в романах и повестях Достоевского, прибегает к скрытой пародии и иронии, граничащей с острым сарказмом, срывающим маски "величия" с утвердившегося десятилетиями образа мудрого вождя и учителя, теоретика построения социализма в одной стране. Солженицын ставит своего героя в исключительное психологическое положение, когда он сталкивается глазами с вереницей книг своих личных врагов, собранных у него на полках в его ночном кабинете, и с которыми ему единственному в стране дана свобода разговаривать с глазу на глаз без оглядки боязни или сыска. Своими талантами то ли политической демагогии, то ли писательскими талантами они каждый раз вселяют в него ярость ненависти, подстрекаемой человеческой завистью. К далеким от него людям у него не было столько личного гнева, как к современникам, претендентам на ту же роль. "Ничуть не мешал Сталину доживающий где-то Керенский. Пусть бы из гроба вернулся и Николай Второй или Колчак — против всех них Сталин не имел личного зла: открытые враги, они не изворачивались предлагать какой-то свой, новый, лучший социализм.

Лучший социализм!.. Иначе, чем у Сталина! Сопляк! Да кто ж бы мог построить социализм без Сталина?!" (12).



Не случайно здесь дается и мысленное сравнение взгляда Сталина на Тито с мнением старого коновала, перепоровшего множество животных, о беленькой практикантке-медичке. Натуралистическое сравнение сродни примитивному образу мышления героя. Ведь у него сердце ожесточенно билось и конечности подергивались от одного упоминания о другом, не сталинском социализме: "Три раза уже сменено собрание сочинений Ленина, дважды — Основоположников (марксизма — Маркса и Энгельса, — В.С.). Давно заснули все, кто спорили, кто упоминался в старых примечаниях, все, кто думали и н а ч е строить социализм. И вот когда даже в шелесте тайги уже не расслышать ни критики, ни сомнения — выползает Иосиф Тито со своим начетчиком Карделем и говорит, что что-то надо было делать не т а к!" (13).

При таких отравляющих человека мыслях утешением могла быть только книжечка иностранного автора "Тито — маршал предателей" Рено де-Жувенеля. Автор, мол, посторонний в споре, объективный француз, да еще с дворянской частицей "де". Книга эта ему приятна, она раскроет глаза миллионам людей на этого тщеславного, самолюбивого, жестокого, трусливого, гадкого, лицемерного, подлого тирана и гнусного предателя, безнадежного тупицу. А старого дурака Андре Марти за защиту Тито придется выгнать из партии. Когда же Сталин вычитывает из этой книжицы, какие люди были убиты из окружения Тито, его осеняет мысль: "Лучших людей всегда кто-нибудь убивает, а худших достается приканчивать Сталину." (14). Когда он представляет Тито, увешенного орденами и медалями, он думает: "Что за жалкое чванство в человеке, не одаренном полководческим гением!" (15). При упоминании имени Трайчо Костова Сталин мысленно ударяет его в окровавленную морду сапогом, такова его сила гнева против этого негодяя, осмелившегося поносить социалистический суд. "Сколько удачных процессов Сталин провел, каких врагов заставил топтать самих себя и признаваться в любой гадости — и такой срыв в процессе Костова! Позор на весь мир! Какая подлая изворотливость! Обмануть опытное следствие, ползать в ногах! — а на публичном заседании ото всего отказаться! При иностранных корреспондентах! Где же порядочность? Где же партийная совесть? Где же пролетарская солидарность? Ну, умри, но умри так, чтобы нам была польза!" (16).

Так солженицынский герой стоит на пороге жизни и смерти и рассуждает о кардинальнейших вопросах советской и мировой жизни, на которую ему удалось наложить свою зловещую тень. Он и сам не замечает, как его суждения о других тиранах звучат самопародией и являются яркими страницами саморазвенчания. Здесь перед изумленным читателем рвутся "гнилые веревки", свиваемые многими годами лживой пропагандой и обнажаются подлинные человеческие пороки, низкое и коварное тщеславие, упоение властью.

Сатирическое развенчивание героя в последующих главах продолжается на том же высоком уровне в стиле лучших традиций карнавального снижения и обнаружения преисподней души человеческой в произведениях Достоевского. В главе "Язык — орудие производства" Сталин в ночной тишине укрепленного, охраняемого, защищенного ночного кабинета,

за непробиваемыми стеклами из рядов желтоватой брони, отгороженный от всего мира стенами, стражею, замками, работает для своего бессмертия — пишет статью о языке и языкознании. Мудрейший из Мудрейших решил увековечить свое имя не только в сфере государственной деятельности. "Все-таки не по заслугам мало восхищаются им, — мнилось ему. — В своих восторгах они поверхностны и не вскрывают всей глубины гениальности." (17). Вождь решил "совершить еще научный подвиг, внести свой немеркнущий вклад в какую-нибудь еще из наук кроме философских и исторических." (18).

И мы читаем проникновенные строки о том, как ночи были самым плодотворным временем Сталина. Именно ночами он придумывал, как дробить министерства, делить управления, создавать новые, подписывал сметы, утверждал должностных лиц. В часы ночных бдений он придумывал, как старые займы обменять на новые, чтобы не платить выигрышей, тюрьму за прогулы, закрепление рабочих и служащих на местах навечно, указы о каторге и виселицах, роспуске Третьего Интернационала, ссылке народов-изменников. Ссылка целых наций явилась важным теоретическим вкладом великого учителя и первого специалиста по национальному вопросу...

Так у Солженицына карнавализация сталинского образа мысли служит сатирическому преобразению установившегося образа и при помощи серьезно-смехового элемента приближает читателя к подлинному Сталину без прикрас. Вся деятельность этого человека освобождается под пером писателя от односторонней хмурой официальной серьезности, лишается своей догматической абсолютизированнойности и порожденной страхом культовости. При первом прикосновении подлинно правдивого пера разлетаются в пух и прах иконописные каноны, и человек предстает во всей своей враждебности становлению и смене во времени. "Все было у него закреплено навечно, все движения были остановлены, все потоки перепружены, все двести миллионов знали свое место — и только колхозная молодежь давала утечку.

Вообще в колхозах дела обстояли очень хорошо. В этом Сталин убедился, смотря фильм "Кубанские казаки" и читая роман "Кавалер Золотой Звезды". Авторы побывали в колхозах, все видели и отобразили, и отображенное ими было наглядно хорошо. Да Сталин и сам толковал с колхозниками в президиумах съездов." (19).

И в голове корифея зреет план указа, который закрепил бы навечно каждого родившегося в колхозе за его деревней, при этом, конечно, под предлогом почетного права. В эту ночь вождя потянуло на что-то более возвышенное, и он принялся переделывать, по-своему пересказывая, статью грузинского профессора Чикобава, что язык — не надстройка, а просто национальный язык. Солженицын здесь проникает в самую лабораторию труда Сталина над этой статьей, легко обнажает все трудности и потуги вождя прослыть и знаменитым лингвистом. "А король-то гол," — невольно напрашивается на уста читателю при чтении этой серьезно-смеховой главы. Элементарность и примитивность мышления героя, отсутствие самосознания, что он смешон в своей уверенности в истине и ученой значительности, одержимость, граничащая с безумием и глупостью, сказываются даже в аляповатости самого стиля писаний героя.

Солженицын достигает развенчивающей художественной убедительности героя в этих главах изображением голоса Сталина, сочетая в нем самом контрапунктически разнообразные голоса, как, например, голос Ленина ("Каждая кухарка должна управлять государством...!"), с которым герой полемизирует, выражая несогласие. В главе же "Верните нам казнь, Иосиф Виссарионович!" внешне уже якобы два голоса получают личное воплощение. Сталин принимает у себя в ночном кабинете министра государственной безопасности Абакумова. В этой шекспировской по силе вымысла и Достоевской по глубине проникновения в тайники человеческой души сцене читатель присутствует при необычайном поединке двух персонажей. Ежемесячный прием у Сталина всемогущественного министра Госбезопасности всегда был судьбоносным для последнего. Эти часы всегда были тяжелой расплатой Абакумова за свою власть в стране. Он, собственно говоря, и жил только между теми приемами. А когда наступало время идти к Сталину, все замирало в нем, уши леденели, он сдавал портфель плешивому царедворцу Поскребышеву – начальнику личного секретариата Сталина, не зная, получит ли он его обратно и разогнет ли шею через час. Самые страшные предположения проносились в его наклоненной бычьей голове в часы ожидания и приема. "Сталин страшен был тем, что ошибка с ним была та единственная в жизни ошибка со взрывателем, которую исправить нельзя. Сталин страшен был тем, что не выслушивал оправданий, он даже не обвинял – только недобро засвечивались его желтые тигриные глаза и поджимались нижние веки – и там, внутри, выносился приговор, а осужденный его не знал: он уходил мирно, его брали ночью и расстреливали к утру." (20).

Положение Абакумова усугублялось еще тем, что он боялся раскрытия истории своего обогащения в Германии во время войны, когда он возглавлял всесоюзный СМЕРШ и ему подчинялись контрразведки всех действующих армий. Абакумов тогда вывез богатства на миллионы. Но все это было взято бесполезно. Теперь ему никакое золото не поможет, если он падет с поста министра Госбезопасности. Ведь он в своей карьере поднялся слишком высоко и оттого стал черезчур близким Сталину. "Но вырваться из ближних назад – пути не было. Оставалось – ждать смерти. Своей или..." (21) сурового хозяина. Боясь раскрытия своих дел, он еще более трясся перед Единодержцем. Он шел в кабинет Сталина, не становясь всей своей широкой ступней. Дверь открывал не шире, чтобы протиснуться своей тушей, и придерживал ее за начищенную бронзовую ручку. Но он сплоскал, не прокашлялся во-время, и оттого голос вышел хриплый, недостаточно верноподданный, когда, здороваясь, назвал имя Повелителя и почтительно произнес: "Разрешите?". Великий корифей в это время вносил вклад в науку лингвистики и писал. Он только совино-зловеще посмотрел на вошедшего верноподданного и, ничего не ответив, продолжал писать. Признак был плохой. Уши у Абакумова пылали. Наклонясь вперед и держа руки у бедер, он стоял и почтительно-приветливо улыбался мясистыми губами. Сталин писал. Каждое слово его, "стекая с пера, сразу роняется в историю." (22). В комнате не было ни звука. Только мгновениями пишуший недобро взглядывал на Абакумова. Каждое движение выдавало манеру повелевать. Их страшный смысл стал

очевидным каждому после какого-то по счету продырявленного затылка. Отработанные с годами жесты и взгляды наглядно отражали угрожающий внутренний смысл.

Наконец суровый взгляд сопровождался тычком трубки в воздух, как приглашение сесть.

"—Ну, — спросил Сталин, глядя в свои бумаги.

Настал момент! Теперь надо было не терять инициативы! Абакумов кашлянул и прочищенным горлом заторопился, заговорил почти восторженно." (23).

Он наметил говорить о том, что было главным и всегда привлекало Единодержца: о раскрытии очередной какой-то очень важной, очень разветвленной враждебной группы, на этот раз по Академии имени Фрунзе, со всеми любопытными подробностями. Но заговорил он о подготовке покушения на Тито при помощи бомбы замедленного действия на яхте перед отправлением на остров Бриони. И попал в точку. Сталин подсказал, что и Ранкович должен разделить судьбу всей этой клики. Но про себя Сталин думал и взвешивал, может ли он еще доверять этому человеку. За то, что тот обогатился в сорок пятом году, Сталин не спешил его карать. Корыстными людьми легче управлять. Больше всех остерегался вождь бессребренников типа Бухарина. Мотивов их действий он не понимал. Но Сталин не доверял никому. Недоверие к людям было у него в крови, оно стало основой его мировоззрения. Ни матери, ни Богу, которому он одиннадцать лет отбивал поклоны в юности, ни однопартийцам, ни народу, ни солдатам, ни генералам, ни приближенным. Однажды, иронизирует Солженицын, Сталин доверился одному человеку, заключил с ним пакт о ненападении, но тот вероломно подвел. С тех пор Сталин окончательно не верил никому.

Абакумов знал, что и переусердствовать в выполнении заданий вождя нельзя — вождь не терпел отличного выполнения — это могло быть подкопом под его единственность. Никто, кроме него, не должен был уметь делать безупречно. Но положение министра Госбезопасности осложнялось тем, что ему надо было заговорить Сталина, чтобы тот забыл об отчете о секретной телефонии, разрабатываемой на т.н. "шарашке", научно-исследовательском институте при тюрьме. А из старчески-склеротического мозга вождя как раз этот пункт разговора с Абакумовым и выскользнул из памяти. В подспудной борьбе попыток вспомнить этот ускользнувший из памяти предмет у Сталина и стремления Абакумова оттянуть внимание хозяина от этого предмета, далекого от осуществления, и проходит этот необычайный поединок вождя и министра. Абакумов употребляет все свое искусство заинтересовать Повелителя другими темами, удачно играя на особом интересе Сталина к вопросам безопасности. Он охотно распространяется о делах по террору, рисует картину постоянной бдительности органов безопасности.

"—Иосиф Виссарионович! — голос Абакумова дрогнул от обиды. — Для чего и существуем мы — органы, все наше министерство, чтобы Вы, Иосиф Виссарионович, могли спокойно трудиться, думать, вести страну!.. (Сталин говорил "безопасность партийных кадров", но ответа ждал только о себе, Абакумов знал!)

— Да дня не проходит, чтобы я не проверил, чтобы я не арестовывал, чтобы я не вникал в дела!..

Все так же в позе ворона со свернутой шеей Сталин смотрел внимательно.

— Слушай, — спросил он в раздумьи, — а што? Дела по террору — идут? Не прекращаются?

Абакумов горько вздохнул.

— Я бы и рад был Вам сказать, Иосиф Виссарионович, что дел по террору нет. Но они есть. Мы раскрываем их даже на какой-нибудь вонючей кухне, даже на рынке.

Сталин прикрыл один глаз, а в другом было удовлетворение.

— Это харашё, — кивнул он. — Значит — работаете." (24).

Абакумов нашел, наконец, чем польстить вождю. Он угождает ему, хвастаясь, что органы безопасности не дают делам созреть до стадии прямой подготовки враждебных актов. Они их прихватывают на замысле, на намерении, через 19-ый пункт уголовного кодекса. Угодил он вождю и утверждением, что недовольные существуют в количестве процентов пять или семь. Внимание и заботу о молодежи Сталин понимает как более активное выдергивание целыми группами и осуждение не на 10 лет, а на двадцать пять. Сталин требует ликвидации права получения политическими заключенными продуктовых посылок. Наконец, Абакумов просит вождя вернуть смертную казнь, недавно так якобы опрометчиво отмененную. Но Сталин уже думал и об этом.

"— На днях взрну вам смертную казнь, — задумчиво говорил он, глядя глубоко вперед, как бы в годы и годы. — Эт-та будет харёшая воспитательная мера.

Еще бы он не думал об этой мере! Он больше их всех за два года страдал, что поддался порыву прихвастнуть перед Западом, изменил сам себе — поверил, что люди не до конца испорчены.

А в том и была всю жизнь отличительная черта его как государственного деятеля и полководца: ни разжалование, ни всеобщая травля, ни дом умалишенных, ни пожизненная тюрьма, ни ссылка не казались ему достаточной мерой для человека, признанного опасным. Т о л ь к о с м е р т ь была расчетом надежным, сполна.

И если глаза его прищуривались снизу, то приговор в них сверкал всегда один: с м е р т ь.

Меньшей кары просто не было в его шкале." (25).

И каким смертельно опасным шоком должна была отозваться сталинская шутка, за которой таилась вполне реальная и неминуемая в конце концов реальность:

"— А ты — нэ баишься, что мы тэбя жи первого и расстреляем?" (26).

Уж кому-кому, как не Абакумову было знать это, и поэтому не случайно его ноги задрожали в коленях.

На этот раз, правда, Абакумову повезло: подспудная вторая мысль Сталина о своем приближенном — не пришла ли пора его убрать? — решила, что еще не до конца использован этот палач, и еще не наступила пора, когда и его придется бросить в ту же яму. Тем более предстояла большая работа ему в связи с задуманной вождем новой чисткой, кото-

рая должна затмить все предыдущие. Поэтому он одобрил сообразительность своего министра:

"—Правильно! ...Когда заслужишь, — тогда и расстреляем...

—Скоро будет вам много работы, Абакумов... Будем йище один раз такое мероприятие проводить, как в тридцать седьмом. Перед ба-льшой войной ба-льшая нужна и чистка.

—Но Иосиф Виссарионович! — осмелился возразить Абакумов. — Разве мы сейчас не сажаем?

—Эт-та разве сажаем!.. Вот начнем сажать — увидишь!.. А во время войны пайдем вперед — там дальше начнем сажать! Крепи органы! Крепи органы! Шьтаты, зарплата — я тибэ ныкогда нэ откажу!

И отпустил мирно:

—Ну, иды пока." (27).

Таким образом, Солженицын, подобно Достоевскому, но на современном материале, на основании событий и урока двадцатого века, изобразил самые существенные черты психологии революции. В образе Сталина, на вершине революционного взлета, как раз и совершается падение в бездну человеческого вырождения. Великая идея освобождения человека от всех цепей порабощения и сопутствующий ей великий гнев завершается невиданным в истории личным самоутверждением и своеволием. Дав выход разрушительной жажде мести, оскорбления и унижения прежних поработителей, волна революционного подъема выносит на своем гребне новых поработителей, уже не знающих никаких нравственных и моральных постулатов. Становясь законом в себе, они не останавливаются ни перед какой кровью, мучительством и издевательством во имя революции или позднейшего социалистического переустройства.

Стремление внушить страх и покорность, рабскую подчиненность новым правителям, заставляет их прибегать к деспотизму, террору, ужасам массового кровопускания и безжалостного подавления. На вершине власти это уже не революционер, разрушающий старый порядок, а суровый завоеватель, не защитник слабых и угнетенных, вдохновенный жалостью и сочувствием к трудящимся, а безжалостный террорист и своевольный деспот, не знающий границ своему беззаконию. Бывшие угнетенные становятся сами угнетателями, раскованный раб превращается в худшего деспота, несущего рабство во много раз худшее.

Читая у Солженицына страницы, посвященные Сталину, мы убеждаемся, каким великим дьявольским обманом обернулась русская революция, к какому ужасу привело почти маниакальное увлечение ею. В Сталине оказалась олицетворена неминуемая в революции тенденция появления за рассеявшимися призраками свободы чудовища безграничной тирании с ее неотъемлемыми атрибутами всеобщей слежки одного за другим, доносительства, шпионства и убийств. Только в эту сторону направлено все внимание и интересы Сталина, и только образ великого имморалиста и убийцы, под благовидным предлогом защиты завоеваний революции и социализма, обрисовывается в сценах разговора с Абакумовым. Психоанализ сталинской лукавой силы, на гибели всех единомышленников укрепившей свою безграничную власть над народом и простирающей сейчас свои шупальцы ко всему миру, как закономерность всякой революции, очень поучителен и является незаменимым уроком,

преподанным литературой миру.

После знаменитых "Бесов" Достоевского, поведавшего миру об интимных тайниках революционного подполья и обнажившего самые сокровенные стороны революции, Солженицын преподал нам урок уже на основании практики победившей революции, обогатившей нас новыми подтверждениями правоты великого писателя девятнадцатого века. Вслед за тайновидцем Достоевским, понявшим истинную сущность революции на личном опыте и прошедшим через все ее соблазны и обещания, Солженицын вобрал в себя опыт двадцатого века и, помноженным на свой личный опыт жертвы террора, вернул нам его поучительную сущность в виде ярких художественных творений, которые, благодаря большому и оригинальному таланту этого писателя, стали зеркалом последствий русской революции в мировом масштабе. Теперь уже перед лицом читающего мира предстали не только темные стороны революционного подполья, как в "Бесах" Достоевского, но и вся анатомия перерождения революции в реакцию, правда дегенерации высоких идеалов в самую реакционную и застойную систему. Художественное ясновидение Достоевского приобрело здесь форму нового художественного постижения и проникновения в мир, окруженный тайнами, и до Солженицына закрытый от взоров извне. Психологический свод революции дополнился новейшими закономерностями ее развития в полную противоположность – отрицание революции и в деспотию. В этом отношении имя Солженицына может быть поставлено рядом с именем актуального и на сегодняшний день пророка и тайновидца революции Достоевского.

С точки зрения формы полифонического романа может рассматриваться вся та карнавальная преисподняя, весь ад, создаваемый Сталиным и его сподручником Абакумовым. Ведь даже если два слова Сталина – "Крепи органы" – являются санкцией на развязывание неограниченного террора и сопутствующих ему ужасов и жестокостей. Карнавализация легко позволяет частную сцену встречи министра с Повелителем раздвинуть до размеров страны и в масштабе всего покоренного последним мира. Она может легко быть раздвинутой до пределов универсальной мистической общечеловеческой сцены. Разговор двух персонажей можно представить как встречу двух в беспредельности, в карнавально-мистерийном пространстве и времени.

Конечно, карнавализация у Солженицына органически сочетается со многими другими особенностями полифонического романа, как и в полифоническом романе Достоевского. В продолжающей предыдущую главу о Сталине под названием "Старость" герой по-карнавальному иронически назван Бессмертным, и именно в этой главе он изображен человеком, уже неминуемо глядящим смерти в глаза. Среди рассуждений об императорах, как повелителях, начальниках, о том, как бы хорошо звучало для него звание Императора Планеты, Императора Земли, о памятниках на Казбеке и Эльбрусе, чтобы голова всегда была выше облаков, как Величайшего из всех Великих, его вдруг осеняет мысль о... Том, кто над облаками, выше глаз. Вопрос о Боге стал все чаще и чаще ставить его в тупик по мере старения.

В нем еще сильны и живучи усвоенные с элементарным марксизмом

доводы логики. Но никогда в человеке неискоренимы заложенные с детства основы веры. Всю жизнь он вытраивал в себе и во всей стране каленым железом всякие рецидивы религиозного чувства. Но они оживились в нем к концу жизни. Ведь он до девятнадцати лет рос на Ветхом и Новом заветах, на житиях святых, годами изучал историю церкви в семинарии, прислуживал на литургиях, пел на клиросе, прикладывался к иконам. И вот даже теперь он пожелал увидеть свою фотографию как выпускника духовного училища в сером подряснике, в своей юбилейной биографии. В трудные минуты к нему невольно являлись христианские слова, наподобие тех, которые он проронил, обращаясь к народу перед лицом смертельного врага, стоящего недалеко от Москвы в 1941 году: "братья и сестры". Он, может быть, и молился в те дни, как крестятся безбожники в минуту внезапного несчастья. Заметили, что ему приятно было знать, что церковь в своих молитвах провозглашает его Богоизбранным вождем. Поэтому он и встречал своего патриарха, как ни одного своего министра, выходил ему навстречу к дальним дверям и вел к столу под локоток, а Лавру держал на кремлевском снабжении.

Сталин реабилитировал позорное в начале пятилеток слово "родина", "Россия". Он стал чаще провозглашать здравицы русскому народу. В своем расположении к старому миру, из которого он сам вышел, но который он безжалостно разрушал и искоренял в течение нескольких десятилетий, он вернул погоны, институт офицерства, директоров, ввел раздельное обучение, пелеринки, вернул русским воскресенье, закон о браке. Он сорок лет испытывал стыд за сдачу Порт-Артура, подобно миллионам других русских людей.

Солженицын смог увидеть в Сталине то "изображение вечности, зароненное каждому", которое человек пронесит сквозь жизнь и от степени искажения или умения сохранить "неомутненным, непродрогнувшим, неискаженным" (28) зависит ценность человека как образа Божия. В Сталине искажение этой человеческой сущности достигло небывалого предела, но и в нем на старости Божья искра засвечивалась минутами и сказывалась относительно добрыми делами. По существу Сталин в этой последней о нем главе — "Старость", выглядит скорее трагическим характером, пленником созданных им же условий и доктрины, заключенным в пределах строго охраняемой дачи-тюрьмы, изолированным от народа, без единственного друга, лишенным обычных человеческих радостей. Ему не нужна была даже его любимая дочь, даже ее допускали к нему только по праздникам. Все ему желали смерти. Недаром молва говорит, что над еще не охладевшим телом Сталина, сраженным ударом, его наиболее верный помощник грязных дел — Лаврентий Берия, от радости заскакал в лезгинке со словами: "Мы свободны! Мы свободны!". Даже если это не соответствует действительности, в этой сплетне есть доля истины. Сталин был всем невмоготу. У Солженицына Сталин последних дней был жертвой погасающей памяти, меркнувшего разума и невыносимого одиночества, наполнявшего его беспомощным ужасом.

*(Окончание в следующем номере)*



"ПАМЯТНИК" ГОРАЦИЯ

Знаменитейшее стихотворение римского поэта Квинта Горация Флакка "Я воздвиг памятник" в оригинале никакого названия не носит: это просто тридцатое стихотворение в 111 книге поэта. Уместным представляется мне привести его здесь в дословном прозаическом переводе:

"Я воздвиг памятник долговечнее меди,/ По царственному положению более высокий, чем пирамиды,/ И которого ни едкий дождь, ни все же недостаточно сильный Аквилон/ Не смогут разрушить, ни неисчислимых/ Ряд годов или бег времен./ Я не весь умру: большая часть меня/ Избежит Либитины, и я даже позднейшею хвалюю/ Буду возвеличиваться, покуда на Капитолий/ Выходит верховный жрец с молчалиницей девой./ Обо мне скажут, что там, где вздымается бурный Авфид и где Давн/ Царствовал над народами поселян маловодной (земли), я, из простых став мощным,/ Первый эолийскую песню на италийские/ Размеры переложил. Усвой же гордость,/ Добытую заслугами, и мне дельфийским/ Лавром увенчай охотно, Мельпомена, главу."

В латинском оригинале стихотворение Горация выглядит довольно сухим. Расхолаживают имена мифологических лиц и географические названия. Тем не менее, это стихотворение переведено едва ли не на все новые языки, причем по многу раз. Более того: лучшие и просто хорошие поэты использовали з а м ы с е л "Памятника", чтобы наметить оценку собственного места в истории своего народа, но об этом речь впереди, а для начала ограничимся именно *переводами*. Мне известно около десяти опытов более или менее точного перевода "Памятника" на русский язык, причем старейший из них принадлежит М.В.Ломоносову (1711-1765):

"Я знак бессмертия себе воздвигнул  
Превыше пирамид и крепче меди,  
Что бурный Аквилон сотреть не может,  
Ни множество веков, ни едка древность.  
Не вовсе я умру; но смерть оставит  
Велику часть мою, как жизнь скончаю.  
И буду возрастать повсюду славой,  
Пока великий Рим владеет светом,  
Где быстрыми шумит струями Авфид,  
Где Давнус царствовал в простом народе,

Отечество мое молчать не будет,  
Что мне беззнатный род препятством не был,  
Чтоб несть в Италию стихи эольски  
И первому звенеть Алцейской лирой.  
Возгордися праведной заслугой, муза,  
И увенчай главу дельфийским лавром."

"Едкий дождь" Ломоносов заменил "едкой древностью". Рассказ Горация о первосвященнике и деде он упростил ("Пока великий Рим владеет светом"), но зато дважды говорит о смерти римского поэта ("Не вовсе я умру...как жизнь скончаю"). "Маловодную страну поселян" он заменяет риторическим "Отечество мое молчать не будет", вводит "Алцейскую лиру" (если это Алкеева строфа, то здесь Гораций ею не воспользовался); в заключение призывает музу вообще, а не именно Мельпомену, музу трагедии, "увенчать главу" – свою, а не Горациеву, – дельфийским лавром.

Второй и третий переводы принадлежат Василию Васильевичу Капнисту (1758-1823), но мне известен только один из них – кажется, более удачный. Озаглавлен он "Памятник Горация":

"Я памятник себе воздвигнул долговечный;  
Превыше пирамид и крепче меди он.  
Ни едкие дожди, ни бурный Аквилон,  
Ни цепь несметных лет, ни время быстротечно  
Не сокрушат его. Не весь умру я, нет:  
Большая часть меня от строгих парк уйдет;  
В потомстве возрасту я славой справедливой:  
И в гордый Капитол с весталкой молчаливой  
Доколе будет жрец торжественно входить,  
Не перестанет всем молва о мне твердить,  
Что тамо, где Авфид стремится ревуши воды,  
И в дебрях, где простым народом Давн владел,  
Я первый, вознесясь от низкия породы,  
В латинские стихи эольску меру ввел.  
Гордись блистательным отличьем, Мельпомена!  
Гордись: права тебе достоинство дало.  
Из лавра дельфского, в честь Фебу посвященна,  
Венок бессмертный свив, укрась мое чело."

Римскую Либитину Капнист превратил в "строгих парк" (хотя обрывает человеческую жизнь только третья сестра – Атропос); "дева" у него определено весталка. "Дебри" – болота, а страна маловодная. Итальяские лады Капнист упростил до "латинских стихов". Феба Гораций не называет. Досадны церковно-славянская форма родительного падежа прилагательных женского рода: "от низкия породы", местоимение "тамо", ненужное повторение глагола "гордись". И уж вовсе не было нужно вводить рифму, которая у греков и римлян появлялась

изредка и лишь в качестве необязательного украшения. Метрика Капниста тоже сильно отличается от метрики подлинника.

Четвертым переводчиком стихотворения Горация был Александр Христофорович Востоков (1781-1864), озаглавивший его "К Мельпомене":

"Крепче меди себе создал я памятник;  
Взял над царскими верх он пирамидами,  
Дождь не смоег его, ветром не сломится,  
Цельным выдержит он годы бесчисленны,  
Не почует следов быстрого времени.  
Так, я весь не умру – большая часть меня  
Избежит похорон: между потомками  
Буду славой расти, ввек обновляясь,  
Зря безмолвный проход по Капитолию  
Дев Весталей вослед Первосвященнику.  
Там, где Авфид крутит волны шумящие,  
В весях, скудных водой, Давнус где царствовал,  
Будет слышно, что я – рода беззнатного  
Отрасль – первый дерзнул в Римском диалекте  
Эолийской сложить меры поэзию.  
Сим гордиться позволь мне по достоинству,  
Муза! сим увенчай лавром главу мою."

Иные обороты у Востокова архаичнее, чем у Ломоносова. Подлежащим во фразе "вихрем не сломится", повидимому, должен считаться "дождь" (а следовало: памятник); "не почует" и "не почувствует" – не одно и то же. "Весталей" звучит хуже, чем позднейшее "весталок", да и Гораций говорит об одной деве-молчальнице. Местоимение "где" повторено неуклюже. "ДиАлект" и "язык" – не синонимы.

Возможно, что существуют и другие переводы "Памятника", сделанные в середине девятнадцатого века, но я о них не слышал. Следующий по времени перевод "Памятника" принадлежит А.А.Фету:

"Воздвиг я памятник вечнее меди прочной  
И зданий царственных, превыше пирамид;  
Его ни едкий дождь, ни Аквилон полночный,  
Ни ряд бесчисленных годов не истребит.  
Нет, я не весь умру, и жизни лучшей долей  
Избегну похорон, и славный мой венец  
Все будет зеленеть, доколе в Капитолий  
С безмолвной девою верховный ходит жрец.  
И скажут, что, рожден, где Ауфид говорливый  
Стремительно бежит, где средь безводных стран  
С престола Давн судил народ трудолюбивый;  
Что из ничтожества был славой я избран  
За то, что первый я на голос эолийский  
Свел песнь Италии. О, Мельпомена! свей

Заслуге гордой в честь сама венец дельфийский  
И лавром увенчай руно моих кудрей."

По сравнению с переводом Востокова – не шаг вперед, а прыжок. Архаизмов нет (неудачны только "вечнее" и "избрАн"). Недостатки перевода Фета иные: он держится за ненужную рифмовку и уже в шестую строку вводит свой "славный венец", который "все будет зеленеть", чем упраздняет надобность в другом венке – от самой Мельпомены. Слово "кома" (по-нынешнему: шевелюра) он переводит, как "руно моих кудрей", и этим чрезмерно нагнетает образность. В метрике он не пытается сколько-нибудь приблизиться к подлиннику.

Несравненно слабее фетовского перевод Валерия Брюсова:

"Вековечней воздвиг меди я памятник,  
Выше он пирамид царских строения,  
Ни снедающий дождь, как и бессильный ветер,  
Не разрушат его век, ни бесчисленных  
Ряд идущих годов, или бег времени.  
Нет, не весь я умру, большая часть моя  
Либитины уйдет; славой посмертною  
Возрастать мне, пока по Капитолию  
Жрец верховный ведет деву безмолвную.  
Буду назван, где мчит Авфид неистовый  
И где бедный водой Давн был над сельскими  
Племенами царем, из ничего могущ.  
Первым я перевел песни Золии  
На итальянский лад. Гордость заслуженно  
Утверди и мою главу дельфийским  
Благосклонно венчай лавром, Мельпомена."

Многое здесь просто плохо: "Выше он пирамид царских строения" (мы говорим: "выше Эйфелевой башни", но не "выше строения Эйфелевой башни"). Аквилон заменен просто "ветром", но зато назван "бессильным", хотя ясно, что бессильный бриз никакой постройки не разрушит. Очень плохо "Либитины уйдет": без предлога "от" нельзя обойтись. Жрец – и не "по Капитолию", а *на* Капитолий – не "ведет деву безмолвную", ибо тогда она стала бы главным действующим лицом церемонии, а на самом деле благоговейно молчавшая весталка сопровождала "понтифекса" – верховного жреца, титул которого унаследован римским папой ("понтифекс максимус").

Слова Горация "из ничего могущ" Брюсов относит не к римскому поэту, а к царю Давну, и это – закономерное толкование. Трудно, однако, принять такие обороты речи, как "утверди гордость", нестильный архаизм "ветр" и пропуски метрических ударений на словах "бег" (пятая строка), "мне" (восьмая), "был" (одиннадцатая). Весьма сомнительны ударения "дЕльфийским" и "МельпОмена" в заключительных строках.

Литературные произведения стареют. Архаизмы встречаются даже у Горация и тем менее можно считать окончательным чей-либо перевод "Памятника" на живой и, следовательно, изменяющийся язык. За столетие, истекшее со времени перевода Фета, "Памятник" был переведен много раз, преимущественно в России, где одаренные поэты нашей эпохи бегут в перевод, уклоняясь от повинности быть поставщиками од и панегириков очередному вожаку.

Расположить советских переводчиков в приблизительном хронологическом порядке не могу, ибо почти ничего о них не знаю. Возможно, что старейший из приводимых ниже переводов сделан маститым С.Шервинским:

"Создал памятник я, бронзы литой прочней,  
Царственных пирамид выше поднявшийся.  
Ни спадающий дождь, ни Аквилон лихой  
Не разрушат его, не сокрушит и ряд  
Нескончаемых лет, — время бегущее.  
Нет, не весь я умру, лучшая часть меня  
Избежит похорон. Буду я вновь и вновь  
Восхваляем, доколь по Капитолию  
Жрец верховный ведет деву безмолвную.  
Назван буду везде — там, где неистовый  
Авфид ропщет, где Давн, скудный водой, царем  
Был у грубых селян. Встав из ничтожества,  
Первым я приобщил песню Золии  
К итальяским стихам. Славой заслуженной,  
Мельпомена, гордись и, благосклонная,  
Ныне лаврами Дельф мне увенчай главу."

"Спадает" вода или температура, а дождь *"идет"*. Не верховный жрец "ведет деву", а сама она его сопровождает. Не ясно, как царь (Давн) мог быть "скуден водой": бывают ли цари, обильные водой? Песню Золии Гораций не "приобщил к итальяским стихам", а, напротив, итальяские стихи облек в золийское одеяние. А вот перевод Н. Вулих:

"Памятник я воздвиг, меди прочнее он,  
Вьше, чем пирамид царственных гордый взлет.  
Дождь, точащий гранит, и Аквилона вихрь  
Не разрушат его. Неисчислимый ряд  
Лет над ним пролетит и пробегут века.  
Нет! Не весь я умру, лучшая часть меня  
Похорон избежит. Слава моя цвести  
Будет вечно, пока в Капитолийский храм  
Жрец восходит и с ним дева молчащая.  
Стану известен всем. Скажут: родился я  
Там, где Ауфид шумит, там, где некогда Давн

В бедных водой полях правил сельской страной,  
Ставший царем беглец. Первый я перевел  
Песнь эолийскую на италийский лад.  
Будь же мною горда, о, Мельпомена – взяв  
Лавр дельфийский, увей с лаской чело мое!"

Памятник, который выше, чем "пирамид гордый взлет", не убеждает. "Едкий" сильнее, чем "точащий гранит". Слова "ставший царем беглец" переводчик (или переводчица) относит не к Горацию, а к Давну, имея на то право, хотя "беглецом" поэт не назвал ни Давна, ни себя. Теперь прочтем перевод Н.Шатерникова:

"Создал памятник я, меди нетленнее,  
Пирамидных высот, царственных, выше он.  
Едкий дождь или ветер, яростно рвущийся,  
Век не сломит его, или бесчисленный  
Ряд кругов годовых, или бег времени.  
Нет! Не весь я умру, – часть меня лучшая  
Избежит похорон; славою вечною  
Буду я возрастать, в храм Капитолия  
Жрец восходит пока с девою безмолвною.  
Речь пойдет обо мне, где низвергается  
Ауфид ярый, где Давн людом пастушеским  
Правил, бедный водой, – мощный из низкого,  
Первый я преложил песню Эолии  
В италийских ладах. Гордость заслуженно,  
Мельпомена, яви, – мне ж, благосклонная,  
Кудри лавром обвей, ветвью дельфийскою."

Плохи "пирамидные высоты", "ветр", "преложил", глагол "яви", "круги годовые" (со словом "бег" без ударения, как у Брюсова). Плохо, что союз "пока" загнан в середину фразы, хотя его место в начале.

Следующий известный мне перевод – Семенова-Тяншанского (без инициалов):

"Создан памятник мной. Он вековечнее  
Меди, и пирамид выше он царственных.  
Не разрушит его дождь разъедающий,  
Ни жестокий Борей, ни бесконечная  
Цепь грядущих годов, вдаль убегающих.  
Нет, не весь я умру: Лучшая часть моя  
Избежит похорон: буду я славиться  
До тех пор, пока жрец с девою безмолвною  
Всходит по ступеням в храм Капитолия.  
Будет ведомо всем, что возвеличился

Сын страны, где шумит Авфид стремительный,  
Где безводный удел Давна – Апулия,  
Золийский напев в песнь италийскую  
Перелив. Возгордись этую памятной  
Ты заслугой моей и, благосклонная  
Мельпомена, увей лавром чело мое!"

"Долговечнее" было бы, пожалуй, лучше, чем "вековечнее". Борей – то же, что Аквилон, придираться не будем. Отсутствие ударений на значительных словах раздражает в восьмой строке ("дотех-пор", "покажрЕц"). Пояснение, что страна Давна – Апулия, скорее примечание, внесенное в текст, чем перевод. В четвертой с конца строке нагромождены согласные: "напеВ В Песнь". Такого неблагозвучия Гораций не допускает. "СтупенЯм" хуже, чем было бы "ступенЯм".

В книге "Поэты-лирики древней Эллады и Рима" (Москва, 1963) напечатан перевод Я.Голосковера:

"Создал памятник я меди победнее,  
Он взнесен пирамид выше и царственной.  
Не обрушит его бурь необузданность,  
Едкий дождь не разъест, ни водопад времен –  
Бег и звенья годов неисчислимые...  
Нет, не весь я умру. Высшая жизни часть  
От забвенья уйдет. Буду в веках расти,  
Возрождаясь, пока в высь Капитолия  
Входит жрец и за ним дева-молчальница.  
Скажут: с гор, где Ауфид бешено пенится,  
Где в безводном краю над деревенщиной  
Давн когда-то царил, родом ничтожный смог  
Первый песнь передать вольной Золии  
Италийским стихом. С благоволением,  
Мельпомена, прими гордую славу дел  
И дельфийской листвою мне увенчай главу."

Тяжеловата вторая строка (он Взнесен"). "С гор" (в десятой строке) и "вольная Золия" – не из Горация. Презрительное "над деревенщиной" – необоснованная грубость (было бы лучше: "над поселениями"). По-новому передал Я.Голосковер не дававшееся слово "воленс" (у одних – "благосклонно", у других – "с лаской"; лучше всего было бы "удовлетворенная" или "довольная", но и "с благоволением" не искажает мысли великого поэта. Зато "всходить в высь" даже о солнце сказать нельзя. И напрасно лавр заменен у Голосковера неопределенной "листвою" (какой попало?).

К сожалению, не удалось мне достать перевод Софьи Парнок. Знайки хвалят этот перевод, но в примечаниях ко второму тому сочине-

ний О.Э.Мандельштама (изд. 1966 года, стр.540) читаем о Софье Парнок следующее: "Парнах был братом второстепенного поэта и критика Софьи Парнах, писавшей под псевдонимом "Андрей Полянин". На следующей странице разъясняется, что "хотя София Парнок и была второстепенным поэтом, о котором теперь мало кто помнит, ее поэзия стояла на высоком уровне... Как поэта ее очень ценил В.Ф.Ходасевич, посвятивший ей после ее смерти статью в парижском "Возрождении".

Если "забытая" София Парнок перевела "Памятник" в России, а не за рубежом (в книгах Г.П.Струве "Русская литература в изгнании" и "Русская литература под властью Ленина и Сталина" о ней не упомянуто), то единственным зарубежным переводом "Памятника" за полвека останется мой собственный. Он сделан 31 марта 1972 года в Рио де Жанейро:

"Памятник я воздвиг — меди незыблемей,  
Царственный, пирамид гордых возвышенной:  
Дождь не разъест его, вихрь обессиленный  
Склонится перед ним, и обойдет его  
Чередование лет — шествие времени.  
Я не совсем умру: часть меня большая  
Избежит похорон и не состарится,  
И до конца, пока склон Капитолия  
Будет жрец посещать с девой-молчальницей,  
Я не буду забыт: там, где вздымается  
Бурный Авфид в земле Давна засушливой,  
Я, человек простой, стал выдающимся,  
Ритмы Золии первый в Италии  
Перенести сумею. Ныне же праведно,  
Муза, мною гордись и, умиленная,  
Мне на главу воздень лавры дельфийские."

Сходные окончания первого двустишия — попытка приблизиться к созвучию "перенниус — альциус" подлинника. Слово "воленс" я перевел, как "умиленная". Не уверен, можно ли "воздеть лавры" (обычно воздевают *руки*); буду признателен, если мне подскажут лучшее слово.

Переводчик вольно или невольно поступает в услужение к поэту. Мечтать он смеет лишь о том, чтобы как можно лучше передать дух и стиль оригинала. Любая мелочь, опущенная в переводе, может оказаться для перевода роковой, но еще хуже — добавления ("отсебятина"), которые в ремесле поэтов-переводчиков считаются смертным грехом.

Художественный перевод — не пересказ, а воссоздание чужого произведения на другом языке. Степень успеха может быть весьма различной: есть переводы, о которых только и можно сказать, что лучше бы их не было, но есть и переводы, которыми переводчик поднимает себя на высоту поэта-творца.



Подлинный "Памятник" Горация – вещь сухая. И всем нам достаточно чуждая. И пирамиды, и верховный жрец с весталкой, и Капитолий, и река Авфид, и царь Давн отодвинулись от нас бесконечно далеко.

Мысль написать о *своем* Памятнике, о *своем* месте в родной литературе приходила в голову многим великим, крупным, а то и посредственным поэтам. Ясно, что русскому поэту чужды Италия и Эолия, Аквилон и Мельпомена. И говорить будет русский поэт о своем, близком – на языке иных символов и образов.

Первую самостоятельную разработку темы Памятника сделал в России Г.Р.Державин:

"Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,  
Металлов тверже он и выше пирамид;  
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,  
И времени полет его не сокрушит.

Так! – весь я не умру, но часть меня большая,  
От тлена убежав, по смерти станет жить,  
И слава возрастет моя, не увядая,  
Доколь Славянов род вселенна будет чтить.

Слух обо мне пройдет от Белых вод до Черных,  
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;  
Всяк будет помнить то в народах неисчетных,  
Как из безвестности я тем известен стал,

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге  
О добродетелях Фелицы возгласить,  
В сердечной простоте беседовать о Боге,  
И истину царям с улыбкой говорить.

О, Муза! возгордись заслугой справедливой,  
И презрит кто тебя, сама тех презирай,  
Непринужденною рукой, неторопливой  
Чело твое зарей бессмертия венчай."

К таким стихам и подход другой. Обсуждать будем не степень приближения к замыслу и тексту образца, а мысль, стиль, язык и мастерство самого Державина. Ни иная метрика, ни иное число строк, ни присутствие рифм ничего у "Памятника" Державина не отнимают.

Второй русский Памятник создал себе А.С.Пушкин. Стихотворение это общеизвестно.

Третий "Памятник" написал Валерий Брюсов. Обсуждать его не хочется, но в начале четвертой строки слово "знал" оставлено без ударения, а в заключительной строке нагромождены согласные ("меня

В Всемирный..."). Как раз во избежание этого явления русская грамматика учит нас разворачивать предлог "в" в "во": конечно же, "во" всемирный храм!..

Кроме этих трех, я не знаю заимствований "Памятника" в русской поэзии. Зато наблюдается новое явление: теперешние поэты пишут не декларативные Памятники, а иронические "анти-Памятники". Раньше говорили: "Я воздвиг", а теперь говорят: "Я не воздвиг" (не сумел, ничего не получилось).

В заключение да будет мне позволено привести здесь и мой "Не памятник...", написанный 16 апреля 1972 года:

"Не памятник себе – темницу я построил,  
в которой жизнь моя загублена в плену,  
и русской Музе я размаха не удвоил,  
хотя любил ее – любил ее одну.

Ей дела не было до жестов краснобая,  
до рифм изысканных и взвешенных слогов,  
до скучной тихости буддийского Китая,  
до мутно-желтых рек и вязких берегов.

Напрасно, в сумерки годов пятидесятых,  
ее в Бразилию обманом я завлек:  
ведь даже в просеке, среди холмов покатых,  
рябины чахлый куст обиженно поблек.

И спутница моя мне отомстить готова:  
на север убежит и над Москва-рекой  
не скажет обо мне сочувственного слова  
ни в перечне имен, ни в сноске под строкой."



## БЫЛА ЛИ АТЛАНТИДА?

*(Окончание. Начало в № 32).*

В эпоху Елизаветы Первой Английской Фрэнсис Бэкон написал неоконченный утопический роман "Новая Атлантида". К тому времени стали думать, что, действительно, какой-то большой остров между Америкой и Европой был поглощен океаном. Сторонники такого мнения назывались атлантистами, но атлантизм оставался областью фантазий и поэтических догадок, пока в 1882 году Игнатий Доннели не постарался придать этому преданию об Атлантиде научных обоснований в своей книге "Атлантида: Допотопный Мир" (книга эта была последний раз переиздана в 1949 году под редакцией и с примечаниями Эггертона Сайкса).

Игнатий Доннели (1831-1901) был весьма колоритной личностью. Адвокат по образованию, он двадцати восьми лет был избран вице-губернатором Миннесоты, затем членом Конгресса в Палату Представителей от республиканской партии. После поражения на выборах в 1870 году занялся научно-историческими исследованиями, написав книги об Атлантиде, об исландских сагах, где говорится об огненном конце мира ("Рагнарок"), и о Фрэнсисе Бэконе как авторе шекспировских трагедий ("Великая Криптограмма").

В своей дальнейшей политической деятельности он порвал с республиканцами и стал одним из главных деятелей партии популистов, которая на президентских выборах 1891 года собрала один миллион голосов, по тогдашнему цензу – 10 процентов.

Книга Доннели открыла оживленную дискуссию вопроса об Атлантиде – настолько, что к теперешнему времени библиография по этому вопросу насчитывает до пяти тысяч сочинений "за" и "против".

В кратких чертах утверждения Доннели сводятся к следующему: сообщение Платона надо считать за соответствующее действительным событиям, происшедшим в указанное Платоном время. На острове Атлантида человек впервые достиг цивилизованного состояния и оттуда, как из центра, цивилизация распространилась и на запад и на восток: в обе Америки и в область Средиземного моря.

Время расцвета этой цивилизации надо считать допотопным: когда-то произошла великая геологическая катастрофа, уничтожившая

Атлантиду и нашедшая свое отражение в мифах американских, африканских, европейских и азиатских народов. Возможность такой катастрофы подтверждается данными геологии.

Решительным противником всех утверждений и Платона и Доннели выступил Спраг де Камп в своей книге "Потерянные Континенты". Он подверг рассказ Платона и утверждения Доннели историческому, географическому и логическому анализу, доказывая несостоятельность их.

В отношении Платона он указывает, что автор "Диалогов" не был ни историком, ни географом своего времени; фантастичность взглядов Платона на природу; высказанных в "Тимее", подтверждает мнение де Кампа. Платон пытался быть социальным реформатором и в духе своего времени прибегал к своего рода беллетристике для пропагандирования своих взглядов. Его целью было не сообщение фактов, а убеждение читателей в приемлемости (и превосходстве!) социальной схемы его "Республики", на основании которой и были описаны его "древние Афины".

Де Камп указывает, что Платон логически запутался в своем повествовании и потому бросил "Крития" на полуслове. Ввиду того, что никаких конкретных следов и данных о существовании "Древних Афин" не оставалось, то, по примеру всех авторов фантастических историй, Платону нужно было выйти из этого положения, уничтожив в катастрофе и добродетельных афинян вслед за побежденными корруптивными атлантами. Но тогда у читателя возникал естественный вопрос: а за что же афинян тоже? И таким образом повествование прервалось. Вместо окончания "Крития" Платон написал свой последний диалог "Законы", в котором его, первоначально весьма авторитарная и тоталитарная, концепция государства была смягчена.

Спраг де Камп указывает на многие случаи из истории народов средиземноморского бассейна, которые могли послужить Платону прообразом катастрофы. Так, около 1400-го года до Р.Х. произошла вулканическая катастрофа на острове Тера (или Фера) — город и остров были уничтожены подземным взрывом. Остатки образовавшегося подводного вулкана выступают гребнем и известны теперь как остров Санторин. Вулканический пепел извержения покрыл огромную площадь на море и, в частности, засыпала Крит, причем морская волна (цунами), повидимому, уничтожила критский флот. С этого времени начинается упадок Крита как морской державы. Для тогдашнего Египта (19-ая династия Рамессидов) это имело весьма невыгодные последствия: Крит всегда был союзником, прикрывавшим важные морские пути Египта в Палестину (импорт дерева!) в обмен на египетскую пшеницу — Египет был житницей восточного Средиземноморья. Упадком Крита воспользовались "морские народы" западной части моря — шарды и турши (сардинцы и этруски), помогшие ливийцам ("лебу") вторгнуться в египетскую Дельту за пшеницей. Тогдашнему фараону Мернепта (сыну Рамзеса Второго Великого) стоило больших трудов остановить это вторжение. Произошли эти события за 900 лет до разговора Солона с Саисским жрецом. Весьма возможно, что этот рассказ передавался потомками Дропида, брата Солона, из поколения в поколение в виде семейной хроники, причем 900 лет могли легко обратиться в 9000.

Греческий археолог и геолог Галаноулоос считает критскую катастрофу и взрыв на острове Тера источником преданий об Атлантиде, тем более, что теперь на дне моря около Санторина обнаружен погруженный город.

Но Платона не устраивало показать организацию защиты "древних Афин" от внешнего врага, идущего с малого острова. По замыслу следовало показать преимущество строя, проектированного Платоном, против очень сильного противника — отсюда многочисленные атланты с их металлургией и техникой.

Имя атлантов или Атлантиды могло быть взято Платоном от названия островка Аталанте у берега Опунтийской Локриды, опустошенными в 426 году до Р.Х., как рассказывает Фукидид

Таковы вкратце возражения Спрага де Кампа Платону. Его возражения Игнатию Доннели не менее основательны по всем пунктам утверждений последнего.

В 1912 году в журнале "Нью Йорк Америкэн" появилась сенсационная статья Пауля Шлимана "Как я открыл Атлантиду — источник всех цивилизаций". П.Шлиман утверждал, что его знаменитый дед оставил после себя запечатанный конверт с какими-то археологическими материалами и запечатанную вазу с совиной головой. Эти материалы были оставлены тому из членов семьи Шлиманов, кто подпишет обязательство продолжать исследования сделанного открытия. Пауль Шлиман подписал это обязательство и вскрыл пакет и вазу. В вазе были монеты из сплава серебра, платины и алюминия (!) и пластинка с надписью: "Выдана в Храме Прозрачных Стен", а в пакете было будто бы сообщение Генриха Шлимана о находке в Трое бронзовой вазы с надписью: "От Хроноса, короля Атлантиды". Пауль Шлиман обещал издать книгу с подробным объяснением своих исследований халдейских и тибетских рукописей, повествующих об Атлантиде, но обещания так и не выполнил и своих материалов на научную экспертизу не представил.

Здесь нужно заметить, что указанный выше сплав может представить затруднения для приготовления и при современной технике (большие различия в температурах плавления составных частей и окисляемость алюминия при высоких температурах на воздухе). Но при этом надо иметь в виду, что платина была древним неизвестна, а ее присутствие на Атлантиде маловероятно, алюминий же получен впервые лабораторно в 1825 году, а его техническое производство происходит действием сильных электрических токов на расплав руды в соответственном плавне — техника для металлургов бронзового века вполне невысказанная.

В дальнейшем заявление Пауля Шлимана было расценено как обман с целью произвести сенсацию.

Писатель и поэт Д.С.Мережковский посвятил проблеме Атлантиды книгу: "Тайна Запада. Европа и Атлантида." В этой книге Мережковский принимает свидетельство Платона за истинное. Доводом в пользу этого служит то соображение, что и Солон, и Критий, и сам Пла-

тон были слишком хорошо известны в Афинах и потому ссылка на несуществующую рукопись была бы всеми замечена и только дискредитировала бы автора.

По Мережковскому самое главное – это урок судьбы Атлантиды, преподанный Западу и трагически им забытый. Книга Мережковского была издана в 1930 году и содержит в себе предчувствие грядущей катастрофы Запада в виде приближающейся войны. По мнению Мережковского, гибель Атлантиды была вызвана именно устремлением к войне и крови, наследием чего были кровавые культы южноамериканских культур, тоже, в свою очередь, обреченных на погибель. Предупреждение Мережковского звучит так: "Атлантида была, Апокалипсис будет!"

Мережковский цитирует И. Доннелла в сообщении последнего о месте у историка Тимагена Александрийского (1-ый век до Р.Х.), где упоминается, что Галию населяют три различных народа: 1) местное, судя по описанию, моголоидное население; 2) завоеватели с дальнего острова; и 3) арийцы-галлы. Далее, Мережковский ссылается на известные списки фараонов: Менефона и Туринский, Именно. Менефон отводит до-династическому Египту (до установления правления Менеса в 3400-ом году\*) период в 5.813 лет, в то время, как Туринский список исчисляет этот период правления "полубогов" в 5.613 лет. Считая разницу в цифрах "8" и "6" опиской в одном или другом случае и полагая разницу в 200 лет несущественной для столь длительного периода, Мережковский складывает оба периода – династический и до-династический и получает девятитысячную давность для установления правления "полубогов" в долине Нила, что приблизительно совпадает с давностью погружения Атлантиды по Платону и возможностью появления установителей культуры оттуда. Но в своих геолого-археологических высказываниях Мережковский повторяет Донелли, превосходя последнего своей эрудицией в анализе мифов. Именно в мистике мифов Мережковский находит подтверждение существования Атлантиды и ее конца.

Поэтому Мережковскому можно сделать те же возражения, что и Донелли: отсутствие археологических находок высоко развитой (да и вообще какой бы то ни было) бронзовой культуры ко времени 10-го или 9-го тысячелетия Р.Х., ненадежность мифов, как исторических источников, несходства америндских и афро-азиатских культур, превышающие сходства и, наконец, объяснение биологических сходств флоры и фауны теорией плавающих материков Вегенера и существование когда-то материкового соединения Нового и Старого Света.

Целью автора было дать известное предостережение о возможной гибели культуры, испытывающей духовную аберрацию. Так расценивает его книгу и де Камп – как послание мистика. Все же допущение Мережковского о палеолитическом населении возможной Атлантиды совпадает с мнением известного советского археолога и геолога Н.Ф. Жирова.

-----  
\* Теперь принимают 3.200 (плюс-минус 150) лет до Р.Х.

В дополнение можно привести следующие соображения как географического, так и археологического характера.

Система орошения Атлантиды каналами описана в "Критии" очень подробно. Именно через гавань и концентрические круговые каналы города вода подавалась на всю внутреннюю равнину острова широкими каналами, пересекавшимися под прямым углом. Получалось нечто вроде шахматной доски. Эти каналы были, повидимому, без шлюзов: в описании Платона таковые не упоминаются, да и вообще в древности шлюзы были неизвестны.

Но в предполагаемой Атлантиде в середине Атлантики, да еще к концу обледенения Европы осадки должны были выпадать в изобилии и этот остров не должен был нуждаться в орошении, как, скажем, знакомые Платону средиземноморские области. Скорее, эти каналы могли бы служить средством сообщения. Но здесь Платон, опять-таки по своему опыту, ограниченному Средиземноморьем, не учел разрушительного действия океанских приливов и отливов на описанную им водную систему. Неудачный опыт Лессепса с первым проектом бесшлюзного Панамского канала может служить здесь убедительным примером и иллюстрацией действия приливов на каналы. Даже Суэцкий канал испытывает неблагоприятное действие малых приливов Средиземного и Красного морей. Затем, кроме разрушения, размыва и засорения песком самих каналов, океанские приливы должны были произвести засоление и каналов, и почвы на описанной Платоном низкой равнине. Таким образом, канализация, в условиях, им самим же описанных, была ненужной и даже неблагоприятной, и, следовательно, является плодом фантазии человека, незнакомого с техническими проблемами и требованиями местности и климата.

Затем, уже одно покрытие стен города металлами должно указывать на высокое развитие металлургии. И сооружение города, и высоко развитое земледелие, и численность населения, способного (по Платону) выставить миллионную армию, и постройка флота предполагают наличие высокой техники и технологии. Если, скажем, центр этой высоко-технологической культуры и погрузился на дно морское, и потому недоступен для археологических исследований, то окружающие вассальные страны и царства в Америке, Испании, Италии и Египте должны были бы сохранить хотя бы следы обмена с покорившей их центральной державой. Ничего подобного в археологических слоях соответствующей давности не найдено. Одиннадцать тысяч лет назад в Европе существовала только палеолитическая культура.

В вопросе о возникновении и погружении острова естественно обратиться не только к мифам и историческим источникам, но так же и к данным геологии. Здесь можно задать следующие вопросы в связи с предполагаемым существованием Атлантиды:

1. Возможно ли возникновение и погружение значительной величины острова именно в Атлантическом океане?

2. Есть ли данные предполагать, что такое происшествие именно там имело место?

3. Если да, то когда?

Геологи не имеют единодушного ответа на поставленные выше вопросы именно потому, что все ответы несут в себе значительный элемент гаданья.

Атлантистом, т.е. сторонником существования Атлантиды является упомянутый выше археолог и геолог Н.Ф. Жиров. Он считает, что в основном Платон был прав, — повидимому, на основании дошедших до него смутных преданий, и что, хотя описанная Платоном высокая культура атлантов является сильным преувеличением действительности, какое-то население, достигшее какого-то уровня примитивной культуры, — повидимому, уровня циклопических построек (вспомним постройки Ю. Америки, до-династического Египта, Микен, дольмены и кромлехи Европы), существовало на этом острове или нескольких островах, возникших на месте Среднеатлантического подводного хребта и опустившихся в результате вулканической катастрофы приблизительно 12 тысяч лет назад. От системы таких островов могла остаться Исландия, вулканизм которой хорошо известен.

Ход предположений Жирова следующий: известно, что береговые очертания Атлантики, т.е. Северной Америки, Северной Европы, Южной Америки и Южной Африки повторяют друг друга как бы гигантской латинской буквой "S"; Среднеатлантический подводный хребет тоже следует этим очертаниям. По теории плавающих материков Вегенера, предложенной ее автором в начале этого столетия, материки "плавают" по пластично-мягкой земной коре. Когда-то все материки образовывали один общий материк, называемый в геологии Пангеа, который стал разделяться в начале Мезозойской эры. По Вегенеру материки состоят из каменных пород, близких по составу и строению к граниту. Этот общий материал был назван "сиаль" — как соединение "инициалов" двух характерных элементов его состава: силиций (кремний) и алюминий. Дно океана (и вообще земная кора, на которой материки образуют как бы наросты) состоит главным образом из каменных пород, образованных из силиция и магния — эти "инициалы" дают начало названию "сима". Соединения двухвалентного железа окрашивают симу в характерный черный цвет — это изверженная лава, или аморфная, или закристаллизованная в виде шестигранных столбов базальта. По удельному весу сиаль легче симы, но плавится труднее. Поэтому при остывании огненно-жидкой поверхности земли сиаль плавал сначала в виде большой массы шлака на жидкой лаве. Так образовалась Пангеа.

Вегенер (погибший в 1924 году в Гренландии) не был вполне признан своими современниками. Но теперь, при некотором уточнении, его теория принята современной наукой. Уточнение состоит в том, что не только гранитные материки передвигаются по пластичной коре, но и сама земная кора, состоящая из "симы", разделена на несколько больших пластин — сферических неправильных многоугольников — передвигающихся относительно друг друга, причем на границах соприкосновения происходят так называемые пояса разлома. Широко известны такие пояса по западным берегам обеих Америк, Восточной Азии и Средиземного



моря. Пояса разлома характерны своим вулканизмом.

Среднеатлантический хребет тоже является таким поясом разлома. Скопление вулканических газов, главным образом, паров воды на границе двух пластин вполне возможно, так как колоссальные силы трения на границах соприкасающихся пластин в их движении поднимают температуру коры до огненно-жидкого состояния, причем вода переходит в состояние перегретого пара под очень высоким давлением. Скопление депозита лавы образывает в настоящее время Гавайские острова: Тихоокеанская пластина медленно передвигается над этим очагом, давая начало цепи вулканических островов, причем только один из них – последний – активно вулканичен. Но для гавайского депозита лавы характерно не очень высокое давление паров – лава изливается высокими фонтанами, но без взрывов.

Пока представляется вероятным, что Атлантический очаг исчерпал себя именно взрывами.

В пользу предположения о существовании приподнятого дна Атлантического океана около 50-ти или 40-а тысяч лет назад говорит появление долихоцефального человека в Америке: наиболее древняя находка человека в Северной Америке датируется возрастом в 40 тысяч лет. Этот долихоцефал мог придти только с запада (монголоиды – брахицефалы), через атлантический мост островов из Европы, где тогда обитала долихоцефальная раса Кро-Маньонов (названная так по имени деревни во Франции, где были найдены первые скелеты). Эта раса была высокорослой, с прогнатическими передними зубами. По виду черепов она не была ни монголоидной, ни негроидной. Судя по обитателям Северной Африки (куда эта раса могла распространиться через Пиринейский и Аппенинский полуострова), эта раса была меланохричной (т.е. черноглазой и темноволосой и, вероятно, смуглокожей). Ранняя волна заселения Америки была долихоцефальной; позднее из Азии явились брахицефальные моголоиды. Повидимому, переселенцы первой волны были немногочисленны и либо были истреблены второй волной, либо, вернее всего, растворились в ней, передав, однако, по наследству свою группу крови "А" америндам. (Азиатские монголоиды имеют в подавляющем большинстве группу крови "Б").

Аристотелю принадлежит изречение: "Платон мне друг, но истина дороже Платона!"

Несмотря на всю увлекательность повествования Платона об Атлантиде и о парадизе культуры человечества на этом погибшем острове, нужно признать, что если этот остров и существовал (что очень вероятно), то он был лишь миграционным мостом для людей на уровне культур грубого камня: бродячих охотников Магдаленского периода – последнего перед мезолитом и неолитом.

К о н е ц .





ПОЛИТИКА

ИСТОРИЯ

КУЛЬТУРА

---

Отдел ведет член Редколлегии "Современника"

Александр Григорьевич ГИДОНИ

---

Начиная с этого номера, в журнале "Современник" открывается новый отдел: "ФОРУМ". В нем будут печататься материалы на политические и научные темы, по вопросам религии, истории, философии, культуры – в самом широком смысле этого слова. В нем же найдут отражение дискуссионные статьи, предусматривающие полную свободу высказывания их авторов, в пределах, разумеется, общей демократической и антикоммунистической тенденции журнала. В отделе "Форум" будут публиковаться наиболее интересные письма читателей и ответы на них.

"Современник" не может быть несовременным; не может стоять в стороне от актуальных и принципиально важных проблем нашего времени. Будучи журналом "русской национальной мысли", он не должен сводить ее проблемы лишь к чисто литературным задачам. Конечно, литература не является простой "служанкой жизни", будучи высоким искусством, но сама жизнь должна входить в литературу, пульсировать и kloкотать в ней. Введение в журнал более широко, чем ранее, политической публицистики и дискуссионной проблематики, расширение теоретических и научных горизонтов, будет соответствовать духу переживаемой нами эпохи, содействуя углублению связи с нашими читателями.

Редакция журнала просит писать нам письма, а также присылать материалы для отдела "Форум", равно как и для других отделов "Современника".

## НАШИ ИНТЕРВЬЮ

---

### ИРИНА ОДОЕВЦЕВА В ГОСТЯХ У "СОВРЕМЕННОГО"

*Вопрос:* Довольны ли Вы Вашим турне по Америке?

*Ответ:* Страшно довольна! Я очень люблю Америку и Канаду, и каждый раз, когда приезжаю сюда, для меня это сплошной праздник... С тех пор, как я ступила на американскую почву, для меня это был очаровательный мир, очаровательные часы. Я страшно довольна!

*Вопрос:* Могу утверждать, что Ваши слушатели были не менее очарованы Вами, чем Вы — Америкой и Канадой. Каковы Ваши планы в творческом отношении на ближайшее будущее?

*Ответ:* Мои планы грандиозны. Я давно уже пишу книгу "На берегах Сены" и эту книгу уже ждут и здесь, и в России. Когда я была в Нью-Йорке на вечере, мне какая-то женщина всунула в сумочку записку — "Ради Бога, хочу купить "Сену" с адресом".

*Вопрос:* Когда Вы ожидаете выхода в свет Вашей книги?

*Ответ:* Осенью этого года.

*Вопрос:* В каком издательстве?

*Ответ:* Об издательстве, пока книга не выйдет, я говорить не хочу. Это первый том, всего будет три тома. У меня масса написанного, но надо все это свести, чтобы получилось три отдельных книги. Повествование будет не так последовательно, я могу иногда возвращаться и назад, и это естественно. "На берегах Невы" охватывает только три с половиной года, а "На берегах Сены" — от 23-го года — до сегодняшнего дня.

*Вопрос:* Ирина Владимировна, будет ли Ваша трилогия иметь какую-то связь с книгой "На берегах Невы"?

*Ответ:* Конечно. Это буду я, которая смотрела теми же глазами на тех людей, которые были в Париже: знаменитые писатели, которых я там встречала, и другие. Это будет последовательное продолжение во времени моей предыдущей книги "На берегах Невы".

*Вопрос:* Что Вы можете сказать о Ваших чисто лирических проектах, Ирина Владимировна?

*Ответ:* Из лирических — наверно, я этой весной издам маленькую книгу, в которую войдут мои стихи "Контрапункт" и "Двор чудес", которые почти нигде нельзя найти, и еще совершенно новые стихи, потому что я все еще продолжаю их писать.

*Вопрос:* Спасибо, Ирина Владимировна. Я надеюсь, что Вы и в дальнейшем не забудете "Современник"?

*Ответ:* Я чрезвычайно интересуюсь "Современником" и считаю совершенно необходимым, чтобы "Современник" не только оставался таким, какой он сейчас, но и еще более процветал. Желаю ему этого.

*(Интервью вел Главный Редактор журнала "Современник" – Л. Е. Фабрициус).*



*Встреча в редакции "СОВРЕМЕННОКА".  
На снимке: (слева направо – сидят): Г.А. Гидони-Румянцева,  
И.В. Одоевцева; (стоят): Э.И. Боброва, М. Гут, Л.Е. Фабрициус,  
А.Г. Гидони.*

Фото А. Аксона.

Г.ГАЛИН

## МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ...

(К проблеме советско-китайского конфликта).

Московским слезам Пекин не верит. Внезапная смерть Мао Цзэ Дуна задала Политбюро КПСС необычайную головоломку: как поступить с памятью знаменитого покойника? Ведь умер глава государства с семисотмиллионным населением, с взаимно аккредитованными посольствами в обеих странах, притом покойник был Верховный Вождь братской партии коммунистов! Замолчать — мол, не слышали про это — нельзя: век не тот, электроника. Порешили послать соболезнование. Но какое это соболезнование? — Скорее явное лицемерие, соль на свежую рану... Вот и напоролись на условный рефлекс, годами тренируемый маоистской пропагандой. Конечно, китайцы проявили бестактность, беспрецедентно нарушили дипломатический этикет, говоря проще, — *схамили*, но и советская дипломатия не показала блеска творческой фантазии. Проще было бы, в полном составе ПОЛИТБЮРО явиться в Китайское посольство в Москве и в скорбном молчании склонить головы перед портретом Великого кормчего, расписавшись в книге почетных визитеров. Этот дипломатический ход был бы наиболее верным: не пустить хозяев страны в Москве китайцы не могли, а то, что советские вожди постояли бы у портрета, их престижу отнюдь не повредило бы, а китайскому чванству не было бы повода раздуться беспрядельно. Всегда можно было сослаться на доброту славянского сердца и опереться на русскую традицию — ничего плохого не говорить о покойнике, т.к. каждому воздается по делам его на земле. У наследников Мао не было бы повода к проявлению условного рефлекса хамства и к нарушению общепринятых норм международных отношений.

## 2

Можно ли рассчитывать на углубление конфронтации? — Никак нельзя. В обеих странах монопольно господствует материалистическое мировоззрение. ЦЕЛЬ одна: овладеть миром. Все эти великодержавные амбиции относятся к этическим категориям. Ну поругались: Мао назвал советских большевиков "социал-ревизионистами"; советские вожди обозвали маоистов в ответ "Социал-шовинистами". Э-ка невидаль! Гитлер не так ругался: "большевики — это интернациональная гильдия преступников в Москве". Самую демократическую (на бумаге!) Сталинскую конституцию определял как "очередной маневр для

обмана масс, Потемкинскую деревню". Сталинцы тоже за словом в карман не лезли: "Эх ты, черноногая, не знаешь, где право, где лево". Но когда увидели авторов и гарантов Версальского трактата – Англию и Францию, обезволенными, в один присест договорились 23 августа 1939 года поделить Польшу, потеснить Румынию, отогнать финнов от Ленинграда и от океана, отобрать у Турции город Карс, аннексировать Литву, Латвию и Эстонию.

Все материалисты мыслят своими категориями: кому и что выгодно. Гитлер с бахвальством заявлял: "Я счастлив, что не получил классического образования и поэтому свободен от всяких моральных химер".

Мао тоже учил: "Чем больше человек читает, тем глупее он делается. Все китайцы должны быть послушными буйволами, нержавеющими винтиками, хорошими солдатами".

Никсоно-Киссинджеровское паломничество в Китай и предательство Южного Вьетнама американцами особенно возвысили престиж Мао Цзэ Дуна в глазах китайцев. В самом деле, мог ли кто-нибудь в Китае предполагать, что самая богатая и могущественная страна – Соединенные Штаты Америки, не признававшие коммунистический режим в течение двадцати лет, будут заискивающе, путем тайной дипломатии, просить разрешения их Президенту приехать в Китай для переговоров? Легко представить, как это льстило самолюбию каждого китайца. Да кроме того, окрыляло надеждой получить материальную помощь у богатой страны.

Все же внутренняя борьба на верхах компартии продолжалась, несмотря на то, что оппозиция в ходе "культурной революции" была приглушена. Факт бегства официального наследника Мао – министра обороны Линь Бяо, и гибель его со штабом над Монголией подтверждает это. Непродолжительное пребывание бывшего генерального секретаря КПК Дэн Сяо Пина в составе высшей администрации и снятие его со всех постов после смерти премьера Чжоу Энь-лая, а также назначение премьером малоизвестного Хуа Го Фена – все это свидетельствует о внутренней борьбе за власть.

С именами Мао Цзэ Дуна, Чжоу Энь-лая, Чжу Дэ, Лю Шао Ци, Дэн Сяо Пина и Линь Бяо связано образование китайской компартии, вооруженная борьба на юге Китая, участие и руководство Наньчанским восстанием в 1927 году, организация опорных баз и отражение истребительных походов Чан Кай-ши, совершение "Великого похода" на Северо-Запад в 1934-36 гг., война с японцами.

После разгрома японской Квантунской армии, с помощью огромного арсенала японского и советского вооружения, коммунисты смогли одержать победу над Гоминданом, руководимым генералиссимусом Чан Кай-ши, и установить тотальную коммунистическую диктатуру над всем континентальным Китаем.

Начиная с образования КНР в 1949 году, вплоть до смерти Сталина, Мао руководил партией и страной по советскому образцу и между КПК и КПСС были "братские" отношения, направленные против "меж-

дународного империализма". При личном участии Сталина и Мао был подписан пакт о дружбе и взаимопомощи, во исполнение которого в 1950 году были брошены в Корею против войск ООН так называемые "китайские добровольцы". Но после смерти Сталина советско-китайские отношения начали охладевать. Доклад Хрущева "О культе личности" Мао Цзэ Дуном был отвергнут: "Сталин, – заявил Мао Цзэ Дун, – для русского народа и для международного коммунистического движения является великим вождем".

Однако в том же 1956 году состоялся восьмой съезд компартии Китая, который по докладам Лю Шао Ци и Дэн Сяо Пина принял устав партии, исключавший "положение об идеях Мао Цзэ Дуна". Этого высокомерный "великий кормчий" стерпеть не мог. В 1958 году Мао выдвинул курс "Трех красных знамен" (новая генеральная линия, большой скачок, народные коммуны), игнорируя плановые основы хозяйственного строительства. За это или за другое, но в 1959 году Мао был освобожден от поста Председателя КНР, оставшись, однако, на посту Председателя ЦК КПК. На пост же Председателя Китайской Народной республики был избран Лю Шао Ци, противившийся политической линии Мао.

Лю Шао Ци был выдающимся деятелем КПК. В 1921 году вступил в партию, в 1927 году был избран в ЦК, в 1930 году стал членом исполнительного комитета Профинтерна, а в 1931 году на пленуме ЦК его избрали в члены Политбюро. Во время Северо-Западного похода он был начальником Политического отдела Красной армии, а в период войны с японцами – комиссаром 4-ой армии. С 1943 года работал в Яньани (опорная коммунистическая база) секретарем ЦК компартии и заместителем Председателя народно-революционного совета Китая. В 1945 году на седьмом съезде КПК был докладчиком о пересмотре устава партии и вновь был избран членом Политбюро и Секретарем ЦК КПК.

Из этого послужного списка видно, что по энергии, способностям и опыту в иерархии коммунистических деятелей Лю Шао Ци подошло бы стать наследником Мао, не разойдись он с "Великим кормчим" по коренным вопросам политики. Что нам известно об идейном наследстве Мао? – Очень мало.

В одной из статей 1970 года московская "Правда" сделала подборку высказываний китайского кумира. Вот эти высказывания:

"Школы – это маленькие склепы, повсеместно испускающие зло, мелкие пруды, кишашие черепаками. Курс наук можно срезать наполовину. Конфуций обучал всего шести искусствам: церемонии, музыке, стрельбе из лука, управлению колесницей, священным книгам и арифметике... Если книгу прочтешь много, то императором не станешь."

"Что касается вопроса о мировой войне, то существует две возможности: или война вызовет революцию, или революция предотвратит войну. Теория о том, что войну можно избежать – опасная теория. Что война будет, в этом нет сомнения. Нужно жестоко бороться со взглядами, что будто бы в настоящей обстановке можно избежать войны."



"На развалинах умерщвленного империализма и социал-империализма будет создана в сотни раз лучшая цивилизация. Если, например, атомная бомба разнесет нас в пух и прах, ну что же, делать нечего, после войны мы начнем строительство заново, возможно, тогда у нас это выйдет несколько лучше, чем сейчас."

Большая Советская Энциклопедия дает такое определение маоизма: "Маоизм рассматривает бедность, обездоленность народных масс, как неотъемлимые атрибуты жизни при социализме и как фактор, благоприятствующий строительству новой жизни. Заботу о благосостоянии народа называет "ревизионизмом", "буржуазным перерождением".

Конечно, советские пропагандисты в пылу полемики способны и прилгать или повырывать из контекста выгодные им фразы, но все же нет дыма без огня: по кардинальным вопросам политики Мао имел сильную оппозицию из лиц, прошедших вместе с ним весь победоносный путь борьбы с 1920 по 1949 – год установления коммунистической власти над 600-миллионным населением. В борьбе с оппозицией Мао приходилось хитро маневрировать, выбирая себе союзников. Недаром он остался стойким апологетом Сталина.

В 1960 году Мао Цзе Дуном была выдвинута "новая линия во внешней политике". В этой связи всплыл вопрос исторической давности о неравноправных договорах, по которым Россия завладела необжитыми землями, граничащими с Сибирью, по рекам Амуру и Уссури. Это привело к раскачке шовинистических настроений, к разжиганию милитаристских страстей, сопровождаемых антисоветской пропагандой. Националистический порыв доходил до пограничных боев. Для сгущения милитаристского духа Мао сделал министра обороны Линь Бяо своим официальным наследником.

Заразив сначала ненавистью к Советам китайскую молодежь, Мао перенес ее на чистку рядов компартии от просоветских элементов под лозунгом "Культурной революции". Группы молодежи, называемые "хунвэйбинами" (красная гвардия), шествовали по улицам Пекина с фанфарами и барабанным боем, выкрикивая лозунги против "ревизионистов" и "буржуазных перерожденцев". Чистка партии сопровождалась издевательством моральным и физическим над оппозиционерами. Бесчинствам "хунвэйбинов" помогала армия.

В результате "культурной революции" и был отстранен Лю Шао Ци. В октябре 1968 года 12-ый пленум ЦК КПК постановил исключить его из рядов КПК и снять со всех постов внутри и вне партии. Расправившись с оппозицией, Мао снова утвердил себя в качестве неограниченного диктатора.

Однако одержав победу над просоветской оппозицией ценой углубления противоречий до степени международного антагонизма, Мао создал небывалое перенапряжение внутри страны: задачи обороны и индустриализации требовали сверхнагрузки для трудящихся масс. Это не могло не дать трещины внутри клики Мао–Линь Бяо. Как военный специалист маршал Линь Бяо понимал, что в случае войны с Советским Союзом китайская армия, недостаточно оснащенная современ-

ным оружием, неминуемо потерпит разгром. Получение помощи от других стран – весьма проблематично. Вьетнамский опыт ведения военных действий отбрасывал мысль заполучить таких союзников, как Пентагон, и Линь Бяо решил отмежеваться от своего шефа, взяв курс на Советский Союз. Бегство Линь Бяо имело свои последствия. Искусный политик и дипломат Чжоу Энь-лай настоял на назначении своим заместителем никого иного, как Дэн Сяо Пина, принадлежавшего к ядру оппозиции Лю Шао Ци. Даже сам Мао не смог отклонить этой кандидатуры при жизни Чжоу Энь-лая и только после его смерти Дэн Сяо Пин был вновь отстранен от высшего руководства, а на пост премьер-министра Государственного Совета был назначен малоизвестный Хуа Го Фен.

В каком направлении пойдут политические изменения в коммунистическом Китае?

В первую очередь – по линии ослабления напряженности в отношениях между двумя великими и соседними странами. Вопрос о границах – искусственный. Он касается территорий, в прошлом не обжитых, девственных, разграниченных государственным актом по природным знакам, "по водотечи", как говорят геодезисты. Здесь нет того мотива, что "Владивосток – город нашенский", т.е. построен трудом народов РОССИИ, создавшим на пустыре цивилизацию с приущей народу культурой.

Во-вторых, вопрос предъявления одной коммунистической страной территориальных требований другой коммунистической стране противоречит "Коммунистическому Манифесту", написанному самими "основоположниками" – Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. У коммунистов, – заявляли они, – "нет никаких интересов, отдельных от интересов всего пролетариата в целом. Они не выставляют никаких особых принципов, под которые они хотели бы подогнать пролетарское движение...В борьбе пролетариев различных наций они выделяют и отстаивают общие, не зависящие от национальности, интересы всего пролетариата...Они всегда являются представителями интересов движения в целом." (К.Маркс и Ф.Энгельс. Собр. соч., т.4, стр. 437).

Таким образом, бряцать оружием друг перед другом для коммунистов не только противоречит "интересам движения в целом", но в современных условиях грозит гибелью целых народов без различия классов. Отказ от территориальных требований вызовет общее ослабление трудовых нагрузок, возложенных казарменным социализмом на китайский народ милитаристскими приготовлениями, и все описанное "Великого кормчего" останутся историческим эпизодом. Представители оппозиции, которых Мао еще не успел уничтожить, возьмут верх и дальнейшее развитие будет идти по планам Москвы.

*(От Редакции: Статья Г.ГАЛИНА выражает исключительно точку зрения ее автора. Редакция помещает ее в "Форуме" как дискуссионный материал).*

АЛЕКСАНДР ГИДОНИ

## СОЛНЦЕ ИДЕТ С ЗАПАДА

(Главы из книги)

### Предисловие.

Рассказы о собственной жизни редко отличаются жизненной простотой. Это тем более верно, когда биография рассказчика множится на запутанные перипетии, обязанные своим происхождением политике. Даже политически заурядная личность, говоря о себе, неизбежно усложняет что-либо и усложняется сама. В случае с человеком повышенного политического накала сложность таится в самом опрощении. Именно посему автор этих строк не боится сложности своей задачи: правдивого и не претенциозного повествования о биографии человека, который может показаться одновременно идеалистом и циником, поэром и "рубахой-парнем", героем на котурнах и развенчанным авантюристом. Он — человек, и в нем, вероятно, все это перемешано понемножку, и все это сыграло свою роль в различных обстоятельствах его жизни. Итак, еще раз: он не боится сложности. Не должен бояться ее и читатель.

Отсюда — прямая перекидка к названию книги. Оно не просто перевертыш какого-нибудь 'Lux Oriente', хотя и это в нем есть, и речь еще пойдет об этом. Оно — в литературно опосредствованной реминисценции...

Знающий биографию Пушкина помнит: в годы лицейские был забавный случай. Лицейстам (Пушкину в их числе) дали задание придумать стихи на вольную тему. Блестящий версификатор Пушкин справился с этим делом шутя и быстро, в то время, как один из его друзей, пыхтя от напряжения беспомощной мысли, корпел над единственной строчкой, которую он произвел на ниве стихотворчества и которую показал Пушкину, прося того помочь и развить...Строка эта была, прямо скажем, если и не совсем сумасшедшая, то, во всяком случае, немного "декадентская" (вроде брюсовского "месяца обнаженного при лазерной лу-

не". "Грядет с Заката (т.е. с Запада) царь природы (т.е. Солнце)" — так звучала сия строка. Корчась от смеха, прочел Пушкин это "Грядет с Заката царь природы" и мгновенно дописал:

"И изумленные народы

Не знают, что начать:

Ложиться спать или вставать."

Случай любопытный, но теперь, читатель, забудем о нем... Останемся один на один: ты и я — автор книги, который утверждает, что для него смысл жизни в этом утверждении-перевертыше. Для него сейчас, в XX веке, свет — с Запада; радость — оттуда же; благодать — опять же; свобода — конечно же, с Запада. Воистину, г р я д е т все это для него "с заката", да и закат сам оборачивается р а с с в е т о м — обновляющим, лучезарным, благодающим. И Западу готов он молиться и поклоняться, как языческий огнепоклонник какой-нибудь, хотя сердцем своим он христианин. И Верой своей он причащается — к Западу. И нет для него мысли столь страшно ложной, как знаменитое 'Ex Oriente Lux' — "Свет с Востока". Полно... в двадцатом-то веке и с Востока? — Нет, с Запада он — свет Веры, Свободы и Гуманизма. С Запада.

Мы живем в столетии перевернутых истин и смыслов-перевертышей. "Свет с Востока" — один из примеров тому. Миллионы людей — одни в силу принуждения, другие — обманутые иллюзией, верят (либо делают вид, что верят) чудовищному идолу Коммунизма. Он воплотил себя на Востоке. Он выдает себя за солнце и свет, хотя на деле он — мрак и стужа. Мрак деспотизма и стужа умирания. И если жизнь еще дает о себе знать на нашей планете, то лишь благодаря тому, что настоящее солнце человеческого Духа грядет и приходит с Запада. 'Ex Oriente Lux' — сейчас — это ложь.

Конечно, и Запад — не абсолютное совершенство. Немало проблем и конфликтных ситуаций омрачают небосклон американской и западноевропейской демократий. И, однако, солнце в тучах — все солнце. Демократия с недостатками лучше образцовой тирании. Неполное счастье предпочтительней полноты страдания...

Я хочу показать на примере одной жизни — моей жизни — что значит родиться и жить под страшным "светом" тирании; что значит духовное оскудение для человеческой души и разума, чего стоит человеку найти самого себя, когда против него все: государство, быт, обстоятельства, сама судьба, как иногда казалось. Я не думаю, что мой опыт во всем уникален, да, впрочем, его интерес тем более велик, чем большее количество людей сможет сказать: да, это написано и обо мне, это и меня касается не только со стороны; и, воистину, — ничто человеческое мне не чуждо!

И еще — помимо:

Я пишу эту книгу на русском языке и прежде всего для русского читателя. Но, как ни странно, сильнее всего я хочу, чтобы ее прочли не русские люди (русских уж чем удивить?). Здесь, на Западе, в сво-

бодном мире, хотел бы я, чтобы с ней познакомились те, кто свободой пресытившись, играет с игрушками идей, принесенных с Востока, не замечая, что со смертью играет. Я хотел бы адресовать мою книгу молодежи, которая критикует Демократию за слабости, дающие силу этой самой молодежи. Я хотел бы донести ее до сознания рабочего, который бастует в условиях западной свободы, не зная, что на Востоке он был бы простым рабом (и уж, конечно, не бастовал бы). Я мечтаю, что книгу мою прочтут западные интеллектуалы (они, разумеется, простят мои усложненности!) — те, что сверкают "левизной" концепций, и — десятки раз горьким разочарованием наученные — так и не разучатся твердить: "Свет с Востока". Я хочу, одним словом, внести свой вклад в то великое дело, которое должны осуществлять все люди доброй воли: дело разоблачения тотального ужаса, фальшивого блеска и духовной нищеты, несомой с Востока, опозоренной, окровавленной, агонизирующей, но еще живой и потому смертельно опасной — доктрины мирового Коммунизма.

## Глава 1.

### Костромская коллизия.

В октябре 1973 года старинный русский город Кострома (областной центр в РСФСР, типичная советская провинция с ее бытовым ужасом и маразмом) был потрясен новостью — для Москвы и Ленинграда заурядной, для матушки же Костромы ужасающей. Женщина, мать двух детей, жена доцента местного Костромского пединститута, сама член партии, завуч Областного Дворца пионеров (должность "идеологически важная"), будучи в Италии по туристской путевке, попросила у итальянских властей политическое убежище. Звали политбеглянку Галина Александровна Румянцева. Ее мужем был я.

Кострома забурлила сплетнями и пересудами. Ощущение легкого ядерного взрыва — иначе не скажешь о шоке местных партийных властей. Заволновалось и местное КГБ. И было от чего волноваться.

Слухи-то слухами, скандал-то скандалом, а ведь назревал новый и трудно "управляемый" конфликт. Муж беглянки — хоть и доцент институтский, хоть и советский вроде человек на видном для областного центра посту, имел слишком "сложную" для "простого советского человека" биографию (уж в КГБ-то об этом знали досконально!), и вроде бы от жены своей отречься не собирался, и даже осудить ее явно не хотел. И вот что с ним надо делать? — Вопрос.

О блаженные сталинские времена, когда таких вопросов даже возникнуть не могло! Скрутили бы субчика добрые молодцы из Губчека. Темной ноченькой заграбастали б, да в Сибирь-Колыму запустили бы

(а не то и свинцом угостили бы). Тут и вся твоя жизнь на крючок; а вокруг-то все люди — молчок. И никто ничего не знает; хоть и помнит — не вспоминает...

Да, не те времена!.. Эпоха после Хрущева, новое "великое десятилетие" товарища Брежнева. Хоть и пахло сталинским душком от ветхой идеологии кремлевских "семидесятников"(1), но все-таки вернуться к "далекому-близкому" полностью нельзя. Опять же — и двадцатый с двадцать вторым партсъезды, и международная разрядка! Сплошные помехи. Вот и приходится выбирать методы помягче да потоньше. Так что суждено было строптивому доценту уцелеть в живых и неарестованных...

Однако и "уцелевать" можно по-разному. Ему пришлось довольно туго, особенно принимая во внимание опять же, что дело происходило не в Москве или Питере, где ко всему и всякому привыкли, а в махровой, кондовой, грязной, голодной и до предела крайнего примитивно-советской Костроме.

Ужас современной "рассейской" провинции — он не то что не поддается описанию, описать его как раз можно, раз уж удалось пережить — он преодолению не поддается. Ощущение безнадежности, бесконечности и безвыходности... Грубость людей и вещей; густой мат, в котором словно купаются прохожие на улицах, и пустые полки в продовольственных магазинах, там, где написано: "мясо", "рыба", "консервы"; беспробудное пьянство на работе, дома, под забором, посередине площади, в середине какой-нибудь забегаловки, в углу дупотопного — Шедриным, Гоголем или Успенским недоописанного, грязнувшего тупика. И более того — тупик духовный! Вот где главный ужас, от которого не уйдешь, не спрячешься; с которым только слиться и свыкнуться можно, а не сольешься — один выход: залить той же водкой, благо даже официальная советская статистика как будто начинает стыдливо признавать алкоголизм повсеместный за проблему.

В Костроме советской, подорвавшей динамитиком в годы двадцать-тридцатые большую часть своих многочисленных и красивых церквей, подорвали и те навыки *городской* жизни, которая, надо думать, складывалась все же в старом губернском центре. Население в советский период в основной своей части сплошь деревенское, по-волжскому "окающее" в разговоре, по-дубовому "ахающее" на все "подвиги" Советской власти, и тихо (очень тихо!) "окающее" от оных. Кострома ныне — город с деревенским комплексом плюс чисто советская неустроенность быта. Одного этого хватит, чтобы приезжий человек мог ее возненавидеть. Я был *приезжим человеком*.

---

1. Бедная русская революционная традиция! Народникам 70-х годов XIX века во сне страшном привидеться не могло, что их так опошлят. Ныне в анекдотах и байках советских вождей называют "семидесятниками" не только за их "бытие" в 70-е годы XX столетия, но и по причине их — почти у всех — "постсемидесятилетнего" возраста.

Работая в институте, мне случалось говорить студентам, что если бы ввести такую единицу, как "коэффициент бытового неудобства", то Кострома по этой части смогла бы занять первое место среди областных центров СССР. Жителю Запада представить себе невозможно, до какой степени кошмарен костромской быт (трудно это представить даже жителям Ленинграда или Москвы — городов сравнительно благоустроенных). В Костроме все — проблема: попасть в магазин (где наверняка ничего не купишь), доехать до центра города (транспорт работает отвратительно — ощущение такое, что идет перманентная забастовка, хотя четко знаешь, что в Советском Союзе не бастуют), попасть во время на работу, во время уйти с оной; летом выпить бутылку лимонада (ишь, чего захотелось! на весь Союз — один завод пепсикола, с помощью американцев построен), зимой съесть горячий пирожок (а "временные перебои" с мясом — это не в счет?) — словом, как говорит русская пословица, куда ни кинь — всюду клин. И каким клином это выбьешь? Пресловутая "плановая экономика" царит во всем блеске.

Подстать этому и люди. Очень тонка слабая прослойка интеллигенции (2): писатели местного отделения ССП провинциальны до ужаса в мыслях и творениях своих; среди артистов встречаются интересные люди, но больно уж слаб и затюрган "идеологией" местный театрик; институтская публика (в Костроме три института, словно три витязя на распутье) думает больше о жизни насущной, чем о науке. Что касается учителей, то их — не только костромских, но и советских вообще — трудно отнести к интеллигенции — до такой степени консервативна, ограничена и просто некультурна эта публика.

В жизни преобладает тип "советского рабочего". Главная мысль его — выпивка и зарплата, которая выпивку обеспечит. Пьет он много, зарабатывает чаще всего мало, хотя и больше какого-нибудь инженеришки (материальное положение советских инженеров или, скажем, врачей смехотворно убого). Духовные интересы представителей "рабочего класса" ничтожны: сходить в кино (лучше всего на фильмы "про шпионов"), можно на танцы; поневоле, ежели партийный, — на партсобрание; на футбол — очень охотно, а главное, конечно, — выпить. По этой части они все передовые, все — ударники. Его Алкашество рабочий класс!

Разумеется, и в Костроме, как в любом городе Советского Союза, есть тайные диссиденты. Недовольство властью господствует повсеместно и стало общим тоном в разговорах людей. Когда я приехал работать в Кострому осенью 1970 года, произошло сенсационное событие. Однажды ночью в центре города раздался взрыв: какой-то неизвестный гранатой подорвал массивные двери в здании горкома партии. Ремонт

---

2. Здесь поневоле вспомнишь смехотворное определение Сталиным интеллигенции как "прослойки". О костромской "интеллигенции" иначе не сказать — настолько незаметен ее промельк между "слоями", с одной стороны, фабрично-заводских "работяг" (они же — "Его Величество рабочий класс" (и — с другой — просто деревенщины, сбежавшей в Кострому от "счастливой" колхозной жизни).

здания проведен был в рекордные сроки: к утру все разрушения исчезли, однако ж и к утру все знали о взрыве. Мгновенно родился анекдот в абстрактном стиле, делающий честь юмору костромского производства. Дело в том, что незадолго до этого события в Костроме сгорел цирк. И вот, согласно анекдоту, встречаются два костромича и один спрашивает другого: "Скажите, почему так получилось: цирк сгорел, а горком партии недогорел?" – "А зачем Костроме два цирка?" – следует мгновенный вопрос-ответ.

Местные власти побивают все рекорды чванливости и провинциально-беззастенчивого хозяйствования. Особенно заметно это в связи с жилищной проблемой. Кострома – город, практически не пострадавший от войны, а посему строительство в нем не слишком бурное (местные жители, полушутя, выражают сожаление, что немцы в свое время не бомбили город – лучше бы строился!). Люди десятилетиями ждут очереди на получение (часто не квартиры – нет!) простой комнаты (3). Общежитие педагогического института (где я работал), будучи предназначенным для студентов, забито бесквартирными преподавателями и доцентами. Ради квартиры люди идут на подлоги, преступления, даже убийства. И вот на фоне этого партийные чинуши – работники костромского обкома, как бы бросая вызов общественному долготерпению, в открытую затевают обмены своих квартир на новые лишь потому, что эти новые отличаются каким-нибудь усовершенствованием (повыше потолок; отдельные туалет и ванна – вместо соединенной "гаванны" и т.п.). Наряду с существованием закрытого типа буфетов, столовых и поликлиник для партбоссов подобные "акции" очевидней всего подрывают авторитет Советской власти в среде обывателя. Делается все это с провинциальной наглостью, по принципу: раз наверху, значит "володею".

Тупость "облеченных властью" и идущих, как сказали бы маоисты-китайцы, "по капиталистическому пути" сравнима лишь с дремучей их самоуверенностью. В первые дни моего приезда в Кострому я шел с одним из типичных партбоссов по саду в центре города, где причудливо возвышается один из самых нелепейших в Союзе памятников Ленину. Дело в том, что фигура "вечно живого", выкрашенная в неопределенно серый цвет, привинчена (иначе не скажешь) к тяжеловесному пьедесталу начатого постройкой в 1913 году памятнику династии Романовых. На пьедестале предполагалось водрузить фигуры русских царей, которые были уже отлиты, однако после революции их разбили и в конце концов на пьедестале "воцарилось" огромно-приземистое туловище "Ильича". Нелепость скульптурного решения, таким образом, была усугублена дикостью смыслового контекста, о чем я и сказал партбоссу, стараясь выбирать выражения пообтекаемей. – Не думаете ли вы, – сказал я, – что возникает определенная двусмысленность от того, что Ленин стоит на месте Романовых. – Ну что вы? – бодро ответил он. –

3. "Санитарная норма" площади на одного человека – 6 кв.м. Костромская норма снижена по сравнению с общесоюзной (9 кв.м.), да и то соблюдается очень относительно.



Наоборот хорошо: Ленин вместо Романовых. — Да, — заметил я, — но ведь есть и *второй* план: значит Ленин *вместо* Романовых, т.е. вроде все по-старому... — Он немного опешил, лицо его посерело как бы под стать фигуре "вождя". — А вы знаете, — воскликнул он, — до меня только сейчас дошло! Надо будет сказать об этом где следует...

Не знаю, было ли сказано об этом "где следует", знаю только, что памятник-уродина стоит до сих пор... Этаким символом советской Костромы и костромской советчины!

Привыкнуть к течению костромской жизни было для меня, ленинградца по рождению и воспитанию, очень нелегко. Тщетно порою я "накачивал" сам себя, обыгрывая всевозможные "русские ассоциации" и колорит: дескать, вот он, город Ипатьевского монастыря — колыбели рода Романовых; вот оно — "истинно российское" начало жизни, которое должен понять и — если не принять полностью — то эстетически прочувствовать каждый русский; вот она — матушка Волга, хоть и загаженная изрядно, но все-таки мать русских рек и становой хребет песенной традиции. Ничто не помогало — я не мог преодолеть холодка отчуждения ко всему костромскому, вдобавок еще испохабленному примитивизмом и бездуховностью советского быта. Далекая Испания — страна моей детской мечты и предмет моих научных изысканий как историка-испаниста — казалась милей и дороже (может быть, своей невиданностью особенно дороже!) всего этого аляповато-великорусского антуража Костромы с ее подмалеванной и слегка реставрированной геральдикой (Ладья — символ города, красуется сейчас во многих местах его), с ее неистребимой грязью в буквальном и переносном смысле. Еще в первые месяцы своего костромского житья я написал стихи, которые, естественно, напечатать не мог:

Но город этот мне чужой.  
Я по нему брожу с тоской.

И даже лезвие реки —  
как жало острое тоски.

И от домов, подмятых ниц,  
кустодиевских этих лиц,

такая стынь, такая стонь,  
что — на кол хоть!

иль хоть — в огонь!..

Напрасно плещется заря  
Ипатьева монастыря

на главах гневно-золотых,  
на лужах грязных мостовых.

Не освежат, не возбудят  
вся эта людь, весь этот град.

И ясно, что не вдохновит  
ни эта быль, ни этот вид.

Ох, если горе – от ума,  
то горе это – Кострома.

Стихотворение оказалось в чем-то провидческим: мое "горе от ума" дополнилось спустя три года и "костромским горюшком".

Внешне моя жизнь (особенно на взгляд со стороны) складывалась вполне удачно. Мне дали четырехкомнатную квартиру в новом доме и ждал я ее – по костромским понятиям – смехотворно мало времени: полтора года. Будучи доцентом пединститута, я считался в своем роде "баловнем успеха" и любимцем кафедры, на которой работал. Еще бы: популярный оратор среди студентов, да и в любой аудитории, где выступал (а выступал я много!); журналист по своей второй специальности и, так сказать, без пяти минут доктор исторических наук, поскольку докторская монография (по испанской истории XIX века) была мною написана и принята к печати – значит, в перспективе молодой профессор... чего же еще желать? На что жаловаться?..

О советские критерии жизненного успеха!.. Много сказано насчет тоталитарного общества с его ужасом, но гораздо меньше говорится о его тотальной глупости. Многолика в своих проявлениях, она проникает во все поры жизни, заставляя считать великим посредственное, благородным низкое, максимальной удачей – полнейшую капитуляцию человека перед обстоятельствами, когда выворачиваются наизнанку понятия об истине и лжи, а философским утешением в награду остается сентенция о том, что "свобода – это осознанная необходимость". Итак, *осознай* необходимость быть глупцом – и ты умен. Признай полезность произвола – и ты не раб! Выкинь из души своей все святое – и ты сам себе Бог! Подхрюкивай очередному советскому свинству в области "внешней и внутренней политики" – и ты, хоть и свинья, но зато полноценная, "наша", "советская", "отечественная" свинья, и – это уже диалектика! – растворяясь в общем, коллективном свинстве, вроде бы и не свинтус вообще...

Коммунисты очень любят говорить о морали, однако для них – материалистов самого дурного и примитивного толка – мораль, в лучшем случае, не очень обязательная "надстройка" в пирамиде человеческого существования, где критерий успеха – плотски-материальное благополучие. Душевные сомнения, муки совести, творческая неудовлетворенность – все эти вещи для них простая словесность. Поэтому бунт человека из-за несправедливости, допускаемой в жизни, его разрыв с официальной традицией, всякого рода нонконформизм, вызывают подозрения в ненормальности, а в иных случаях считаются проявлением

"тлетворного влияния буржуазного Запада". Имеешь квартиру, получаешь зарплату – ну и будь доволен. Все так живут. А если ты – не как все? Тем хуже для тебя. Перефразируя строки "Интернационала", – не хочешь быть "всем", будешь "ничем".

Я не хотел быть ни "всем", ни "ничем". Я давно уже осознал для себя страшный смысл коммунизма и советского строя, но, как и многие, не избежал попыток духовного компромисса, приспособленчества, стремления отыскать для себя спокойный уголок в науке, искусстве, семейной жизни, чтобы оттолкнуться от всего окружающего и чувствовать себя хотя бы в минисреде не миничеловеком. Подобная позиция есть максимум возможного на той грани неприятия советской действительности, за которой уже начинается открытый конфликт, борьба, восстание. Перейти эту грань – страшно...

Итак, в сущности, я был "советским человеком", одновременно являясь, как часто говорят даже на официальном жаргоне, "внутренним эмигрантом". И вот здесь-то сквозь паутину будней просвечивала особым светом моя не совсем стандартная судьбина, о которой в Костроме знали (или догадывались) не многие. Это была судьба человека, некогда вступившего в бой с властью и властью этой покалеченного.

Дело в том, что "на заре туманной юности", в 1956 году, я был арестован КГБ и четыре года провел в политическом лагере. Срок, с точки зрения советских тюремных стандартов, совсем небольшой, однако для моей жизни – определяющий. И неважно, что попал в тюрьму я в то время, когда царил умеренный хрущевский "либерализм", и что я не был, следовательно, жертвой сталинского произвола, побившего рекорды жестокости. Важно то, что заглянул я с порога своих двадцати лет в тот жизненный круг, после которого либо по-настоящему узнаешь жизнь, либо вообще ее знать не хочешь. Кому как сподручнее...

Срок моего тюремного бытия был, конечно, нелегким, но вывозила юность (сидел в тюрьме с двадцати до двадцати четырех лет). Невмоготу стали для меня тридцатые и "свободные" годы... Невмоготу... Когда я – внешне опять-таки благоустроенный – отмечал свое тридцатитрехлетие, то, помнится, довелось мне произнести грустный экспромт:

"Дойдя до возраста Христа,  
я нахожу,  
что жизнь проста,  
и что все люди –  
братья...  
Жаль,  
не видать на них  
Креста,  
а видишь  
тень Распятья."

И воистину тогда, уже не за решеткой, а "на воле", я особенно остро начал чувствовать ужас духовной несвободы и боль своей "распинаемой" жизни, которую я предавал и растрачивал как в творческом,

так и в обычном человеческом планах. В Костроме это ощущение достигло кульминации.

Вот почему, когда в октябре 1973 года стало известно о том, что моя жена попросила в Италии политическое убежище, для меня оказался преодоленным один из самых решающе-поворотных рубежей судьбы. Я ощутил, как после долгих лет лавирования и подневольности, сладок вкус внутренней раскованности, обретения и защиты высших ценностей человеческого бытия: духовной свободы, отказа от нелепых догматов, которым поневоле служил; как важны раскрепощение мысли, понимание любви и семейного долга. Для многих людей, наблюдавших со стороны за моей схваткой с Молохом власти, я казался авантюристом, неизвестно чего добывающимся. Что до моей жены, то ее они считали по крайней мере безумной – еще бы: бросить мужа и двух детей и – мало того! – бросить вызов государству! Они поражались тому, что я не хочу отречься от нее, "оставившей" меня: что я не хочу на этом отказе сделать себе карьеру, став "пропагандистской фигурой" (ведь какая удобная схема вырисовывалась для советской пропаганды: жена, такая-сякая, "изменила Родине", а ее муж – настоящий советский гражданин, осуждает ее, и вот – слушайте! слушайте! смотрите! смотрите! – он не только не подвергается каким-либо притеснениям, напротив, он – доктор наук, профессор и т.д. и т.п. Словом, полнейший триумф "советской демократии" и посрамление "гнилого Запада").

Да, в Костроме, где в течение полутора лет судачили и рядили сначала о "деле Румянцевой", а затем о "деле Гидони", масса людей не могла понять ни логики поведения супругов, ни того, как вообще мог случиться этот казус: жена сбежала, будучи за границей; муж от нее не отказывается, ведет себя дерзко и все-таки работает в институте (выгнали его с работы лишь год спустя – милосердие Советской власти, помноженное на год, едва ли не равно бесконечности!). Чего с ним церемонятся? А, может быть, он сам поручил ей остаться в Италии? Но зачем?.. Значит он, страшно сказать... "шпиен"? И, наверное, итальянский – не даром же у него итальянская фамилия? Но тогда куда смотрело КГБ, не говоря уже о "комсомоле и школе", как поется в одной песенке Высоцкого? А если ему – мужу, ничего не было известно о намерениях и поступке его жены, так почему он ее защищает?.. Почему не отрывается?..

Все эти вопросы лежали каркасно в основании туч сплетен, ходивших по городу. По этому же городу продолжал ходить и я, грешный (готовый, правда, в любую минуту "сесть"). Мне, естественно, много приходилось говорить о себе, о жене, о своих предположениях и намерениях. Мой "костромской исход" должен был (я молился этому и, несмотря на приступы отчаяния, верил в это) привести меня на Запад. Ибо я знал то, чего не знали ни костромские обыватели, ни КГБ. Я знал все.

\* \* \*

*В следующих главах книги "Солнце идет с Запада" рассказывается о событиях середины пятидесятих годов, на которые пришлась юность автора, о возникновении оппозиционного советскому режиму студенческого движения в Ленинграде и формировании диссидентского мировоззрения в среде советской молодежи периода после разоблачения так называемого "культа Сталина". Особо характеризуется влияние бурных политических событий в Польше и Венгрии 1956 года.*

*В главе четвертой, которую мы воспроизводим в настоящем номере журнала, речь идет об одном из эпизодов демократического движения в СССР послесталинского периода, особенности которого очень слабо известны и не менее слабо поняты на Западе.*

#### Г л а в а 4.

##### Начало Подполья.

Дискуссионный клуб исторического факультета фактически был закрыт после первого заседания. Однако его идея продолжала существовать. Осенью 1956 года, после начала занятий в университете, клуб возродился под названием Кружка по изучению новой истории, в деятельности которого я — уже не студент истфака к этому времени — принял участие, вместе с Григоренко, Комлевым и другими членами Совета клуба. К нам присоединился и еще один, довольно любопытный человек, незадолго до того освобожденный из политического лагеря. Звали его Владимир Глебов, а был он сыном Льва Борисовича Каменева, за что и сидел в тюрьме. Ему дали возможность учиться в университете; он был гораздо старше всех нас, еще совсем юных, и, естественно, ореол отца придавал ему особый авторитет в наших глазах. Увы, как выяснилось потом, история с Петром Якиром имела прецедент и в случае с сыном Каменева.

Так или иначе, но мы продолжали держаться группой, которая в глазах университетского начальства приобрела явный характер оппозиционного кружка. Конечно, агенты КГБ уже начали следить за нами, однако мы не замечали этого, да и заметив, вряд ли бы очень испугались — столь усыпляюще действовала в то время атмосфера "оттепели". К тому же собственно "подпольные дела" еще не начинались. Толчком к их началу послужили события, опередившие почти роковое для меня заседание Кружка новой истории.

Пока же в наши мысли и души врывается самая *новейшая* история. В университете было много венгров и поляков. Они дополнительно (помимо прессы и радио) просвещали нас по поводу событий у себя на родине. С потрясающей быстротой наполняли мы резервуары политической информированности: полузабытое имя Гомулки обретало плоть героя-народолюбца; Имре Надь казался образцом позитивного государственного деятеля; известие о реабилитации Ласло Райка и его товарищей по судебному процессу потрясло нас не менее, чем реабилитации Тухачевского, Блюхера и Якира. Конечно, круг нашего сознания все еще... был ограничен коммунистическими рамками, но сам по себе он расширялся, и, расширяясь, захватывал новые сферы: мы уже чувствовали себя, несмотря на привычную коммунистическую терминологию, скорее социал-демократами, чем коммунистами. Отсюда – обостренный интерес ко всему социалистическому западного толка: к деятельности Социалистического Интернационала, к теории и практике лейбористов в Англии, Ненни и Сарагата в Италии, Ги Молле – во Франции. (Невольно помогала здесь и тогдашняя советская пропаганда, игравшая на волне запретной до того идеи единства коммунистов с социалистами. Всем было дико и в то же время отрадн слышать, как приехавших в Москву Ги Молле и Кристиана Пино печатно титуловали *"товарищ Молле"* и – опять же – *"товарищ Пино"*. То, что Иосип Броз Тито, величавшийся в течение последних сталинских лет *"фашистом"* и *"Брозтитуткой"*, ходил теперь в *"ленинцах"* и *"товарищах"*, было уже привычным).

Известия о начале венгерской революции произвели потрясающее впечатление. Демонстрация 23 октября в Будапеште, уличные беспорядки, первоначальный вывод советских войск из города, а затем интервенция 4-го ноября, – все это было слишком ошеломляюще как для нашего воображения, так и для венгров, учившихся в университете. Они, равно как и поляки, захваченные вестями о переменах в Варшаве, начали митинговать, невольно притягивая к себе и наших студентов. Поскольку советские газеты печатали совершенно путаные статьи о событиях, источником правдивой информации оставались рассказы венгров и поляков, сообщения югославских газет, *"Би-би-си"*, *"Голоса Америки"* и радиостанции *"Освобождение"*. На лекциях и семинарах в университете преподаватели, изнемогая, отругивались под градом вопросов о происходящем в Польше и Венгрии. Фактически многие занятия были сорваны, поскольку на них только и делали, что спорили и митинговали. Распространялась мода на изучение польского и венгерского языков. В то время в Ленинград приехала на гастроли венгерская оперетта, и в овациях, выпавших на долю артистов (особенно их звезды – Ханны Хонти), нельзя было не почувствовать подчеркнуто-демонстративного характера. В университете давал сеансы одновременной игры в шахматы венгерский гроссмейстер Сабо. Я пошел на один из сеансов. Сабо играл с таким видом, будто его вот-вот расстреляют. Вместо этого его со всех сторон *"обстреливали"* вопросами о Венгрии. Высокий мрачный человек угрюмо отбивался от них, пожимая плечами и жалуясь на пло-

хое знание русского языка. Видимо, это были труднейшие шахматные партии в его жизни.

В такой накаленной атмосфере не могло не случиться того, к чему оказались морально подготовленными многие из молодежи. Наступила пора открытых манифестаций против режима и создания тайных революционных (с советской точки зрения, конечно, *контрреволюционных*) групп. Большая часть их была на практике малодейственной, однако *действовать* они собирались. И в большинстве своем — на венгерский манер.

Здесь мне поневоле нужно сделать одну оговорку. Анатолий Марченко, приступая к своим "показаниям" в заслуженно известной книге говорит, предваряя ее: "Я не считаю себя писателем." (11). Я, в отличие от Марченко, считаю себя таковым. Именно поэтому я столь много говорю, и буду говорить еще, о проблемах, связанных с писательским ремеслом, с литературой вообще и моим бытием литератора в частности. С этой точки зрения моя книга — не только человеческий, но и *писательский* документ. Однако, поскольку она — не роман или повесть, а произведение автобиографического жанра, то я могу сказать о ней то же, что говорит и Марченко в продолжении начатой мною цитаты:

"Здесь, в этих записках нет ни одного вымышленного лица, ни одной придуманной истории. Там, где есть опасность причинить вред другим людям, я не называю имен, умалчиваю о некоторых обстоятельствах и событиях. Но я готов отвечать за истинность любой рассказанной здесь детали." (5).

Сегодня, почти двадцать лет спустя после описываемых мною событий, я, как и Марченко, тоже — *по известным соображениям* — не могу называть некоторых имен и рассказать абсолютно все из того, что касалось моих подпольных связей. Оговорюсь при этом, что многие из людей, занявшихся в свое время вместе со мной (или параллельно) конспиративной деятельностью, давно отошли от своих юношеских убеждений; некоторые из них даже настолько прочно "вросли" затем в советскую систему, что ныне защищают взгляды, иной раз более консервативные, нежели официальная догма. Они имеют определенное общественное положение, которым дорожат; им, видимо, с трудом вспоминается их прежняя революционная мятежность. В любом нормальном обществе никто бы, разумеется, и не подумал преследовать их за прошлое. Однако в том "перевернутом мире", каковым является Советский Союз, ни за что ручаться нельзя. И потому я могу сказать здесь только одно: некогда моей твердости, проявленной на следствии и в тюрьме, обязаны своим безтюремным существованием, своей "свободной жизнью" (да простится мне это выражение применительно к жизни в СССР!). Благодаря мне не прошли они по громкому "групповому

---

4. А. Марченко. Мои показания. 1973, изд. Посев, стр. 7.

5. Там же.

делу", которое с таким удовольствием обстряпали бы гебисты, предоставь я им эту возможность. Что же касается их идейной и человеческой трансформации в дальнейшем, то – суди их Бог!..

Организация, которую создавали я и мои товарищи, получила название "Социал-прогрессивный союз". В нее вошли несколько десятков человек – все молодежь из числа студентов и рабочих. Мы были настроены крайне радикально, считая, что наступил подходящий момент для революционного взрыва, а свой бунтарский угар склонны были принимать за отголосок настроения всего общества. По молодости лет игнорировали мы очевидное: тупую пассивность обывательского большинства, которому было наплевать и на Венгрию, и на Россию даже, и для которого главное заключалось в том, чтобы, как говорится, жрать, спать и пить. При этом *что и как* жрать, было не так уж важно – русские ко всему приучены; спать всегда удается – свободу проспали еще в 17-ом году, а Илья Обломов – тип сугубо *русский*; что же касается до выпивки, то по этой части Россия – страна вековечных рекордов.

Подводило нас и наше марксистское мышление. От него – вера в привычные сочетания слов, давно потерявших реальный смысл: "пролетариат", "рабочий класс" (мы надеялись увидеть сражающихся на баррикадах рабочих Кировского завода или Электросилы – это ли не смех?); "союз рабочих и крестьян" (уж не затюканные ли колхозники должны были "вздымать стяг восстания?"); "организация массовой партии" (и это в стране, где из трех беседующих людей один, как правило, оказывается провокатором!). ...Да, сейчас с высоты жизненного опыта смешно вспоминать о наивных мечтах юных революционеров! Напичканные марксизмом, мы прилагали рецепты ленинской "Искры" к реалиям самого жестокого тоталитарного аппарата, когда-либо существовавшего в мире. Называя чекистов "жандармами", мы невольно приписывали им добродушные нравы этих, только литературно страшных, "голубых мундиров" царской эпохи. По наивной "вере в народ" мы перещеголяли народников; по марксистской убежденности – большевиков старой формации. И все это для того, чтобы свергнуть монолит, скрепленный большевизмом!.. О парадоксы революции и юности!.. Ваша парадоксальность идет не от жизни, но жизнью оплачивается!..

Однако и везло же нам дико. Прежде всего, из десятков наших "социал-прогрессистов" не нашлось ни одного предателя. В КГБ лишь благодаря случаю и много времени спустя узнали о моих подпольных контактах и деятельности нашего "Союза". Правда, честно говоря, сама его деятельность была лишь в стадии зачаточной, а после моего ареста все практически заглохло, однако натолкнись КГБ на организацию "в свое время", и были бы даны нам всем большие сроки, а "героям-чекистам" большие звезды на погоны.

В определенной степени помогло и здравомыслие, проявленное мной в момент нашей консолидации. У нас были три основных группы (намечалась еще и четвертая): две студенческих и одна рабочая. Посредником и связующим звеном между ними был я (к счастью, *только я один*)...



Уже в самом начале наших подпольных контактов я стал возражать против сугубо *теоретических* собраний, где (как предполагали некоторые) следовало выработать устав, программу, избирать "Центральный комитет", короче, фарсово повторить ситуацию чего-то вроде II съезда РСДРП. Я настаивал на подготовке к сугубо практическим действиям: расширение контактов (особенно за счет рабочих), выход на связь с представителями эмигрантских организаций (мы глухо знали тогда об НТС, ЦОПЭ, СБОНРе), печатание и распространение листовок, сбор денежных средств, подготовка – в перспективе – к вооруженным акциям. Моя точка зрения получила поддержку. В плане теоретическом мы решили временно договориться лишь о самых общих принципах организации: главная цель – свержение коммунистической диктатуры и создание многопартийной системы в условиях парламентарной демократии; позитивный идеал – демократический социализм западного образца: в сфере экономики – допущение частной инициативы и роспуск колхозов, которые должны были замениться хозяйствами фермерского типа (по примеру США); метод борьбы – вооруженное восстание, забастовки, гражданское неповиновение.

Наш "Социал-прогрессивный союз" был одной из многих возникших тогда подпольных группировок. Они появлялись и в Ленинграде, и в Москве, и в Киеве, и в национальных республиках. Отсутствие профессиональных навыков конспирации, дилетантизм и непрактичность характеризовали их почти на одно лицо. Вся их деятельность чаще всего заключалась в создании "Центрального комитета", после чего весь новоявленный "ЦК" оказывался быстрой и легкой добычей добрых молодцев из "ЧК". Последние, само собой, рапортовали (видимо, уже *в настоящее* ЦК и "товарищу Хрущеву") о "разгроме" еще одного "антисоветского заговора". А поскольку организаций появилось немало, то и "заговорщиков антисоветских" оказалось достаточно. Все же это вместе взятое, на фоне венгерской революции, польских событий, брожения в западных компартиях и тому подобных проблем, могло весьма лихо сокрушить нетвердый "либерализм" Никиты Сергеевича. И рывкнул он тогда (во всяком случае, так говорили об одном из его закрытых выступлений по поводу "студенческих дел"): "Да я этих сопляков с лица земли сотру!" И прокатились аресты, и закатилось розовое солнышко XX съезда..

К счастью, агенты КГБ, следя за мною, зафиксировали лишь факты моей, так сказать, *легальной* "оппозиционной деятельности": Дискуссионный клуб, споры в общежитии, анекдоты и эпиграммы, рассказанные на ходу. Никакой информации о Социал-прогрессивном союзе они не имели, тем более, что мы только-только приступали к действиям.

Чтобы выработать образец наших пропагандистских обращений, мы отпечатали на машинке три экземпляра листовки, призывавшей к борьбе с коммунистической тиранией и к поддержке венгерской революции. Текст был весьма эмоциональным и, несомненно, равнодуш-

ным не оставил бы никого: ни врага, ни друга. Листовку одобрили. Особенно радовал меня настрой молодых рабочих, живших в общежитии одного из крупных ленинградских заводов. Туда я приезжал несколько раз (даже ночевал там однажды), проводя агитационные беседы, разъясняя международные события, доказывая необходимость совместной борьбы рабочих и студенческой молодежи. Словом, вел я себя в стиле традиционного революционера начала века. Одному из активных рабочих (назовем его условно Виктором) я передал экземпляр листовки для перепечатки ее и дальнейшего распространения. Энтузиазм молодых ребят был неопишум. Вместо теоретизирования и дискуссий, которые почти всегда топили суть дела на сходках в студенческой среде, здесь, у рабочих, господствовала прямо-таки отчаянная готовность к действию. — Дайте нам автоматы, — говорили они, — и мы устроим в Ленинграде кое-что почище Будапешта! — Приходилось их сдерживать, говоря, что "время автоматов" еще не наступило.

Но и опять смущала она, проклятая "запрограммированность" в категориях пресловутого "марксизма-ленинизма". — Ну хорошо, — думал я про себя. — Нас приняли и поддерживают молодые рабочие. Но ведь это наши ровесники. А где же "старые пролетарии"? Ведь канон революционности "пролетарского образца" требовал наличия у нас этаких умудренных жизнью, прокопченных заводской гарью, "настоящих", "питерских" рабочих. Без них канон — да не совсем он! Народ — да не тот... Словом, есть у нас свои антисоветские Павлы Власовы и Павки Корчагины, но где же наши антисоветские Жухрай и Артемы?

Бог мой! Я и не понимал тогда, как здорово и правильно было присутствие в нашей среде *только молодых*. Я не мог постичь еще бремени марксистской идеологии, пеленающей тебя по рукам и ногам своей коковиной и заставляющей многообразие жизни постоянно приносить в жертву однообразию жизненных ярлыков... Вотходишь ты в реку, струящуюся под брызгами ее — реки — и солнца; ликующую волной поверхностной и глубиью затаенной. И вместо того, чтобы полностью отдаться этой стихии жизнелюбия, начинаешь требовать: осушить эту речку к чертовой матери! Я хочу видеть ее основу, я хочу взглянуть на самое дно — на дне истина. — Да, но ведь дно — это уже земля, а не вода, это, так сказать, другая субстанция! — Тем хуже для воды; нет ее — и не надо. Проживем основой, "идеями", формулой H<sub>2</sub>O! Таков марксизм. Тут вам и бытие, "определяющее сознание", и *сознание*, "определяемое бытием"!

Солженицын в "Архипелаге ГУЛаг" великолепно вскрыл психологию марксистов-"благонамеренных". — "Пусть жизнь хлещет через них, — пишет он, — и переваливается через них, и даже колесами переезжает через них — а они не признают ее, как будто она не идет! Это нехотение что-либо изменить в своем мозгу, эта простая неспособность критически осмысливать опыт жизни — их гордость!" (6).

---

Именно этой идеологической болезнью болел и я, будучи даже "критическим" марксистом, даже марксистом, дошедшим до антикоммунизма. Плен терминологии довлел в сознании на разных пластах и уровнях. Все мне хотелось на новое взглянуть по-старому; на каждый феномен отыскать прецедент, любое исключение подвести под формулу. Уж и ясно было мне, что ревизовать надо марксизм (но ведь во имя "творческого" *марксизма же!* ); уже и сомнений не вызывало, что не боги ведь Маркс, Энгельс и Ленин, а значит, и ошибаться могут, а все нет-нет, да хотелось закрепить свои мысли цитаткой из тех же "классиков марксизма". Это – традиция. Тот же Маркс отмечал маскаррад революций: якобинцы гримировались под античных героев. Ну а мне в 1956 году недостаточно было вестей из Варшавы – хотелось, чтобы гудели они, эти вести, музыкой "Варшавянки". Венгрия проклинала Ракоши – прекрасно! А по мне, уж если *венгерская* революция, то под марш Ракоци, не иначе. Готовясь признать неожиданную "этюдность" современности, я требовал, чтобы оттенял ее "Революционный этюд" Шопена... На все – оправдание историей, иначе творимая история не оправдана... Вот он, рабский плен формул и схем, пусть даже самых прогрессивных как будто!..

Да простит мне читатель всю эту музыкально-политическую абракадабру ассоциаций! Не очень понятно? – Что делать! Зато непонятностью своей она лучше всего передает запутанность и причудлихаос моих ощущений революционно-марксистского толка; моих мыслей, приведших меня впоследствии к освобождению от самого марксизма.

До времени же освобождения этого считал я себя социалистом, который признает марксизм в качестве одного из компонентов (не единственного, но важного) своих постулатов демократического социализма. В чисто теоретическом плане это было не так уж плохо: это давало достаточный базис для оформления антикоммунистической идеологии и для пресечения попыток "подловить" тебя на терминологическом сходстве тех или иных социально-политических дефиниций, которыми в равной степени пользуются как социалисты, так и коммунисты.

Но ведь волновали меня и моих товарищей по организации более практические проблемы. Например: готовы ли мы, решившие бороться против советского режима до конца, принять помощь от эмигрантских организаций и даже (страшно было подумать сперва – не то что сказать!) – от иностранной разведки? На этом пунктике многие спотыкались. Но именно *это* мы все чаще делали средством проверки готовности человека занять предельно последовательную позицию. Не знаю, чем бы кончилось для нас все это, просуществовуй наш "Союз" дольше, нежели он существовал, – знаю только, что в те осенне-зимние месяцы 1956 года нам так и не удалось "выйти на связь" хоть с кем-то из настоящих "профессионалов" подполья. (7).

Зато подвернулась мне другая и, как показало будущее, очень нежелательная связь. Одно время у нас в общежитии жил на правах абитуриента Геннадий Тарасевич – черноволосый парень того типа людей, которых впоследствии окрестили "фарцовщиками". Был он очень вертляв, вездесущ, с бегающими глазками, подвижной жестикуляцией тонких, всегда суетливых рук, с манерами этакого одесского спекулянта. Полуукраинец и полуеврей, он был настроен достаточно антисоветски, хотя чувствовалось, что весь его интерес к политике скорее напоминает влечение к заманчивому "гешефту", чем истинную революционность. (8). Поступить ему в университет не удалось, однако он на что-то надеялся и продолжал "полулегально" жить в общежитии, время от времени уезжая из Ленинграда и возвращаясь назад.

Именно Тарасевич свел меня с тем молодым рабочим, которого мы условно называем здесь Виктором и с которым, к счастью, Тарасевич был знаком настолько бегло, что даже не запомнил его настоящего имени. У меня же хватило догадки сразу после знакомства с Виктором отстранить Тарасевича от всяких контактов с ним, а через него и с теми парнями, которые составили своего рода "рабочую секцию СПС. Виктору, как я уже говорил, был передан один из экземпляров нашей листовки, предназначенной для дальнейшей перепечатки. Второй экземпляр я отдал сыну Каменева, которого мы собирались привлечь к организации. Он, однако, отказался, говоря о своем полном сочувствии нам, но в то же время о невозможности для него – только что вышедшего из тюрьмы, вновь рисковать своей свободой. Листовку он взял, попросил оставить ее у себя, а спустя несколько дней огорошил известием, что уничтожил ее из "соображений конспирации". Третью листовку выпросил у меня Тарасевич, ссылаясь на то, что скоро он поедет во Львов, где у него есть знакомые среди украинских националистов. Поэтому он сможет взять на себя роль посред-

---

7. Это только в советских детективах всякие "шпионы" буквально кишат вокруг "простых советских людей", которых они коварно "улавливают" в свои сети. А в жизни – годами ищи встречи с кем-нибудь "оттуда" – не найдешь! Один мой знакомый – отчаянный антикоммунист – совсем недавно жаловался мне: "Ну чем занимаются все эти "энтээсы" и "ЦРУ"? Хоть бы одного из их людей увидеть: может, пригожусь!" Советская система, которой удается фабриковать Абелей и Зорге, с еще большим успехом создает потенциальных Пеньковских. В большинстве случаев, правда, речь идет лишь о потенции...

8. Эта моя оценка – не просто результат ретроспекции с точки зрения последующих событий. Я и тогда воспринимал Тарасевича именно так. Но если сейчас для меня все перечисленные признаки почти абсолютно подсказывают: такому человеку в политике не доверяй, то в 1956 году я думал, что у Тарасевича "все еще впереди", что в общении со мной он изменится в лучшую сторону и т.п. Тарасевичу было тогда 18 лет; мне – 20.

ника между "Социал-прогрессивным Союзом" и подпольщиками Украины. Мне, мыслившему тогда если уж не глобальными, то по крайней мере, *всесоюзными* категориями, предложение Тарасевича пришлось по душе, и он получил экземпляр листовки вместе с соответствующими полномочиями.

Этот "трехлистовочный пасьянс" следует запомнить. В нем — завязка той головоломной схемы, которую мне через год пришлось разгадывать, водя за нос сразу три Управления КГБ: Ленинградское, Московское и Мордовское. Это была опаснейшая игра, выиграть которую удалось с большим трудом и предельным напряжением всей моей воли. Но все это было еще впереди...А пока шел ноябрь 1956 года... Где-то в далеком от нас Будапеште лилась кровь, грохотали танки... Нам же иногда казалось, что грохочут они прямо сквозь нас, по заснеженным улицам Ленинграда.



#### О Т Р Е Д А К Ц И И

1. Рукописи, присылаемые в редакцию, должны быть напечатаны на машинке, через два интервала, на одной стороне листа. Сноски, примечания, цитаты на иностранных языках должны сопровождаться точным русским переводом. В текстах рецензий следует обязательно указывать выходные данные рецензируемых книг: место, время издания, название издательства.
2. По поводу непринятых рукописей Редакция ни в какие объяснения не вступает.
3. Редакция оставляет за собой право сокращать рукописи, вносить необходимые стилистические изменения, исправлять очевидные смысловые и грамматические ошибки и опiski. Данное правило распространяется на произведения всех жанров. Лишь в особых случаях Редакция будет при этом запрашивать дополнительные разъяснения авторов.
4. Статьи, заявления, открытые письма, различные полемические материалы, помещенные на страницах "Современника", подписанные автором или инициалами, не обязательно выражают мнение Редакции.
5. Рукописи, присылаемые в Редакцию, должны быть подписаны автором с указанием адреса. Псевдоним оговаривается особо. Тайна псевдонимов Редакцией гарантируется.
6. За исключением совершенно особых случаев, Редакция принимает рукописи произведений, ранее не публиковавшихся.
7. В случаях публикации произведений авторов Самиздата или других авторов из СССР, предоставивших свои рукописи "Современнику", Редакция не считает себя связанной какими-либо правилами в отношении авторов, которые (т.е. правила) действуют на территории Советского Союза.

## ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА

В зарубежной прессе глубоко укоренилась "традиция" – если давать оценку произведения зарубежного автора, то только положительную. 'De mortuis aut bene aut nihil' – благородный принцип, но наши зарубежные критики и рецензенты придерживаются его и по отношению к живым.

Это снисходительное отношение критики не является беспричинным феноменом, по своей сути оно стремится к поощрению литературного творчества в Зарубежье, оно хочет морально поддержать зарубежных авторов, работающих иногда в невыносимо тяжелых условиях.

И все же... К чему ведет такое безусловно снисходительное отношение? К повышению литературного уровня пишущего Зарубежья? К улучшению литературного вкуса читательского Зарубежья? Едва ли.

Начнем с автора. Будучи человеком, а не полубогом, он может ошибаться. Может быть, читая свою собственную книгу, он подсознательно и чувствует ее недостатки, но точно их указать самому себе не может. Часто со стороны бывает виднее, и рецензент эти недочеты видит.

Да, видит, но сказать о них во всеуслышанье не может: нельзя идти против традиции. Рецензент окуривает фимиамом автора, и тот неожиданно узнает, что он – гений, что его произведение – это верх искусства.

Если никто не укажет автору его ошибок, откуда же он может знать о них? Если у автора и были какие-то сомнения, то после такой рецензии они испаряются. Можете быть уверенными, что художественный уровень его следующей книги будет ниже. Вполне естественно – он гений, его творчество – прекрасно. От добра добра не ищут. Будем работать на том же уровне и нас окадят тем же фимиамом. Зачем же стараться писать лучше?

Ну, а как же с читателем? – спросите вы. – Как на него влияет такая алилуйщина? – А как может влиять на человека систематическая дезинформация? Кончается тем, что читатель вообще перестает верить и рецензентам, и критикам, и авторам литературных отзывов. Да и как им верить? Если судить по отзывам рецензентов, плохих писателей в Зарубежье вообще нет. Нет даже и посредственных, одни гении. Никогда еще история не видела такого скопления гениев в продолжении такого короткого отрезка времени.

Над этой эпидемией гениальности можно было бы смеяться, но, к сожалению, в этой смешной истории есть и грустная черта. Без объективной критики литература может существовать, но развиваться и расти она не может.

## ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

.....

*Многоуважаемый Г-н Редактор!*

*Мое знакомство с Вашим весьма интересным журналом длится уже несколько лет. Надо признать, что за последнее время журнал разросся, обогатился ценным художественным материалом; увеличилось число авторов и расширились горизонты их видения как в художественной, так и в публицистической сферах. Особенно положительным, на мой взгляд, является создание Вами отдела "Форум", где читатели смогут высказываться по самым разным темам нашей чрезвычайно сложной жизни.*

*Пользуясь настоящим случаем, я хотел бы сказать несколько слов относительно статьи Андрея Дружинина "Утопия или потенция?" (№ 32).*

*Автор статьи строит довольно смелые умозаключения о возможности антикоммунистической революции в СССР, беря за исходный пункт венгерскую революцию 1956 года. Он развивает мысль о том, что жестокий и тоталитарный характер советской системы, а — с другой стороны — наличие внутри советской колониальной империи национального движения, создают условия для насильственной революции в СССР (как то случилось в Венгрии) и такую возможность, действительно, нельзя исключать. "Предпосылки для...восстаний существуют, — говорит А.Дружинин, — на Украине, в Литве, Латвии и Эстонии, в кавказских республиках, на территории Средней Азии. Пресловутая "ленинско-сталинская национальная политика" отличалась на протяжении многих лет удивительной смесью жестокости и глупой недалёковидности"... ("Современник", № 32, стр. 73).*

*Однако мне хотелось бы задать уважаемому автору вопрос: почему в его перечне угнетенных в СССР народов и так называемых "союзных республик" нет Белоруссии? Разве там не имеется предпосылок для революционного взрыва, подобных тем, какие существуют на Украине и в Прибалтике?*

*Мне, белорусскому писателю в эмиграции, который постоянно и внимательно следит за событиями на своей родине, известно, что в Белоруссии были и есть в настоящее время диссиденты и что, с другой стороны, там "смесь жестокости и глупой недалёковидности" колониальных властей не менее очевидна, чем в других национальных республиках.*

*Не секрет, что о Белоруссии знают в эмиграции меньше, чем о прибалтийских народах. На это есть много причин, и я не буду их в данном случае глубоко анализировать. Укажу, однако, на одну из них:*

белоруссы по природе и национальному характеру менее крикливы, чем кое-кто из их соседей. А что во многих случаях они слабей организованы, нежели, скажем, прибалтийцы или украинцы, — это также не секрет.

Но эти и другие причины не могут оправдать замалчивания вклада белоруссов в дело общей борьбы против коммунизма. Хотя и встречаются еще своего рода "чудаки", твердящие, что, мол, "не было, нет и не будет" Белоруссии как таковой, большинство образованных русских имели возможность знакомиться с историей, культурой, национальным характером белоруссов, с их политическими стремлениями.

Существует, мне кажется, среди русских тяжелый для преодоления рефлекс по отношению к белоруссам — рефлекс, имеющий, видимо, психологическое основание. Зародышем его является та, ставшая привычной "истина" политического толка, которая некогда сформировалась в условиях существования царской империи. Это не что иное, как набившее оскомину утверждение, что Белоруссия есть самая отсталая окраина российской империи.

Это утверждение охотно повторяется советской пропагандой каждый раз, когда требуется подчеркнуть, что только "после великого Октября" наступил небывалый "расцвет" экономической и культурной жизни Белоруссии (разумеется, под опекой "родной партии").

Столь частое повторение фразы об "отсталой окраине", повидимому, оказало воздействие и на тех русских, которые доброжелательно относятся к Белоруссии. Волей-неволей в их сознании сформировалось убеждение, что раз белоруссы такие "отсталые", да еще и "окраинные", то они, вероятно, и слабы к тому же. Чего уж тогда рассуждать об их потенциальных возможностях и политических устремлениях!

Мне думается, что передовые, демократически настроенные деятели культуры и политики должны избавиться от упомянутого мной нежелательного рефлекса. Это создаст основания для нашего будущего сотрудничества — разумеется, не на базе искусственно организованной "родной партией" мнимой "дружбы народов", а на основе естественных симпатий и подлинной солидарности между нашими народами, объединенных общей задачей освобождения их от тоталитарного коммунистического ига.

К.АКУЛА

\* \* \*



## ЗАБАВНОЕ СОВПАДЕНИЕ

Кажется, в прошлом году я с ужасом прочел в одной из зарубежных газет фразу: "Силы делятся на деструктивные и конструирующие" (и пожаловался редактору). А недавно — в статье А.Амальрика "США и СССР в одной лодке" ("НРС", 2 ноября 1975 г.) снова встретил уже знакомых словесных дикообразов: "...само по себе включение не превращает субсистему из деструктивной в конструктивную." Простых русских слов "созидательный" и "разрушительный" не признают ни безымянный парижский журналист, ни именитый "советский ученый".

Откуда ветер дует, догадаться не трудно. Неслышанный упадок языковой культуры в советской России сказывается, прежде всего, в том, что людей вполне грамотных можно по пальцам счесть. Реформа правописания (1914 года) не была бы несчастьем или преступлением, если бы все "старопечатные" книги в короткий срок были заменены новыми изданиями. Получилось иначе. Тех самых "детей", которым, якобы, так трудно было заучивать слова с буквой ять, фитой, жицей, стали обучать по новому правописанию, а читать оставили по старому. Столкновением двух неодинаковых правописаний исключалось доверие к зрительной памяти — главной во всяком запоминании.

За шестьдесят лет (считая с 1914 года) многое было переиздано. Казалось бы, "старопечатные" книги не оказывают теперь вредоносного действия. Не тут-то было! К реформе 1914 года непрерывно добавляются мелкие "реформочки". Твердый знак сначала был упразднен в конце слов, а внутри — заменен нелепым апострофом; позднее он был "пожертвован реабилитирован". Были ли книги, изданные в апострофом, изъяты и заменены новыми — с восстановленным в правах твердым знаком? Едва ли: "правительству и партии" было не до того.

Ясное дело, "академики" на том не остановились. Кто-то придумал, что имена собственные среднего рода не склоняются. Еще недавно Вера Инбер ("За много лет") склоняла Переделкино: приехала из Переделкина, жила в Переделкине. Теперь почти все советские грамотеи пишут: "еду из Переделкино, гуляю по Переделкино, живу в Переделкино". Догадались ли новаторы "исправить" Лермонтова, чтобы "подрастающее поколение" читало и писало "правильно": "Недаром помнит вся Россия / Про день Бородино"?

В прежние годы предложный (и местный) падеж отличался от винительного: "я пишу сочиненье", но не нахожу смысла "в сочиненьи". Теперь эти падежи не различаются: "Он пошел на собранье" и он вышел в сомненье" (хотя на самом деле вышел-то он не в сомненье, а в коридор).

Постепенно исчезают двойные согласные из иностранных слов: "галерея, агрессия" — почему не агрессия? Скоро будут писать "атестат, коллекция, бал (вместо "балл"), метал (вместо "металл"), вила,

вана...". "Детям станет легче!" А со взрослыми можно не считаться: пусть почаще переучиваются. Итоги этой неустойчивости очевидны: зрительная память теперь человеку чаще вредит, чем помогает; книги, которые он читает, отстают от "реформочек"; то, что вчера было правильным — сегодня ошибка, а то, что даже у Горького было срывом ("трое волчат"), сегодня — безупречный русский язык ("двое девок", "трое баб"). Идеал всеобщей полуграмотности достигнут!

Один из наших выдающихся литературоведов писал мне однажды, что следовало бы объявить обязательным "и с точкой" в одном слове — "мир" (вселенная). Поводом послужила статья Марины Цветаевой о Волошине, в которой она назвала поэта "миротворцем" (создателем миров) и "мирожителем" (примирителем) рядом, в одной фразе. Переиздавая эту статью, Чеховское издательство воспроизвело первое слово через "и с точкой" (иначе и нельзя было поступить). Словами "мир" и "мир" в стихах я пользуюсь постоянно — и требую, чтобы "мир-вселенная" печатался через "и с точкой" в моих книгах. Еще важнее будет это в моем переводе "Дао-дз-цзина", где оба слова встречаются на каждом шагу, а по контексту не всегда ясно, о котором "мире" идет речь.

Не случайно я упомянул в начале этой заметки имя А.Амальрика — "историка" (хотя мне невдомек, когда и каким образом советские тюремные завсегдатаи ухитряются становиться учеными "с мировыми именами" и даже получать ученые степени). В той же большой статье "США и СССР в одной лодке" он пишет: "На разрядку лучше всего смотреть, как на инструмент не сохранения мира (peace), а улучшения мира ( world )..." Не "инструмент", а средство, но это между прочим. А важно тут то, что человек советской формации вынужден давать в английском переводе исконные русские слова, которые так хорошо различались... до 1914 года. Не далек тот день, когда на тысячу раз реформированном русском языке нельзя будет написать ни одной осмысленной — и не двусмысленной — фразы. Не придется ли тогда "нашим детям", изнемогавшим от буквы ять, попросту перейти на английский язык — или, на худой конец, на китайский?

В.ПЕРЕЛЕШИН

*В ОТВЕТ НА РЕЦЕНЗИЮ...*

*Передо мной последний номер канадского русского журнала "Современник". Критическая статья Г. Гидони-Румянцевой, ответственного секретаря журнала. Статья посвящена книге Григория Свирского "Поллярная трагедия". Книгу эту написал я. Извините.*

*Я просматриваю рецензию Г. Гидони-Румянцевой и...глазам своим не верю. Что ни фраза, то разоблачающий "перл".*

*"...сталистские глаза" одного из персонажей читаются чуть ли не как "сталинские". "С одной стороны книга нацелена на протест..."— что-то знакомое! Вспоминаю: в московском гастрономе, рядом с писательскими домами, висела стенная газета "За советскую торговлю". Передовая начиналась со слов о том, что стенная газета гастронома "нацелена на протест против обмана: покупателей путем недовеса и недомера..."*

*Писателя разоблачают почти теми же словами: "С одной стороны, его книга нацелена на протест против пороков советского строя; с другой — это вполне "советская" книга."*

*Подход диалектический! В таком случае, естественно, автор уж не столько пишет, сколько маскируется...Даже своим стилем, оказывается, стремится "замаскировать незначительность сюжета и содержательных характеристик героев своих очерков..."*

*Тут не мог я удержаться от улыбки.*

*Допустим, автор действительно пытается замаскировать чем-то "незначительность сюжета". Но, помилуйте, зачем же ему замаскированы содержательные характеристики своих героев?!*

*Создал что-то удачное и — тут же замаскировал!..*

*Я перелистал странички, вернулся к началу статьи и начал не пролежать ее глазами, а вчитываться. Итак, герой Григория Свирского "подошел к распахнутому окну. Буро-красная, о двух пальцах, кисть напряженно сжала край рамы." "Обратите внимание на это "о двух пальцах"; — замечает вдруг Г. Гидони-Румянцева. — Сказано сие с явным нажимом, с желанием необычно выразиться о чем-то вполне обычном. К такому языку прибегают иногда начинающие авторы, стремясь замаскировать обыденность содержания вычурностью стиля."*

*"О двух пальцах"— это значит, что на руке геолога Полянского было всего два пальца. Остальные, как сказано в книге, отморозены.*

Простое русское выражение оказалось неведомым Г. Гидони-Румянцевой. Незнакомое словосочетание, однако, столь ей понравилось, что она построила на нем, как на фундаменте, все свои доказательства.

"...Можно даже сказать, — продолжает Г. Гидони-Румянцева, — что вся его книга написана как бы "о двух пальцах" и по содержанию и по форме... Одним "пальцем" приманивает читателя, любящего формальный изыск, другим — тут же выявляет в себе чуть ли не "почвенника-описателя".

С одной стороны, его книга нацелена на протест... — с другой...

Словом, если герой "о двух пальцах", то автор явно о двух головах.

Г. Гидони-Румянцева действительно ничего не поняла? Или тоже замаскировалась?

О чем книга "Полярная трагедия"?

О глубинной России. Некогда здесь были сталинские лагеря, самые страшные лагеря: Воркута, Норильск, "Озерлаг", "Ухтлаг". Что здесь сейчас? В эти дни...

Самому автору о книге судить негоже. В литературе бывает, и нередко, что писателю не удается выразить своего замысла. Хотел он сказать одно, а — сказалося другое. Поэтому пусть о книге говорят рецензенты. Как они поняли ее, многоопытные критики русской зарубежной прессы?

"Это, действительно, Клондайк, но советский... Точнее сказать, — это "антиклондайк"... распростертая над всем, как северное сияние, аура "великой партии" создает такую атмосферу, от которой душу корчит от гадливого отчаяния..." (Газета "Русская мысль", Париж.)

"Из всех рассказов сборника встает страшная судьба нынешнего советского Заполярья, того несправедливо битого, измороженного, преступно уродоваемого края, — подытоживает свою рецензию журнал "Посев" (Франкфурт-Майн).

"Эта книга называется высоким словом — "трагедия", но рассказывает о буднях... Именно это и есть настоящая трагедия — спокойная привычка к потерям. Никто не плачется, не рвет страсть в клочья, наоборот — все рады случаю посмеяться, скаламбурить посолоней. И чем охотнее, чем гуще шутят — тем страшней читать. Нет ничего тяжелее и драматичнее, чем привычка людей к нечеловеческой жизни. Но другой им не дано. Где взять им другую?" (Журнал "Континент" №10).

Может быть, книгу пережевывают? "Русская мысль", коснувшись недостатков, завершила свой отзыв следующими словами: "Но это частности, а в целом книгу безусловно стоит прочесть. В ней то, что сделала Комдиктатура со страной и людьми — в известном смысле еще видней, чем в "Гулагах", ведь ее герои (условно) свободны".

Вот о чем книга.

Как поступила бы, скажем, "Литературная газета", выйди книга в Москве? — Г. Гидони-Румянцева вполне допускает такую гипотезу.

"Литературная газета" держится на трех китах.

1. Облавив опасную властям книгу, "Литгазета" никогда не сообщает о ее проблематике, сущности. Напускается туман. Чаще всего

вырывается из контекста деталь, которой манипулируют, как хотят, чтобы — Боже упаси! — не сказать о главном.

2. "Литгазета" неизменно подозревает писателей в том, что они пытаются "замаскировать", "протащить", "отравить зловонием"...

3. И, наконец, это главный "изничтожающий" прием "Литгазеты": о неудобном авторе говорится, что у него не точка, а "кочка" зрения (обывательская, злобствующая, поверхностно-репортерская и тд. и пр.), что он типизирует случайные наблюдения, обобщает недостатки, пытается придать им не присущую масштабность...

"Вся беда в том, — заключает и Г.Гидони-Румянцева свою рецензию, — что он (автор — Г.С.) захотел придать своим очеркам не присущую им масштабность... короче, захотел казаться более значительным, чем позволяет ему его — по сути репортерское, а не писательское видение мира."

Судя по всем приемам рецензирования Г.Гидони-Румянцевой, "Литературная газета" незримо полоскалась над ее головой, как знамя.

Я провел на Крайнем Севере и в Сибири, в общей сложности, около семи лет. Наблюдения всех этих страшных лет сконцентрированы, сплавлены, обобщены в каждом репортаже.

Флобер сказал как-то, что его Эмма (из романа "Госпожа Бовари") плачет в двадцати городах Франции.

Мои герои терпят нечеловеческие муки, молчат или кричат от отчаяния — в сотнях городов России.

Трагическое содержание книги Гидони-Румянцева попыталась скрыть, точь в точь, по описанному выше образцу, за "двумя пальцами" героя-страдальца. Деталью, вырванной из контекста...

Постичь же, что стилистика репортажа в этой книге — писательский прием, к Гидони-Румянцевой, "не заметившей" содержания, и требований таких предъявлять нельзя...

Тем более, что она вообще к языку глуховата.

Герои Свирского изъясняются... "все Съма Солеными СловеСаами, но и риСуя их, нельзя переСаливать".

Обвинив автора в вычурности стиля, Г.Гидони-Румянцева учит его писать просто:

"И даже у самого благоприятного читателя автор и его герои начинают сливаться вскоре в нечто... малоприятельное по ц в е т у и о с я з а н и ю..." (разбивка моя — Г.С.)

Какое счастье, что Г.Гидони-Румянцева меня обругала. А что, если б — таким языком и столь аргументированно — похвалила?! Руки на себя наложишь!..

ГРИГОРИЙ СВИРСКИЙ.

## СМЕШНАЯ САМОЗАЩИТА

Г-н Свирский очень обижен. Это легко может понять каждый читатель его "ответа" Г.Гидони-Румянцевой. И понять его можно: быть раскритикованным автором — вещь малоприятная. Однако понять здесь — не значит простить. Ибо полемические приемы Г.Свирского заставляют укрепиться в предположении, что брошенный ему рецензией упрек в "остаточном советском мышлении", к сожалению, более основателен, чем автор рецензии мог думать раньше.

В самом деле, разве не по-советски рассуждает Г.Свирский, когда пытается оправдать *художественные* просчеты своей книги ссылками на важность темы ее. Тема ведь существует независимо от писателя. И даже простое "открытие" какой-то новой темы — отнюдь не главная заслуга для автора книги. Каждому понятно, что в художественном творчестве важнее всего то, *как* разработана тема. По этому признаку и дается действительно значимая в эстетическом смысле оценка. Г.Свирский пишет о Севере. Но он мог бы с таким же успехом (или без оного) писать о Юге, Востоке и Западе. Сама по себе "географическо-тематическая" *предопределенность* его тематики ровным счетом ничего *не определлет* в конечном результате. Еще Пушкин справедливо подчеркнул, что в искусстве "КАК" важнее, чем "ЧТО".

Впрочем, вопреки утверждениям г-на Свирского, рецензия отнюдь не скрывает от читателя содержания его книги. Напротив, она указывает, что Свирский "использует сюжеты лагерной жизни и "эзковских" судеб" ("Современник" №33, стр. 151). Но — повторим! — сами по себе эти сюжеты не дают гарантии писательского успеха и Свирский весьма наивно полагает, что ему удастся убедить читателей в своей правоте, рассуждая по схеме: это хорошо потому, что это написано на важную и нужную тему.

Вообще многие заблуждения г-на Свирского проистекают от того, что он априорно истолковывает в свою пользу даже явные свои просчеты. Так, например, Г.Свирский думает, будто он очень удачно "подловил" рецензента, когда вопрошает: "Зачем ему (автору) замаскировывать содержательные характеристики своих героев? Создал что-то удачное и — тут же замаскировал!.."

Ах, г-н Свирский! Вы спутали (очень приятным для себя образом, признаю!) две разные вещи. Вы решили, что автор рецензии считает характеристики ваших героев очень "содержательными", т.е. богатыми и яркими. Будь это так, действительно, с какой стати было бы "маскировать" столь щедрым ключом бьющее "писательское мастерство"? Но в рецензии говорится о том, что вы стремитесь замаскировать "незначительность содержательных характеристик героев". Иными словами, здесь используется общепринятый литературоведами и критиками термин "содержательная характеристика", т.е. характеристика героя или события *со стороны содержания*.

Одна из лучших советских литературоведческих работ – вышедшая в 1968 году книга Г.Д. Гачева называлась, например, "Содержательность художественных форм". Из этого названия вытекает не то, что эти формы "богаты содержанием", а лишь то, что они рассматриваются со стороны своей содержательности. В комедии "Горе от ума" Чацкий, например, безусловно, как человек, гораздо содержательней, чем Фамусов. Это не значит, однако, что образ Фамусова не может быть рассмотрен со стороны его *содержания*, т.е. с точки зрения его содержательной характеристики. То же самое можно сказать и о ваших героях, г-н Свирский. И вы совершенно зря приняли "содержательные характеристики" оных за признание их в качестве содержательных людей.

Конечно, писатель не обязан быть литературоведом, и вы это доказываете собственным примером, однако самообразование не повредит никому, даже писателю.

Но поставим вопрос несколько глубже: на что, собственно, обижаются г-н Свирский? Он цитирует в свою защиту отзывы прессы, которые считает безусловно положительными. А ведь трудно принять как таковой весьма сдержанный отзыв "Континента", автор которого не сказал ни одного слова о художественных достоинствах книги "Полярная трагедия", ограничившись признанием важности темы. Кстати, в "Континенте" же констатируется очеркистская природа писательской манеры Свирского, т.е. говорится то же самое, что и в рецензии "Современника".

Г-н Свирский не впервые является объектом достаточно резких суждений зарубежной русской критики. Еще в 1952 году после публикации советским журналом "Октябрь" романа Свирского "Здравствуй, университет!" на страницах Мюнхенского "Литературного Современника" (№3) появилась следующая рецензия:

*"Так сказать, "извоздем" обеих – январской и февральской – книжек является роман ГРИГОРИЯ СВИРСКОГО "Здравствуй, университет!", изготовленный чутким к требованиям партии автором в рекордный краткий срок. Давно ли, кажется, был развенчан академик Н. Марр и Иосиф Виссарионович начертал линию истинного пути советского языкознания, – а уже на эту тему готов, прошел искус огнем и железом коммунистической цензуры и напечатан целый роман...*

*В романе есть и любовная интрига (положим, слишком незамысловатая), и быт советских студентов – в немалой части – демобилизованных военных, – и картины роста Москвы, и неукоснительный показ широты круга культурных интересов советской интеллигенции и многое другое, требуемое правилами советского бонтона и "социалистического реализма". Герои романа наделены положительными и отрицательными качествами в принятой стандартной рецептурной пропорции: один и смел и умел, да робок с девушками; другой предан партии и науке, но на беду опрометчив (хотя впоследствии, конечно, исправится). Есть и вовсе черные. К таковым относится главный носитель марковского*

эла, профессор, снабженный неблагозвучной фамилией — Тютловский.

Автор поставил себе задачей показать, что сталинская эскапада против Марра не появилась внезапно, или по-украински "як Пилип з конопель", а была неизбежным логическим следствием того возмущения, которое давно назревало в сердце советских языковедов по отношению к учению догадавшегося заблаговременно скончаться творца яфетической теории.

Теоретические вопросы волнуют выведенных в романе лиц выше всякой меры, волнуют настолько, что поверить в это волнение совершенно невозможно... если не вспомнить, что в советской действительности от теоретического уклона или "вывиха" воистину только один шаг до вполне практической — каторги. Подлинным трагизмом веет поэтому от сцены конечного разоблачения марриста Тютловского.

В спорах на научные темы то и дело проскальзывают выражения: "гибель", "снять голову", "душа вон" и т. п.

Комсомольцы в романе бесконечно бодры и восторженно оптимистичны. Милая девушка доносит на милую подружку, неосторожно признавшуюся ей, что пропустила свои агитаторские занятия с беспартийными старушками. Доносит и говорит при этом: "скрывать подлость — тоже подлость."

Американские корреспонденты, как и полагается прислужникам Уоллстрита, "бегут" от "слишком прямых" вопросов советского студентства...

Художественная ценность романа Г.Свирского полностью отсутствует, но прочесть его ради того, чтобы освежить ощущение подсоветского "климата" — очень и очень полезно."

Простое сопоставление процитированного текста и рецензии на "Полярную трагедию" в №32 "Современника" способно убедить любого читателя, что разбор "Полярной трагедии" является чуть ли не "дружественным отзывом" на фоне того "разноса", который учинил Свирскому мюнхенский "Литературный Современник".

Видит Бог, мы не стали бы вспоминать о "советском периоде" творчества Свирского, если бы он своей позицией "обиженного на критику" не показывал, как живучи в нем в литературном и человеческом планах старые советские привычки и представления.

Журнал "Современник" отнюдь не начал какой-то "поход" против Свирского. Когда последний написал не бесспорную в частностях, но в целом хорошую публицистическую книгу "Заложники", наш журнал откликнулся на нее положительной рецензией ("Современник", 1975, №№ 28-29, стр. 135-136). Ну, а "Полярная трагедия" оказалась книгой слабой, чем и вызвана была рецензия негативного свойства. И вместо того, чтобы сердиться, Г.Свирский должен был бы уяснить себе: задача писателя писать книги, а не "опровержения" рецензий на оные.

Не хочется детально разбирать некрасивые по тону сентенции Свирского насчет "влияния "Литературной газеты"". Право же, не имея никогда дел с этим органом прессы, я не считаю себя в данном вопро-



се столь компетентной, как сам г-н Свирский, в прошлом очень даже с ней связанный. Остановлюсь лишь на таком приеме Свирского: он подчеркивает игру слов в одном из предложений рецензии (насчет "соленых" словес и пересаливания ими) и обвиняет автора рецензии в том, что она, мол, "к языку глуховата". Но — побойтесь Бога, г-н Свирский! Вот одно из мест в вашей книге "Заложники" (Париж, 1974, стр. 146): "Я... проталкивался к длинным, как *забор*, стендам, на которых была наклеена "Правда" (от этого ли "*забора*" или, скорее, потому, что последние годы газета густо насыщалась бранью *позабористей*, знакомство с ними называлось в Университете "*заборным* чтением")."

Итак, ваша "заборная" звукорядность является, может быть, не игрой слов, а признаком "языковой глухоты"? А, может быть, все дело в том, что в пылу затеянного вами спора вы оказываетесь "глуховаты" к элементарной справедливости? В этом же ряду примеров стоят ваши замечания относительно "простого русского выражения" "о двух пальцах". Куда уж проще! Остается только вспомнить в этой связи народную мудрость: "конь о четырех ногах, и спотыкается". Не знаю в точности, о скольких ногах выступает "конь логики" г-на Свирского, но ясно, что логика его суждений постоянно хромает.

Итак, не надо на себя рук накладывать, г-н Свирский, не надо воспринимать как трагедию неудачу с вашей "Полярной трагедией". Надо попытаться *приложить* руки к литературному труду с большей степенью ответственности и тогда вам не придется выступать в грустной, но и смешной одновременно роли оправдывающегося автора.

Галина ГИДОНИ-РУМЯНЦЕВА.

\* \* \*

#### ОТ РЕДАКЦИИ:

*Редакция "Современника", солидаризируясь с позицией Г.А. Гидони-Румянцевой, считает, что тема полемики на этом исчерпана. В будущем редакция не намерена устраивать какие-либо дискуссии на основе рецензий, публикуемых в журнале, считая, что для дискуссий должна подыскиваться более серьезная основа, нежели неудовольствие авторов по поводу критики их произведений.*



## С.ТОЛ

Заря над озером алела,  
Шел вздох короткий от земли.  
И чайка парусом белела,  
Качаясь медленно вдали.

Лучи скользя,  
Казалось, пели,  
Насквозь пронзали глубину.  
И свежий ветер,  
Еле-еле,  
Спросонья гладил тишину.  
И жило все, и все дышало:  
Светилась даль,  
Светилась близь.  
А на юру  
Сосна устало,  
Под шепот трав  
Клонилась вниз.

\* \* \*

Лес в серебряной оправе.  
Тишь ласкает сон полей.  
За дорогой, на отаве,  
Слышно ржанье лошадей.

На поверхности зеркальной  
Чуть заметного пруда  
В дымке пепельно-крахмальной  
Бледно светится звезда.

Тени призраками стали  
На обочинах дорог.  
Лунный свет прорезал дали,  
Молоком пролился в лог.

\* \* \*

## ТАТЬЯНА МАНДЕЛЬШТАМ-ГАТИНСКАЯ

Сомнение. Отчаянье. Ну что ж.  
Приходится мириться в этом мире.  
Бессмертие – а если это ложь,  
Окутанная в пурпурной порфире.

Вот голубая даль. И облака,  
И солнце, что сияет над деревней...  
Все это было. Помнится слегка,  
Как будто лики на иконе древней.

И мне почудилось, что я живу  
В прекрасном мире, где ни войн, ни плача...  
И только облака плывут в Москву,  
Иль над московской деревянной дачей.

\* \* \*

В. ИНГУЛ

### ДЕРЕВЦО

У самой ступени у дома  
Растет деревцо-лилипут.  
Оно уже стало знакомо  
Жильцам, и его берегут.

Из щели на камне пробился  
На свет Божий малый росток,  
И, кажется, сам удивился,  
Что тут укрепил его Бог.

Три листика ярко-зеленых  
Трепещут на солнце. Не тронь!  
В их жилках нерукотворных  
Трепещет Вселенной огонь.

Июль, 1976 г.

"O, Canada! Glorious and free!.."



**Canada**

Отдел ведет член Редколлегии "Современника", поэтесса и журналистка  
Элла Ивановна БОБРОВА.



## К А Н А Д А

Канада! Ты – отчизна и наш дом!  
Каждый твой сын всегда с тобой во всем.  
За твой расцвет – мы всей душой,  
Свободу возлюбя.  
Храни ж, Канада, наш покой,  
Как мы храним тебя.

Х о р :

Канадская! Свободная!  
Отчизна, славу мы твою храним.  
Канада! Мы тебя во славе храним!

Канада! Ты – кленовый лист земли.  
Реки в степях широких пролегли.  
И Запад твой, и твой Восток  
Чтит Севера народ.  
Ты всем трудящимся приют!  
Свободы ты оплот!

Канада! Свет небесности твоей  
Хранит сынов и нежных дочерей.  
И пусть твой Запад, твой Восток  
Цветут из года в год.  
Наш отчий край и мать-земля,  
Свободы ты оплот!

*(Перевод с английского  
Александра Гидони.)*



ИНТЕРВЬЮ

С

МЭРИ ДЭВЕРНЬЯ

*Недавно в Монреале состоялся интернациональный конкурс франкоязычной поэзии, в котором приняло участие 500 поэтов американского континента.*

*Франкоканадская поэтесса Мэри Дэвернья была удостоена похвального отзыва за стихотворение "Умудренность", которое мы даем в переводе одного из сотрудников журнала "Современник".*

*По просьбе редакции нашего журнала Мальвина Пустынская встретила в Монреале с МЭРИ ДЭВЕРНЬЯ. Поэтесса рассказала ей для читателей "Современника" о себе и своем творчестве.*

"Мэри Дэвернья — франкоканадская писательница" — сообщает "Практический словарь квебекских авторов", выпущенный в 1974 году в Монреале. К этому можно добавить: поэтесса, переводчица, журналистка, член международного Пэнклуба, член общества квебекских писателей. Это — с профессиональной точки зрения. А с человеческой — обаятельная женщина, глубокая и разносторонняя личность, живая и общительная. Эстонка по происхождению, Мария Ивановна родилась в России. Она покинула страну своего рождения в тринадцатилетнем возрасте, но прекрасно знает русский язык, живо интересуется русской литературной жизнью, откликается на все ее значительные события.

Прожив много лет во Франции, Мэри Дэвернья начала там и свою литературную деятельность. Ее первый поэтический сборник "Реликвии" вышел в Бордо в 1962 году и тогда же получил приз на конкурсе в Париже. В 1963 году Мария Ивановна представила свои стихи на поэтический конкурс в Виши. Жюри, в состав которого входили маститые поэты Жан Руссело, Эдмон Хюмо, критик парижских "Литературный новостей" Робер Каетерс, издатель и поэт Жан Жермен, — присудило ей интернациональный приз поэзии.

Следующий сборник Мэри Дэвернья — "Песни жалости", вышедший в 1972 году, уже в Канаде, — получил широкую прессу и популярность у читателей. Небольшого тиража — 2.000 экземпляров — оказалось крайне мало, и многие заказы библиотек и частных лиц, желающих приобрести эту книгу, остались неудовлетворенными. "Песни жалости" полностью вошли в ее третью книгу, название которой можно было бы перевести на русский язык как "Взаимопроникновение", опубликованную в 1973 году издательством Общества канадско-французских поэтов.

Сейчас Мария Ивановна готовит к выпуску свой четвертый поэтический сборник. По форме — это сказки для детей. Но, как и многие сказки современных писателей, они несут в себе и более глубокий, второй смысл, понятный только взрослым. Иллюстрации для книги сделаны дочерью автора Анной Колин. Таковы плоды работы поэтессы Мэри Дэвернья. Но, кроме поэтической работы, она много времени уделяет переводам, деятельности журналиста и эссеиста. В монреальской газете "Девуар" под разными рубриками вот уже в течение многих лет выходят ее эссе о творчестве русских писателей и переводы их произведений. Эти работы — глубокие и своеобразные исследования, охватывающие широкий диапазон тем — от Достоевского до Солженицына, от Эренбурга до Евтушенко.

В течение 1965-67 годов в "Девуаре" была напечатана серия статей Марии Дэвернья о лучших русских поэтах: "Анна Ахматова — поэтесса века", "Возврат к официальной жизни Пастернака, поэта завтрашнего дня", "Эренбург: трагическая маска" и др., где она не преподносит канадским читателям голословное мнение о русских поэтах и писателях, а сопровождает каждое эссе переводами их наиболее характерных произведений. Особое отношение у Марии Ивановны к творчеству Марины Цветаевой. И хотя язык, на котором пишет М. Дэвернья и поэтические, и прозаические вещи — французский, творчество Цветаевой вызвало к жизни стихи, а вернее, короткий стихотворный набросок — на русском языке:

Стих Марины —  
Топот копыт в пустыне:  
Там соль белеет,  
Там крик орлицы,  
Любовь там тлеет,  
Жизнь только снится...

Посвятила она несколько статей жизни и творчеству Солженицына, которого интервьюировала во время его пребывания в Монреале. Не раз писала о Евгении Евтушенко, Андрее Вознесенском, Беле Ахмадулиной.

Особое место в творчестве поэтессы-переводчицы Мэри Дэвернья занимает работа над стихотворной частью книги Юрия Галанскова "Поэт и человек" (прозаическая часть была переведена Анной Жальбер), вышедшей на французском языке в издательстве "Посев". Она рассказала об этой книге и вообще о трагической судьбе молодого поэта на страницах "Девуара".

Но имя Марии Дэвернья можно увидеть не только в газете "Девуар". В Монреале выходит журнал Общества квебекско-израильской дружбы "Взгляды на Израиль". Его редактор – писатель и журналист Мишель Соломон, прошедший через румынскую тюрьму и ссылку на Севере России. Кстати, о нем и его автобиографической книге "Магадан, сибирский ад", вышедшей в Канаде на английском и французском языках, Мария Дэвернья рассказала читателям "Девуара". И в журнале "Взгляды на Израиль" нередко можно встретить подпись Дэвернья под статьями об израильской литературе.

"Последний СОС Сахарова", "Заслужил ли Шолохов Нобелевскую премию?", "Ленин без ореола" (о книге А. Солженицына "Ленин в Цюрихе"), "Достоевский в изгнании", "Чем вызван процесс Синявского?" и многие другие заголовки публицистических очерков М. Дэвернья отражают тот широкий круг тем, которые ее тревожат и находят отклик в ее душе и творчестве.

Совсем недавно мне довелось познакомиться с Марией Ивановной. В уютном маленьком монреальском ресторане за чашкой кофе мы беседовали о литературе, искусстве и многих других вещах. Вам наверное известно это теплое чувство радости и восхищения, которое возникает при разговоре с не просто хорошо эрудированным, а воистину умным и мыслящим человеком. Именно такое ощущение возникло у меня во время этого разговора. Мне хочется привести здесь несколько ответов Марии Ивановны на мои вопросы.

– *Какими вы видите дальнейшие судьбы поэзии?*

– Трудно говорить о поэзии вообще. Русская поэзия, например, резко отличается от западной. Ну, хотя бы тем, что русские поэты – и в Советском Союзе, и за рубежом – сохраняют традиционность формы, приверженность рифмам и ритму, в то время как в западной, в частности, во французской поэзии преобладает верлибр. Да и вообще о русской поэзии нужно говорить особо. Что же касается французской поэзии (мне о ней судить нетрудно благодаря знанию французского языка), тут мне кажется, что во многом она зашла в тупик. Два года назад французский литератор Жан Грассен объявил поэтический конкурс. Познакомившись с произведениями авторов, претендовавших на приз, я обратила внимание, как мало было стихов – стихов в нашем понимании. Ведь поэзия должна быть возвышенной, а они стараются как можно больше "приземлить" ее. Но, конечно, ростки истинной поэзии достаточно сильны и, если они есть, то пробиваются сквозь любую грязь. Хотя, к сожалению, их очень мало.

– *Ну, а что вы можете сказать о современной русской поэзии и ее перспективах?*

– Когда Евгения Евтушенко во время одной из его зарубежных поездок спросили, кого он считает лучшими русскими поэтами современ-



ности, то, за исключением Беллы Ахмадулиной, он перечислил имена поэтов Зарубежья – Игоря Чиннова, Ивана Елагина, Странника. Я полностью с ним согласна. Хочется добавить к этому еще два имени – Анатолия Радыгина и Александра Гидони. Вообще с притоком третьей эмиграции русская зарубежная поэзия обогатилась талантами.

Когда я читаю стихи Галанскова, Радыгина и других поэтов, переживших тюрьмы и лагеря, мне приходит в голову мысль, что для того, чтобы создать *настоящее*, писателю нужно одиночество и тишина. Горько, конечно, что им пришлось получить эти два необходимых условия таким страшным путем.

Что касается прозаиков, то мне нравится книга Григория Свирского "Заложники". Мне хотелось бы познакомить с ней французских читателей. Я не взялась за перевод сама, но, как мне кажется, нашла для нее хорошего переводчика. Будем надеяться на положительные результаты.

*– Какими критериями вы руководствуетесь, выбирая для перевода то или иное произведение?*

– Обычно это только один критерий: нравится ли мне данная вещь. Как было с "Реквиемом" Анны Ахматовой, стихами Бориса Пастернака – они так запали мне в душу, что просто жаль было, что другие не могут с ними познакомиться из-за незнания русского языка. Это и побуждает меня переводить на французский любимые мои русские стихи. Иногда я делаю это по чьей-то просьбе или заказу издательства. Так, однажды в одном русском доме на литературном вечере должен был выступать Елагин. Меня попросили перевести три его стихотворения на французский язык – для тех из присутствующих, кто не говорил по-русски. Я это сделала, и читала переводы прямо вслед за его стихами. Этот стихотворно-поэтический экспромт всем очень понравился.

*– И последний, традиционный вопрос: каковы ваши творческие планы?*

– Первоочередным для меня сейчас является выпуск моего четвертого сборника. Кроме того, я заканчиваю перевод на французский язык поэмы известной поэтессы русского Зарубежья Эллы Бобровой "Ирина Истомина". Мне осталось доработать всего несколько глав, и скоро французский вариант поэмы увидит свет.

Буду продолжать публикацию своих литературных статей в "Девуаре", "Взглядах на Израиль". А еще мечтаю об издании на французском языке книги, которую условно можно назвать "Поэзия за проволокой". Речь идет об избранных стихах поэтов, в разное время побывавших в советских лагерях, что наложило отпечаток на их творчество. По моему замыслу туда должны войти стихи Радыгина, Иоффе, Галанскова и многих-многих других: и тех, кому удалось уехать на Запад, и тех, кто еще томится за колючей проволокой. Мне хочется перевести их лучшие стихи на французский язык и издать отдельной книгой.





Ольга КАШИЛО была провозглашена "Мисс Волга - 76" на ежегодном этническом "Караване" в русском павильоне "Волга", организуемым русской общиной Торонто при Храме Христа Спасителя. Традиционное и активное участие в "Караванах" – одно из свидетельств тех усилий, которые прилагаются нашими соотечественниками в Канаде для сохранения русских обычаев, национальной культуры и Веры. Мисс "Волга - 76" – красивое подтверждение этого.

## МЭРИ ДЭВЕРНЬЯ

### УМУДРЕННОСТЬ

Я – узы все порвавшая  
я – странница  
и день придет  
когда стальные гвозди  
меня пронзят  
на глубине  
промерзнувшей земли.

И день придет  
укоренюсь в земле  
и тело будет ствол  
а кроной голова  
Ветвями станут  
ветви рук моих  
а на трепещущих от сока пальцев  
синицы будут утром  
песни петь.

Вечерняя заря  
окрасит ногти блеском  
придут иные мудрецы  
мечтать в моей тени.  
Я буду шепотом  
их завершенных лет  
я буду свежесть их  
я буду знания древом.  
Чей плод, когда его вкусят,  
Изгнание ищущих преобразит  
в терпенье поиска утерянных давно  
древнейших самых тайн.

*(Перевел с французского Юрий Григоров).*

ЭЛЛА БОБРОВА

ПЕСНЬ СТАРИКА-ИНДЕЙЦА

(Из поэмы "В лучах Северного Сияния").

Свет увидел я в век лука и стрелы.  
Знал я мир вещей,

у них была душа.

Мне, как пенье птиц, их имена милы:

"Амо" и "Вигвам",

не "уголь—нефть—поташ".

Все делило жизнь со мною: поле, луг,  
воды чистых рек и лес... Зверь был мой друг.

Знал достоинство

народ счастливый мой —

как вдруг... Захлестнул нас океан волной.

На клочке земли

несусь теперь в волнах.

Берег виден мне, пристать — мешают страх.

Сколько там людей, проворных, молодых,

вширь и вглубь, и вверх стремятся,

небо — их!

На меня одни насмешливо глядят,

трусом и глупцом, бездельником бранят.

У других

в глазах участия вижу свет;

вот зовут меня: "Пойдем!"

Пойти или нет?

Поздно! Потерял я гордость, честь свою,

стрелы, лук сломал с пришельцами в бою...

Но мой внук подрос, и шаг его

иной.

Ни к чему теперь клич деда боевой.

Зорек взгляд его и равномерен шаг,

он найдет слова — и другом

станет враг.

Слышу голоса я молодого звон:

как Деганавида юный внук силен.

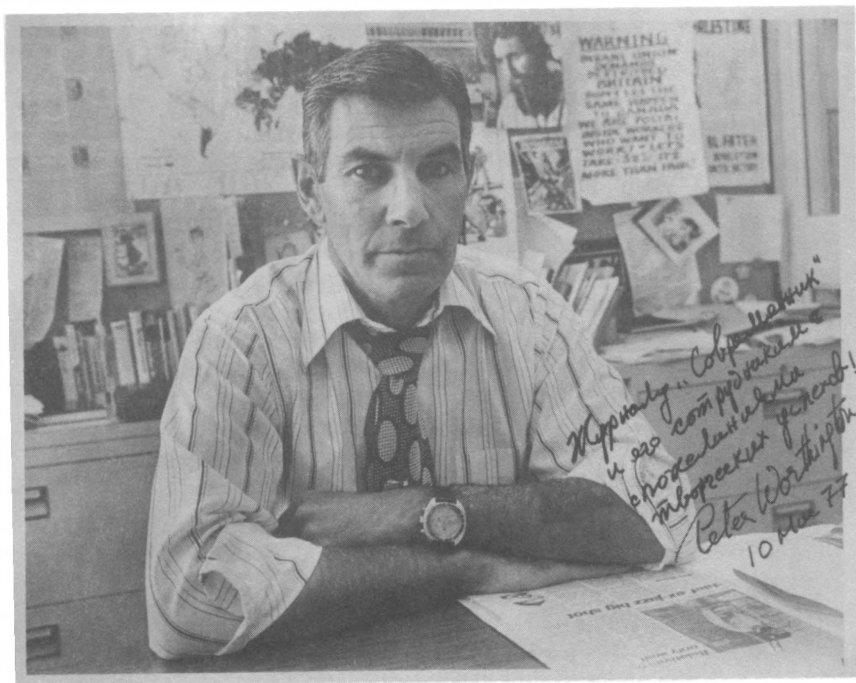
Свет неся в душе, не злобу и не месть —

мудростью себе он завоюет честь.

Равным

он сойдет на берег, чтоб созвать

радостную здесь друзей и братьев рать.



На снимке: Редактор "Торонто Сан" ПИТЕР ВОРТИНГТОН в рабочем кабинете.

### БЕСЕДА С ПИТЕРОМ ВОРТИНГТОНОМ

*Светлый просторный кабинет в помещении редакции газеты "Торонто Сан". Здесь в один из мартовских дней 1977 года Ведущий отдела "Форум" нашего журнала Александр Гидони взял интервью у известного канадского журналиста, удостоенного многих литературных премий, популярнейшего обозревателя газеты "Торонто Сан" ПИТЕРА ВОРТИНГТОНА. Беседа касалась вопросов социально-политического и литературного характера.*

**В о п р о с .** *Мы знаем Вас, мистер Вортингтон, как выдающегося канадского журналиста и специалиста по проблемам политики. Что Вы можете сказать о современном положении Канады в мире? Соответствует ли оно потенциам страны и есть ли у нее другие перспективы?*

**О т в е т .** В больших потенциях Канады сомневаться не приходится. Практически Канада — страна безграничных возможностей. Обидно поэтому, что реализацию их никак не назовешь успешной. И здесь суть дела — в политике.

Канада страшно любит изображать из себя миролюбивого и всеобщего друга. Однако желание быть другом *всех* часто означает невозможность быть подлинным другом *ни для кого*. Я думаю, что Канада в определенной степени предает свою ответственность перед миром, свою судьбу, жертвуя реальными интересами в пользу химерической мечты быть другом всех без исключения. Делается это в расчете получить встречную дружбу. Что из этого выходит? Да ничего, кроме конфузов и провалов. Это вроде того, как отказ бывшего президента США Форда встретиться с Солженицыным, чтобы не утратить расположение Кремля. Чем это кончилось для Форда — известно. Чего стоит "кремлевская благорасположенность" — тоже известно очень хорошо.

Вряд ли нужно доказывать, что истинно прочной дружбе предшествует *выбор* друзей, а не попытка пассивно "дружить" со всеми подряд. Выбор же всегда предполагает решимость. Такой решимости в политике Канаде постоянно не хватает. Я думаю, что Канада могла бы иметь гораздо большее влияние в мире, если бы она имела большую политическую смелость.

**В о п р о с .** *Нам известно, что Вы являетесь знатоком Советского Союза и вообще проблем коммунистического мира. Что Вы скажете о политике детанта? Не дает ли она коммунизму определенные преимущества над Западом?*

**О т в е т .** В свое время Черчилль бросил фразу, принесшую огромный вред. Он сказал, что Россия является загадкой. Между тем, в сущности, никакой загадки в ней нет. Во всяком случае, в советской политике. Она очень ясна, определена и отнюдь не загадочна. Все, что нужно Советскому Союзу, — это мировое господство. Такова суть, а терминология, конечно, используется самая различная. Западные державы (в том числе и Канада) слышат советские слова и не видят советских дел. Результатом такого самоослепления и самооглушения явилась политика детанта. Однако система советской политики такова, что если какое-то слово Кремлю не нравится, его вожди тут же заменяют это слово другим или дают ему новое толкование. А Запад без конца заглатывает советскую наживку.

Вообще марксизм-ленинизм в теории может, конечно, быть поводом для академической дискуссии, но марксизм на практике знает лишь один дискуссионный аргумент — силу. (К слову сказать, настоящих марксистов в СССР нет. Их гораздо больше здесь, в Торонто, в Йоркском университете, например, чем в Москве). Ленинская политика на-

сквозь прагматична и совсем не идейна, сколько бы ни кричали Советы об "идеях". Вот почему глобальная ситуация в отношениях между Западом и СССР — это игра с перевернутым фронтом. Запад все время пытается доказать свои дружеские чувства, а должно быть наоборот: дружественность — это неоплаченный долг СССР, а демонстрация силы — это необходимость для Запада.

Будучи крупнейшей военной силой (флот, сухопутная армия, ядерная мощь), Советский Союз пренебрежительно относится к американским уверениям в дружбе. Но СССР не пойдет на мировую войну ради какой-нибудь "идеи". Он будет, однако, бороться за сохранение своего господства над восточноевропейскими странами, поскольку считает, что это — его сфера влияния. В то же время советские лидеры неразрывно войны из-за Египта или Индокитая. В западной прессе говорится масса глупостей о войне на Среднем Востоке. Я лично думаю, что Америка, например, может втянуться в ближневосточный конфликт, если Израиль постигнет неудача. Советский же Союз не станет воевать из-за своих, весьма непостоянных, "арабских друзей". Да и основывая всю свою политику на силе, Кремль уважает только встречную силу.

Вот почему США должны были бы постоянно вести себя как подлинно великая держава. Как ни парадоксально это звучит, но самое безопасное время для мира было время "холодной войны". Я совсем не являюсь, как сказали бы коммунисты, "трубадуром холодной войны" — отнюдь нет! Просто необходимо подчеркнуть, что безопасность мира покоится на четком осознании великими державами предела, до которого они могут пойти в своем противостоянии друг другу. Ситуация "холодной войны" создавала такие четкие пределы; политика деганта их размыла.

Между тем, как боятся диктаторы перспективы решительного отпора! Это, знаете, как случается иногда в школах... Какой-нибудь мальчишка, пусть даже маленький, если он не трус, а смело дает сдачи, когда требуется, быстро отучит приставать к нему с кулаками. В политике смелость вознаграждается точно так же. Сталин не рискнул атаковать Югославию, как ему ни хотелось этого; Гитлер не посмел во время Второй мировой войны сунуться в Швейцарию. Почему? Оба знали, что встретят нешуточное сопротивление, и оба отказались от агрессивных замыслов. Полезнейший урок для тех, кто морально капитулирует перед советской угрозой, хотя неизвестно, может ли хоть что-нибудь послужить для них уроком!..

*В о п р о с . А как Вы оцениваете мировую ситуацию и возможности Запада в связи с советско-китайским конфликтом?*

*О т в е т .* Это очень важный фактор в политике и Запад не должен оставить его без внимания. Конечно, на мировой сцене прежде всего видны Америка и Советский Союз. Они — как два гиганта в латах, но тела этих гигантов больные: у Советского Союза — рак; у США — сильнейшая болезнь. Глядя со стороны, иные видят только латы, другие — только болезни, это зависит от точки зрения. Китай вроде бы в тени. Однако если в советско-китайском конфликте баланс сил нарушится в поль-

зу Китая, со стороны США будет мудрым поддержать Китай. Это улучшит ситуацию и для Америки и для всего мира в целом, ибо главная опасность миру исходит от СССР.

*В о п р о с . Мы все время касаемся внешнеполитической проблематики. А теперь позвольте затронуть вопрос, связанный больше с внутриполитическим положением в СССР. Как Вы оцениваете советских диссидентов?*

*О т в е т .* Я знаю, что в оппозиционной борьбе с режимом принимает участие не так уж много людей в Советском Союзе. Но поразительно, что при таком страшном угнетении этими людьми проявляется такое мужество! Примечательно также, что именно угнетение рождает и мужество, и решимость в борьбе.

Конечно, не всякому из диссидентов дано проявить такую силу и талант, которые есть у Солженицына. Он во многом — высота недостижимая. Однако и другие примеры вдохновляют. Так, Надежда Мандельштам доходит до столь же глубоких прозрений, что и Солженицын, хотя исходит она из опыта более частного свойства. Весьма позитивный пример благородства и мужества дал и Владимир Буковский.

И опять же — приходится поражаться непониманию проблем советских диссидентов здесь, на Западе. Один канадский министр умудрился сравнить диссидентов в СССР с квебекскими террористами — ни больше, ни меньше! Вина в такого рода нелепостях во многом лежит на так называемых "интеллектуалах". Когда, например, кто-то из этих "интеллектуалов" едет в СССР, он не видит там ничего, кроме того, что заранее *хочет* увидеть, повинаясь догмам своего мышления. Наши "интеллектуалы" в большинстве своем — рабы априорных схем; они бесконечно далеки от жизни, неспособны понять истинные нужды трудового человека здесь, в Канаде, и уж, конечно, не могут правильно оценить советские проблемы.

Что же касается более "обыкновенных" туристов, едущих в СССР, то их можно разбить на две категории. Первая группа — это те, которые поражены, что русские, оказывается, ходят не босиком или в лаптях, как они думали, а носят современную обувь. Моментально рождается общий вывод: значит, в Советском Союзе все обстоит, как и у нас. Вторая группа туристов — это люди, которые, присидев в советском ресторане 2 часа в ожидании официанта и не дождавшись его, решают, что русские — вообще дикари, а Советский Союз пребывает где-то в каменном веке.

Советские диссиденты полезны для западной общественности хотя бы тем только, что они раскрывают глаза на подлинную суть проблем советского общества и дают нам порой неоценимую информацию о внутренней жизни СССР, так сказать, "из первых рук".

*В о п р о с . Теперь, мистер Вортинтон, я хотел бы коснуться вопроса смешанного, так сказать, литературно-политического свойства. Я представляю выходящий в Торонто на русском языке журнал "Современник". Последнее время наш журнал начал уделять большее внимание пробле-*



*маж политики и занял более четкую антикоммунистическую позицию. Некоторые считают, что это недопустимо для литературного журнала. Что Вы думаете по этому поводу?*

**О т в е т.** Политика так тесно связана с литературой и жизнью, что их нельзя отделить друг от друга. Это все равно, что отрезать человеку правую или левую руку. Я думаю, что если журнал совершенно не касается политики, то тем самым он уже не может дать и настоящей литературы. Все великие писатели, как правило, интересовались политическими вопросами. Вспомним Диккенса! Он имел огромное политическое влияние на общество. Менялись даже государственные законы под воздействием его книг. Да и ваших – русских – писателей можно привести в пример. Достаточно назвать Пушкина, Толстого и Достоевского.

**В о п р о с.** *Что Вы можете пожелать журналу "Современник" и можем ли мы рассчитывать иногда на Ваше творческое участие в журнале, равно как и на содействие других ведущих журналистов газеты "Торонто Сан"?*

**О т в е т.** Само собой, я от души желаю "Современнику" всяческих успехов. У "Современника" есть все шансы стать очень влиятельным журналом. Он может содействовать сплочению различных групп русской эмиграции. Но только не надо бояться "лезть в гору", а надо упрямо *"лезть в гору"*...

Что же касается меня лично, то я с удовольствием приму участие в "Современнике". Уверен, что и многие из моих коллег смогут сделать то же самое в интересах как русских, так и канадских читателей.



## БИБЛИОГРАФИЯ

Н. Ферзен. Н. С. Арсеньев. Дары и встречи жизненного пути. "Посев", 1974 г.

*Весьма часто случается, что рецензии книг, театральных пьес, кинофильмов и пр. оказываются в конце концов не столько оценкой рассматриваемого труда, сколько показной витриной для эрудиции и умственного блеска самого критика. Да разрешит мне читатель поговорить в данном случае не о моих собственных заслугах и достоинствах, а о чудесной книге профессора Николая Сергеевича Арсеньева "Дары и встречи жизненного пути".*

*Автор пишет в своем вступлении: "Вспыхивание этих светящихся струек есть "память сердца", есть то, чем мы живем, из чего питается наша жизнь..." Именно памятью сердца является книга профессора Арсеньева. Не следует искать здесь "ученого труда" в трафаретно-академическом смысле слова.*

*Нет, эта книга есть гимн жизнерадостии, подобный шиллеровскому гимну, но воспеваемый не яростным Дмитрием Карамазовым в порыве "эроса", а любящим, трезво мыслящим христианином, осененным "агапэ". И предстает перед нами, особенно в первой части книги, ряд картин, переносящих нас в теперь уже сравнительно далекое прошлое — в русские усадьбы начала века, в московские особняки, в аудитории Московского Университета и на лоно русской природы, где юноша с наслаждением ищет уединения, вдохновения, ответов на волнующие его "важные" вопросы.*

*Проплывает перед нами также и целое созвездие образов — родных, друзей, педагогов — каждый из коих оставляет на личности юноши свой характерный отпечаток, сопутствуя его умственному и духовному развитию. Я называю эту группу людей созвездием, ибо, хотя они в некоторых случаях ничего общего между собой не имели, все же нити, соединяющие каждого из них с судьбой автора, связывают их друг с другом в группировку, напоминающую созвездие.*

*Мать Николая Сергеевича, Екатерина Васильевна Арсеньева, рожденная Шеншина — "великая христианка, верою и делами"; отец, Сергей Васильевич Арсеньев — "человек огромной детской чистоты и подлинности сердца... ученый в области русской, славянской и византийской культуры"; дед, Василий Сергеевич Арсеньев — "христианский мыслитель, человек внутренней жизни... подлинный христианский мистик". Вот ближайшие родственники, имевшие наиболее непосредственное и глубокое влияние на духовное развитие Николая Арсеньева. "Вдохновляющим и кристаллизующим средоточием и основанием моего мирозерцания — пишет автор — был Логос Божий, или, вернее, безмерное откровение любви Божией в "Сыне Любви Его". Это я принес из родительского дома, этого мне не дал никакой университет, никакие учителя и философы".*

Но и ряд выдающихся педагогов упоминаются автором в главах "Московский Университет" и "Выработка мировоззрения". Ключевский, Лопатин, Розанов, Браун, Глазков и несколько других, профессора и доценты университета сыграли в жизни автора, выражаясь термином, взятым из химии, роль катализаторов: они открыли перед ним просторные горизонты, ввели его в контакт с головокружительно-опьяняющим величием мировой культуры, дали первоначальный толчок реакциям той трансцендентальной термодинамики, которая впоследствии одушевила автора всю жизнь.

На ином плане стоят "учителя", оказавшие огромное влияние на мировоззрение Н. Арсеньева, хотя он не имел (и в некоторых случаях не мог иметь) с ними непосредственного контакта. Каждому из них он посвящает отдельную главу книги, это были А.С. Хомяков, В.А. Кожевников, И.В. Кириевский, князь С.Н. Трубецкой и С.Л. Франк. А там, дальше, на третьем плане, уже над самыми вершинами, парят фигуры ученых, поэтов, философов, святых... от Плотина до Паскаля, от Данта до Хуана де ла Круз, до Шиллера, до Гете, от святых разных стран до Отцов Церкви, подвижников, мистиков, пустынножителей... и до колоссальной духовной сущности, служащей как бы лейтмотивом в продолжении всей книги, Святого Апостола Павла.

И обо всех этих фигурах, лицах и личностях и об излучениях, от них исходящих, повествует автор просто, искренне, трогательно...

Искать объективности в этой книге не следует: перед нами не исследование, а славословие. Позиции уже заняты, решения приняты, самоотдание совершено. Вера, умиленность и стремление к сближению со "Смыслом и центром жизни человеческой" не суть предметы для объективности. Тем более ценна книга профессора Арсеньева, не только запечатлевшая для потомства образы минувшего времени, но и провозглашающая твердым и радостным голосом мировоззрение, находящееся в нашу материалистически настроенную эпоху в прискорбном упадке.

**АНДРЕЙ ДРУЖИНИН.** Юрий Стукалич. Мы дойдем! Очерки, статьи, фельетоны. Нью-Йорк, Фонд им. П.Кречевского, 1975.

Небольшая книжка, которая имеет большое значение для русского читателя — так вкратце можно резюмировать общее впечатление от сборника публицистики выдающегося белорусского писателя Юрия Стукалича (1905-1975).

Ибо будучи проникнута глубоко национальным белорусским содержанием, чувствами, продиктованными осознанием и трогательным переживанием истории Белоруссии, ее традиций, ее литературы и искусства, книга написана по-русски и уже тем самым Юрий Стукалич апеллирует ею в первую очередь к читателю русскому.

Такого рода апелляция крайне важна с точки зрения знакомства и понимания того, что является белорусской национальной идеей, даже если понимание это и не станет сразу же (в силу многих причин) отчетливо ясным до конца. Темперамент политического публициста, художественный талант, прекрасная эрудиция — качества, которые наглядно демонстрирует Юрий Стукалич, невольно увлекут читателя уже сами по себе, хотя, может быть, это и не самое главное в данном случае.

Главнее та могучая прививка против духа великодержавного шовинизма, которую гарантирует чтение публицистики Ю. Стукалича. Что греха таить? — Формы шовинистического сознания в нас проникают порой очень глубоко и живут в самых причудливых модификациях. Бред ли кто-нибудь из самых ярых поклонников "России единой и неделимой" в настоящее время будет требовать поглощения Чехословакии или Польши Россией на основе, например, "славянской общности". (До этого, как будто, не договорился даже г-н С. Войцеховский, столь часто вещающий на страницах газеты "Новое Русское Слово" в ультрашовинистическом духе!). Однако претендовать, скажем, на "удержание" Украины — это сколько угодно! Что же до Белоруссии, то здесь, пожалуй, с точки зрения шовиниста и спорить не о чем: "держатъ и не пушчэть!"

"Аргументация" такого свойства великолепно высмеивается Юрием Стукаличем. Так, приведя одно из высказываний своих оппонентов, он пишет:

"Особенно безнадежным...предвидится положение белоруссов. Во-первых, народ они, дескать, не исторический, во-вторых, у них отсутствует литература, в третьих, их язык...представляет собою диалект русского языка...А следовательно, они не подвергнутся даже соответствующему опросу, а просто, надо полагать, грядущие околоточные надзиратели ознакомят их с приговором властей предержащих. И допустим сперва, по принципу доказательства от обратного, что белоруссы действительно народ без истории. Что в этом преступного? История многих народов зиждется на ограблении поработенных ими народов. В нашем вольном свете в 1960 году возродила, например, свою независимость колония Франции Мадагаскар, известная теперь как Мальгашская республика. Неужели мальгаши имеют больше права на независимость, чем белорусы? И кто знает, может быть, в будущем они — мальгаши, приобщенные к мировой культуре, дадут человечеству не меньше, чем французы в прошлом?"

Мы привели один из образчиков манеры письма Юрия Стукалича. Он — публицист высокого класса: ему свойственны и героическая патетика, и лиризм, и логическая виртуозность в споре и блестящая ирония. Велико и разнообразие затронутых им сюжетов: тут и исторические предания, характеризующие далекое прошлое его родной Белоруссии, и остросовременные разоблачения советских пропагандистских мифов; и полемика по религиозно-политическим вопросам, и даже такие "частности", как спорт. С большим знанием и тактом Ю. Стукалич пишет о

литературных и лингвистических проблемах, о "еврейском вопросе", о многом другом. Весьма сильное впечатление производит его полемика с фальсификацией прошлого и настоящего коммунистическими идеологами, а также шовинистами разного толка. Вот один из любопытных примеров:

В статье "Хатынь и Катынь" Ю. Стукалич разоблачает трюк советской пропаганды, основанный на совпадении в звучании названий двух белорусских деревень. Мемориальное почитание памяти погибших в Хатыни от рук эсэсовцев людей имеет своей целью, по мысли советчиков, отвлечь внимание от чудовищного преступления сталинских палачей, расстрелявших в К а т ы н и тысячи польских офицеров. "Хатынь и Катынь" — попробуй тут, разберись! Так сказать, лингвистический нюанс на службе политики, или, точнее, грязное политиканство на ниве лингвистики! Насколько сей трюк "срабатывает", свидетельствуют многие случаи хотя бы с западными журналистами. Так, в книге Боба Вудворда и Карла Бернштейна "Последние дни" (о падении президента Никсона) на стр. 245 спокойно говорится о посещении Никсоном во время визита в СССР деревни Катынь, хотя речь идет, разумеется, о Хатыни. Юрий Стукалич в своей статье красноречиво вскрыл именно такую "сверхзадачу" советского пропагандистского фокуса.

Пересказывать книгу — не задача рецензента. Книжки, в общем, говорят за себя сами. Тем более такие талантливые, как книга Юрия Стукалича. Повторим еще раз: прочесть ее русскому читателю стоит хотя бы для того, чтобы взглянуть на многие вещи и проблемы с непривычной и свежей точки зрения. Если же при этом в сознании читателя зародится симпатия к белорусской национальной идее, к благородной и смелой борьбе братского славянского народа за свою независимость, то это будет лучшим знаком уважения к памяти Юрия Стукалича. И как писатель, и как борец против коммунизма, он такого уважения заслуживает в высшей степени.

ЭЛЛА БОБРОВА. Ирина Сабурова. Королевство, Мюнхен, 1976 г.

"Сказки тоже очень нужны для жизни, в наше время, может быть, в особенности. Каждому. И мне, и вам. Если же они дадут вам что-нибудь — минуточку тишины, отдышку, улыбку, мысль — помогут жить, как помогли мне, то значит не напрасно написаны."

Этими словами автор заканчивает свое обращение к читателю, предпосланное содержанию новой книги "Королевство", в которую помимо рассказов, хорошо знакомых многим ("Копилка времени", "Пряничное сердце", "Тихая ночь" и др.), вошли другие, мало известные или еще не опубликованные. Всего в книге 396 страниц и 39 наименований.

У Ирины Сабуровой сказочное настолько тесно переплетается с реальным, ее герои так трогают воображение (и сердце!) читателя, что становятся ему близкими, зажигают в нем желание помочь им, что-то

исправить в их нередко горькой жизни — особенно там, где автор не пожелал найти традиционного счастливого конца. В этом — ее сказки гораздо ближе к рассказам из жизни, которая, увы, не раз отказывается нам в счастливой развязке. На страницах "Королевства" (как и других книг этого автора) читатель встречает Мировую скорбь и Великую тоску, но вместе с ними — Неизбывную любовь и Бескорыстную дружбу.

Своему широкому кругу читателей она в течение последних сорока лет подарила 12 книг: "Тень синего марта" (1938), "Дама трюф" (1946), "Королевство алых башен" (1947), "Бессмертный лебедь" (1956), "Разговор молча" — стихи (1956), "Копилка времени" (1958), "После..." (1960), "Корабли старого города" (1963), "Горшочек нежности" (1964), "Счастливое зеркало" (1967), "О нас" (1972).

Роман "Корабли старого города" переведен на испанский язык и выдержал два издания по-немецки.

Из последней книги "Королевство" мне хочется выделить "Ларец Пандоры" — рассказ, при чтении которого я особенно горячо пожалела, что его герой, волшебник Мерлин не может выступить в наше время...

Рассказ занимает 24 страницы книги, но я попробую передать его главную мысль, не выдавая конца.

В городе — сенсация: представление (массовый гипноз?) мага Мерлина. На сцене стоит черный сундук, и Мерлин приглашает из публики на сцену девушку по имени Дора. Она ни о Мерлине, ни о Пандоре ничего, конечно, не слышала раньше. Но, узнав, что содержимое ларца принадлежит ей, она поступила так же, как в мифе Пандора. Незадумавшись над значением необычной резьбы на стенках сундука (фигуры резьбы двигались, как живые), она открыла его и выпустила на волю души всех человеческих страстей. "Прошли тысячелетия... но невежество... любопытство... и безответственность остались."

Под смятенный вздох толпы сцену заполнили теньевые чудовища Зависти, Злости, Лицемерия, Клеветы, Предательства, Жадности, Глупости...

"Толстая... вся какая-то губчатая лень походила на отвратительного спрута, обволакивающего и высасывающего все живое...

— Почему вы испугались, — насмешливо спросил Мерлин... — Половина вашей жизни уходит на то, чтобы питать вашими нервами, кровью и мыслями вот этих чудовищных уродов... вы сами выращиваете их. Вспомните любой случай из вашей жизни, когда вы могли бы обойтись без них... поступить и сказать лучше, благороднее — если бы захотели, если бы подумали..."

Когда публика была близка к повальной истерии, Мерлин прекратил сеанс и обратился к публике с речью.

"...понятие о добре и зле потеряно большинством людей... Вот как раз об этом я и хотел вам напомнить... Как же вам напомнить о Добре, однако?.. История показала, что это совершенно бесполезно. Если уж Сыну Божьему не удалось этого сделать, то куда мне? Вот если воззвать к самым изменчивым вашим чувствам... крикнуть: ...уничтожайте всех, кто вам мешает, кому вы завидуете, кто выше вас... о, тогда сразу создается целое движение в стране или в целом мире, тогда вы рас топчете всех моралистов в вашей среде... Но мне вас действительно жаль!.. я решил оставить вам постоянное напоминание о... ларце Пандо-

ры. Я делаю вам всем... небольшой подарок... объяснять не буду, но надеюсь, что он пойдет вам на пользу..."

Конечно, и я здесь не открою вам тайну этого необычного подарка, в надежде, что читатели "Современника" пожелают приобрести и прочесть всю книгу "Королевство", заказав ее по адресу: Ирина Сабурова, 8 Мюнхен 50, Регаттавег 88, Германия.

**ЮРИЙ ГРИГОРОВ.** Три номера нового журнала. (О журнале "Голос Зарубежья", номера 1-3. Мюнхен, 1976).

Рождение нового эмигрантского журнала — всегда событие. Возникновение такого органа русской демократической прессы, как "Голос Зарубежья" — событие вдвойне. Поручкой тому высокий теоретический уровень его материалов, многие имена авторов, широко и заслуженно известных, боевая принципиальность в отстаивании идеалов свободы, христианского мировоззрения и антикоммунизма.

В вышедших уже трех номерах журнала читатель найдет много в высшей степени интересного. Здесь и проблемные статьи религиозно-философского содержания, и политические очерки, и обзоры зарубежной русской литературы. Все это, как правило, сделано на уровне самой высокой, острополюемичной, часто блестящей публицистики.

Сказанное полностью применимо, в частности, к статьям и выступлениям В.Пирожковой. Пишет ли она по "юбилейному поводу" (такова ее статья "Конрад Аденауэр. К столетию со дня рождения" в номере первом), или выступает с репликой о статье Игумена Геннадия, или подробно разбирает третий том солженицынского "Архипелага" — во всех случаях она демонстрирует отличную эрудицию, глубокую аналитичность суждений, прекрасный стиль изложения. Так, рассматривая панораму третьего тома "Архипелага ГУЛаг" и воздавая должное Солженицыну как писателю и обличителю советского режима, В.Пирожкова, тем не менее, справедливо полемизирует против неких в сепрошенческих ноток в проповеди Солженицына, обращенной к сердцам и умам читателей, — ноток, которые кажутся фальшивящим перепевом односторонне понятого христианства. И когда В.Пирожкова протестует против осуждения в с я к и х революций, когда она обличает пассивность перед лицом торжествующего Зла как н а и х у д ш е е Зло, — это способно убедить нас даже без ссылок на Владимира Соловьева и Д. Панина, хотя и ссылки эти вполне уместны и хороши. (Заметим только, что даже в "случайных" и "третьестепенных" сносках и ссылках следует быть предельно точным, чтобы не страдало общее впечатление. А то вдруг цитирует В.Пирожкова в статье третьего номера "Кто же настоящий коммунист?" стихи с а м о г о Евгения Евтушенко и одновременно уверяет читателей, что это "цитата из самиздатовской сатиры на Евтушенко". — "Голос Зарубежья", №3, стр.6). Сие мелочь, разумеется, но в мелочах тем более легко не ошибаться.

Не могут не привлечь благожелательного внимания такие материалы, появившиеся на страницах "Голоса Зарубежья", как публикация фрагмента из книги Аркадия Белинкова "Сдача и гибель советского интеллигента" с комментарием Н.Белинковой, полемика в связи с малоудачным проведением "Сахаровского слушания" в Копенгагене, умнейшая статья проф. князя Николая Лобковица "Несовершенство человека и общества как политическая предпосылка", содержательный очерк Владимира Самарина "Две эмиграции", статья австрийского профессора Эрнста Топича "Сходство диктаторов", трактующая тему типологии тоталитаристского вождя на параллели Гитлер и Маркс. Заслуженно большой как по размеру, так и по содержательности, является статья А.Патрашеникова "Владимир Соловьев о евреях".

Отрадным кажется нам то обстоятельство, что литературные обзоры в "Голосе Зарубежья" ведет прекрасный журналист Владимир Рудинский. Его всегда интересно читать, хотя он и грешит порой излишним морализированием. Вряд ли также можно согласиться с его не в меру "ретивыми" наскоками на З.Шаховскую. В частности, он явно неправ, когда процитировал место из статьи З.Шаховской в газете "Русская Мысль", где она дала мастерски сделанный "минипортрет" Берлингуэра — очень пластичный и психологически насыщенный, усмотрел в этом "апологию итальянского коммуниста". ("Голос Зарубежья", №2, стр. 39). В номере третьем В.Рудинский уже всю редакцию "Русской Мысли" обвиняет в "преклонении перед Берлингуэром" и вообще в "стремительном скате к коммунизму". Все это явные преувеличения, и, право же, не стоит смешивать те ошибки, которые З.Н.Шаховская, видимо, совершила в Копенгагене, с теми заслугами, которые у нее есть и как у писателя, и как у редактора одной из ведущих русских газет.

Название "Голос Зарубежья" — очень обязывающее название. Не думаем, что создатели журнала претендуют на какую-то "монополию" в выражении взглядов и "голосов" в с е й русской эмиграции (да и немислимо такое при всем известной раздробленности и разобщенности эмигрантской!). Однако можно судить на основе уже вышедших номеров в том духе, что журнал будет одним из ярких и сильных выразителей мнений борющейся и мыслящей части русского Зарубежья, что само по себе является замечательной перспективой и что безусловно заслуживает самой горячей симпатии.





## Х Р О Н И К А

1 октября 1976 года Г.Н.Жекулин заявил о своем выходе из редакции, ссылаясь на причины личного характера. С этого времени Г.Н.Жекулин членом Редколлегии журнала "Современник" не является.

\* \* \*

В интересах улучшения работы журнала создана Редколлегия в составе: Э.И.Боброва, Г.Е.Галин, Л.Е.Гендлин, А.Г.Гидони, Г.А.Гидони-Румянцева (ответственный секретарь), Л.Е.Фабрициус (редактор), Ю.Н.Харьян.

\* \* \*

Редакция извещает читателей, что г-жа Алла Кторова (начало ее повести "Дом с Розовыми Стеклами" было опубликовано в 32-ом номере "Современника") заявила без объяснения причин, что отказывается печатать окончание своей повести. В связи с этим рукопись г-жи Кторовой была ей возвращена редакцией журнала.

\* \* \*

На реорганизационном собрании Ассоциации "Современник", состоявшемся 28 марта сего года, Президентом Ассоциации избран Декан теологического факультета Торонтского университета, доктор, граф Г.П.ИГНАТЬЕВ, вице-президентами избраны: Профессор Йоркского университета Ю.Н.ХАРЬЯН и г-н С.С.КОЧЕРВА.

Директорами Ассоциации избраны доктор Г.М.ДЖАРВИС и г-н А.И.АКСОН.

Секретарем Ассоциации – г-жа Денис СОМЕРВИЛЛ.

Собрание одобрило предложение Главного Редактора "Современника", члена Русской Академической группы США г-на Л.Е.ФАБРИЦИУСА о необходимости приобретения нового оборудования для типографии в связи с расширением деятельности журнала и ассигновало на эти цели 1500 долларов в виде пожертвований и ссуд. Из присутствующих внесли на текущий счет "Современника":

Граф Г.П.Игнатъев – 100 долларов.

Г-жа Д.Сомервилл – 200 долларов.

Г-н А.И.Аксон – 500 долларов.

Профессор Ю.Н.Харьян – 150 долларов.

## О Т Р Е Д А К Ц И И.

(В связи с выступлением Ю.К.Терапиано)

В номере газеты "Русская Мысль" от 17 февраля 1977 года помещен за подписью Ю.Терапиано разбор предыдущего, тридцать второго номера журнала "Современник".

Сам по себе подобный факт не мог бы явиться поводом для редакционного заявления, если бы Ю.Терапиано придерживался лишь рамок литературной полемики. С рецензентами не спорят — таков принципиальный взгляд редакции "Современника", не спорят, конечно, по поводу их литературных взглядов, симпатий и антипатий, какими бы они ни были.

И мы бы не стали даже выражать недоумение относительно того, почему Ю.Терапиано, дав подавляющему большинству материалов прошлого номера положительную оценку, объявил номер *в целом* неудачным. Мы бы не сказали ему, что он весьма странно заменил разбор по существу рассказа Л.Фабрициуса "Джой" сумбурными рассуждениями о "квартирной проблеме" в Торонто под знаком взаимоотношений собак и домовладельцев. Мы бы не возмутились тем, что он, даже как будто расхвалив пьесу А.Гидони "Трое в одной камере", приписал ей идею, которая, как говорится, там "и не ночевала". Мы бы даже не стали доказывать г-ну Терапиано, что дело рецензента учитывать *качество* страниц журнала, а не подсчитывать *количество* их, отведенных тому или иному автору. Все это мы бы оставили на совести автора рецензии.

Однако возникает вопрос: как позволила г-ну Терапиано его *совесть* заниматься дезинформацией читателей "Русской Мысли" относительно перемен в редакции "Современника", а также по поводу принципиальной линии журнала? Если он писал, *не зная* существа дела, то это легкомысленно, а если *сознательно искажал* истину, то это позорно!

А писал г-н Терапиано, к примеру, такое: "Главным редактором журнала стал Л.Е.Фабрициус, а секретарем — вместо многолетнего секретаря "Современника" Э.И.Бобровой — Г.А.Гидони-Румянцева. Уход из редакции "Современника" Э.Бобровой представляется нам тяжелейшим ударом для журнала"... и т.д.

Что "представляется" г-ну Терапиано в его воображении — сие его частное дело. За галлюцинации нашего парижского рецензента мы не несем ответственности. Ибо в действительности г-жа Боброва никогда из редакции "Современника" не "уходила", а также никогда не занимала поста секретаря редакции. Более того, этот пост вообще не существовал ранее. Первым ответственным секретарем "Современника" стала г-жа Гидони-Румянцева, причем стала с общего согласия всех членов редакции, включая саму г-жу Боброву и тогдашнего члена редколлегии г-на Жекулина.

В настоящее время (как известно редакции журнала) Э.И.Боброва направила в "Русскую Мысль" письмо, где она решительно опровергает

цитированные нами утверждения Ю.Терапиано, выражая одновременно благодарность г-же Гидони-Румянцевой за ее работу на многотрудной должности ответственного секретаря "Современника".

Чего же стоит таким образом смехотворная версия г-на Терапиано насчет мнимого "изгнания" г-жи Бобровой и "узурпации" ее поста г-жей Гидони-Румянцевой?

Ю.Терапиано никогда бы не попал в то неловкое положение, в каком оказался ныне, если бы при написании рецензии он не пытался судить о вещах, которые ему известны в очень односторонней и явно недобросовестной трактовке. В этой связи находится его реплика в адрес г-на Жекулина.

"...Прекрасная статья профессора Г.Жекулина "Чешские стихи Марины Цветаевой" во многом проигрывает от того, что в ней отсутствуют стихи, которые он разбирает..." – пишет Ю.Терапиано.

Что ж, никто не препятствовал г-ну Жекулину цитировать стихи, "которые он разбирает". Однако он, сдав статью в журнал (кстати, в нарушение редакционных правил – сдав ее в удивительно небрежном виде) предъявил странное дополнительное условие: напечатать помимо самого текста статьи в качестве приложения к ней весь цикл стихов Цветаевой, взятый им из советского издания (Марина Цветаева. Избранные произведения. М.-Л., "Библиотека поэта. Большая серия", 1965). Ни величина такого приложения (14 страниц книжного текста), ни соображения юридически-правового характера (учитывая подписание Советским Союзом конвенции об авторском праве), ни чисто литературные основания не позволяли редакции журнала согласиться на беспрецедентное требование г-на Жекулина. Ему в самой дружеской форме пытались объяснить, что статья его не носит текстологического характера, что она не нуждается ни в каких особых приложениях (тем более в перепечатке *уже напечатанного*). Словом, объяснялось ему то, что должно было бы быть прекрасно известным не только профессору университета, но и простому студенту-филологу. (Отметим, что в 32-ом номере "Современника" имеется несколько литературоведческих статей, однако ни одному из авторов их, кроме г-на Жекулина, не пришлось в голову требовать публикации к статьям многостраничных "приложений", да и то Ю.Терапиано счел эти статьи слишком "большими").

Редакция "Современника" отказалась заниматься перепечаткой советского издания стихов Цветаевой, не видя к этому никаких оснований, кроме каприза г-на Жекулина. Сам же текст его статьи был воспроизведен точно.

Еще до публикации журнала г-н Жекулин заявил редактору "Современника" Л.Е.Фабрициусу о своем намерении выйти из редакции, ссылаясь исключительно на причины *личного характера*. Поскольку он уже давно не принимал реального участия в редакционной работе, его отставка была принята как вполне естественный шаг. Ни о каких "принципиальных разногласиях" с редактором и редакцией (о чем впоследствии печатно заявлял г-н Жекулин) в момент его ухода и речи не было. Приходится сожалеть, таким образом, не об уходе г-на Жекулина, а о его беспринципном поведении, которое он попытался затем замаскировать ссылкой на "принципы".

Возвращаясь к высказываниям Ю.Терапиано, редакция журнала не может пройти мимо его необоснованных утверждений об отходе от линии "Современника", провозглашенной его основателем профессором Л.Страховским и его преемником В.Л.Савиным (г-н Терапиано настойчиво именует его "Савичем"). По его мнению "Современник" должен быть "чисто" литературным журналом, без "политики", таким литературным одуванчиком, равнодушным к бурям и веяниям *современной* жизни. Напомним, однако, г-ну Терапиано, что "Современник" с момента его основания имеет подзаголовок "Журнал русской культуры и национальной мысли". А как может быть выражена "национальная мысль" без презируемой г-ном Терапиано "политики" – это секрет г-на Терапиано. Неудивительно, что он выступает против публикации приуроченной к двадцатой годовщине венгерской революции 1956 года статьи Андрея Дружинина, даже не задаваясь вопросом: хорошая это статья или плохая, интересная или нет? Она *политическая*, а посему, как полагает Ю.Терапиано, ее лучше не печатать, дабы не замутить "чистоты" стерильно "литературных" риз.

Можно ли такое советовать журналу, гордящемуся самим названием – "СОВРЕМЕННОК"? Ведь его традиция восходит к именам не только Страховского и Савина, но и к именам Пушкина, Гоголя, Некрасова. Пушкин мечтал видеть свой "Современник" по-настоящему *современным* изданием и отнюдь не чурался "политики". Гоголь в одном из писем П.А.Плетневу (который был *неудачным* и *аполитичным* редактором "Современника") требовал от журнала "*стремления обнимать с равной охотой все, что ни относится к развитию познаний человеческих во всех родах*". Вряд ли все это похоже на то, что советует ныне *аполитичный* г-н Терапиано!

Издающийся в Торонто "Современник" выходит с 1960 года, т.е. на протяжении семнадцати лет. Кое в чем он, конечно, изменился с момента своего основания. И слава Богу! Журнал, который в течение семнадцати лет ни в чем бы не переменялся, был бы прескверным журналом и уж, во всяком случае, не заслуживал бы гордого названия "Современник". Для того, чтобы приблизить журнал к жизни, шире освещать проблемы философии, религии, науки, политики, и создан в "Современнике" отдел "Форум". Впрочем, и ранее статьи по перечисленным проблемам публиковались на страницах журнала.

Со всей определенностью мы можем заявить, что "Современник" был и остается прежде всего литературным журналом, но понимать это в том узком смысле, какой пытается "узаконить" г-н Терапиано, мы, разумеется, не станем. Наш журнал должен быть истинным выразителем традиции "Современника", идущей от Пушкина и помноженной на чуткость к эпохе. Это веление времени и ему журнал будет следовать неуклонно.

## О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

В издательстве "Современник" вышла в свет новая стихотворная книга АЛЕКСАНДРА ГИДОНИ "ПОЭМЫ". В книгу вошли написанные в разное время (главным образом в период пребывания автора в советском политическом лагере) поэмы: "О чем же?"; "Блейкиада"; "В трех измерениях"; "Действо о Поэте, Читателе, Критике и Некто"; "Отверженный в мире отверженных"; "Шансолэ Лонслон"; "Лангобардская баллада".

Цена книги — 3 доллара.

*Заказы направлять по адресу:*

**Mr. Alexander GUIDONI. 10. Driftwood Avenue, 112. Downsview.  
Toronto. Ontario. M3N 2M2. Canada.**

\* \* \*

Через издательство "Современник" можно приобрести книгу известного русского писателя ГРИГОРИЯ КЛИМОВА "КРЫЛЬЯ ХОЛОПА". "Эта книга является бестселлером по всей Европе" ("Ридерс Дайджест", США). Перу ГРИГОРИЯ КЛИМОВА принадлежат также книги "ИМЯ МОЕ ЛЕГИОН", "КНЯЗЬ МИРА СЕГО", "ДЕЛО № 69".

В книге "Крылья холопа" 485 страниц и 20 редких иллюстраций, прекрасная бумага и коленкорový переплет с золотым тиснением. Цена книги с пересылкой — 8 долларов 50 центов.

*Заказы направлять по адресу редакции "Современника".*

---

## **Вышла из печати книга ВЫДАЮЩЕГОСЯ БЕЛОРУССКОГО ПИСАТЕЛЯ ЮРИЯ СТУКАЛИЧА МЫ ДОЙДЕМ!**

**ОЧЕРКИ — РАССКАЗЫ — ФЕЛЬЕТОНЫ**

**156 страниц. Цена с пересылкой \$5.35.**

**Заказывать по адресу: Mr. K. AKULA, 57 Riverdale Ave.  
Toronto, Ont. M4K 1C2, Canada.**

---

**Виктор ПЕРЕЛЬМАН**  
**”ПОКИНУТАЯ РОССИЯ”**

Автобиографическое повествование в двух книгах

Книга первая “ИЛЛЮЗИИ”, 216 стр, цена в Израиле — 27 лир, при заказе в редакции — 23 лиры, стоимость за границей — 3 доллара.

*Содержание:*

Москва — 1937 год  
Нарышкинский бульвар  
Война  
Томск  
Я и Кирилл Патрикеев  
Моя проклятая оболочка  
В Ивановском Кедраче  
Быковские звезды  
Наш незабвенный ОРС  
Заверю товарища Сталина  
Будущий Плевако  
Письмо братьям-корейцам  
Первая любовь  
Грозный мэтр Вышинский  
Кающиеся большевики  
Дело Алика Бакмана  
Перед закрытым шлагбаумом  
Как я редактировал сельскохозяйственную газету  
Бухгалтер-гипнотизер  
“Пиня из Жморинки” и другие  
Великий заботник  
Биотоки Терехова  
Чиновное счастье  
Мой партийный падре  
Иллюзии  
Бунт в ЦДРИ  
56-й год  
“При их молчаливом согласии”

Заказы на книгу принимаются по адресу: ул. Нахмани, 62, Тель-Авив. Издательство “Время и мы”.

(К заказу должен быть приложен чек, и в нем указан адрес, по которому высылать книгу.)

## ИСПРАВЛЕНИЕ ОПЕЧАТОК

В предыдущем, 32-ом номере "Современника" были допущены в ряде случаев опечатки.

В рассказе Льва Фабрициуса "Джой" на стр.13 (строка одиннадцатая сверху) следует читать: "подарил". На той же странице (строка семнадцатая сверху) надо читать: "Джой".

В статье В.Седуро "Солженицын и традиции полифонического романа Достоевского" на стр. 89 (семнадцатая строка снизу) надо читать: "оценка всего Достоевского".

В той же статье (стр.92) перед третьим абзацем снизу пропущено окончание строки: "художественное воображение".

В поэме Валерия Перелешина "Чжао Цзюнь" на стр.56 вторую строку десятой главы следует читать: "Войдя, озарила полночную тьму." Первую строку одиннадцатой главы на той же странице надо читать: "Ни слезинки, Чжао Цзюнь, но в холодных кочевьях".

На стр. 51 в тексте той же поэмы (строка пятая снизу) была допущена опечатка в слове: "вернопопданнический".

В тексте пьесы Александра Гидони "Трое в одной камере", на стр. 22, в последней строке следует читать окончание реплики так: "Особенно в бане."

В статье Андрея Дружинина "Утопия или потенция?" строка девятнадцатая снизу должна читаться: "И если мы будем судить" ...и т.д.

## АНОНС – АНОНС – АНОНС

В следующем номере "Современника" в числе других материалов будут опубликованы:

Пьеса ПЕТРА БАЛАКШИНА "Гости с Корабля".

Продолжение романа ЛЬВА ФАБРИЦИУСА "Возврат".

Рассказ ЕВГЕНИЯ ЦВЕТКОВА.

Очерки и статьи НИКОЛАЯ АРСЕНЬЕВА, БОРИСА НАРЦИССОВА, ЛЕОНАРДА ГЕНДЛИНА, АЛЕКСАНДРА ГИДОНИ и других авторов. Стихи и переводы ВАЛЕРИЯ ПЕРЕЛЕШИНА, ИГОРЯ ЧИННОВА.

Нам обещали дать интервью украинский писатель УЛАС САМЧУК и белорусский писатель КАСТУСЬ АКУЛА.

В номере будут широко представлены материалы самых различных жанров.

## О Г Л А В Л Е Н И Е

Содержание на английском языке. . . . .	3
Резюме основных статей на английском языке. . . . .	5
Памяти ушедших...	
Б.Ю. ПРЕГЕЛЬ. . . . .	7
Д.И. КЛЕНОВСКИЙ (Два стихотворения Дм. Кленовского; Э. Боброва "Зародились стихи..."; Геннадий Панин: Акро- стих. Акро - теле - стих.) . . . . .	8—11
ЛЕВ ФАБРИЦИУС. Возврат. Роман. . . . .	12
ИРИНА ОДОЕВЦЕВА. Два стихотворения. . . . .	50
Л. РОССАЛИАНИ. Полина Михайловна. Рассказ. . . . .	51
БОРИС НАРЦИССОВ. Бессонница. Пепельный свет. Стихи. . . . .	57
А. ЦВЕТИКОВ. Кристаллы Забвенья. Фантазия. . . . .	58
В. ПЕРЕЛЕШИН. Остров Пакетá. Вспоминанье. Акростих. . . . .	70
А. ГИДОНИ. Продавщица голубого киоска. Рассказ. . . . .	72
ПЕТР БАЛАКШИН. Обратная сторона бинокля. . . . .	76
МАРИЯ ВОЛКОВА. Грусть. Подруга. Князьи очи. Стихи. . . . .	85
МИХАИЛ КРЕПС. Шесть стихотворений. . . . .	87
ЛЕОНАРД ГЕНДЛИН. Они творили вместе. . . . .	91
ВЛАДИМИР КАЗАКОВ. Три стихотворения. . . . .	109
ЛАДА НИКОЛЕНКО. Француженка в России. . . . .	112
ЕВГЕНИЙ ЛИДИН. Видение. . . . .	115
М. МЮЛЛЕР-ГЕННИНГ. Прошлым летом... О тишине. Стихи. . . . .	119
НИНА АВСЕЕНКО. Метафизические стихи Э.Н. Гиппиус. . . . .	121
ЕВГЕНИЯ ДИМЕР. В автобусе. Мулатка. Соседская такса. Стихи. . . . .	129
ГАЛИНА РУМЯНЦЕВА. "Польское" стихотворение графини Ростопчиной. . . . .	131
В. СЕДУРО. Солженицын и традиции полифонического романа Достоевского. . . . .	135
ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН. "Памятник" Горация. . . . .	144
БОРИС НАРЦИССОВ. Была ли Атлантида? . . . . .	154
Т. ФИЛАНОВСКАЯ. Два стихотворения. . . . .	161

### " Ф О Р У М "

Ирина Одоевцева в гостях у "Современника". . . . .	163
Г. ГАЛИН. Милые бранятся... . . . .	165
А. ГИДОНИ. "Солнце идет с Запада".(Отрывки из книги). . . . .	170
Л. ФАБРИЦИУС. Заметки редактора. . . . .	189
Из редакционной почты. (К. Акула, В. Перелешин). . . . .	190
Полемика. (Григорий Свирский. В ответ на рецензию... Галина Гидони-Румянцева. Смешная самозащита.) . . . . .	194—200



\* \* \*

С. ТОЛ. Два стихотворения. . . . .	201
Т. МАНДЕЛЬШТАМ-ГАТИНСКАЯ. "Сомнение. Отчаянье. Ну что ж..."	202
В. ИНГУЛ. Деревцо. Стихи. . . . .	202

" К А Н А Д А " 203

"Канада! Ты – отчизна и наш дом..." . . . . .	204
Интервью с Мэри Дэвернья. . . . .	205
"Мисс Волга-76" . . . . .	209
МЭРИ ДЭВЕРНЬЯ. Умудренность. Стихи. . . . .	210
ЭЛЛА БОБРОВА. Песнь старика-индейца. . . . .	211
Беседа с Питером Вортингтоном. . . . .	212

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

*Н. Ферзен. Н.С. Арсеньев. Дары и встречи жизненного пути. Андрей Дружинин. Юрий Стукалич. Мы дойдем! Элла Боброва. Ирина Сабурова. Королевство. Юрий Григоров. Три номера нового журнала ("Голос Зарубежья"). . . . .* 217–223

Х р о н и к а . . . . .	224
От редакции. . . . .	225
Объявления. . . . .	228
Содержание на русском языке. . . . .	231



*Подписывайтесь на журнал "СОВРЕМЕННОК"! Пишите нам и содействуйте распространению этого независимого журнала русской культурной и национальной мысли. Если можете, то оказывайте журналу материальную помощь. Помните, что это – Ваша помощь развитию и сохранению традиций великой русской литературы! Любая посильная помощь и вклад в наше общее дело будут с благодарностью приняты.*

\$5.00

**Издательство и Редакция :**

**Sovremennik Publishing Association Incorporated  
9 Garnet Ave., Toronto, Ontario, Canada M6G 1V6**